

Трушнович А.Р.

ВОСПОМИНАНИЯ КОРНИЛОВЦА (1914-1934)

Об авторе.

Имя автора этой книги в 1954 году облетело весь мир. Газеты сообщали: “13 апреля, в 20:20, в Западном Берлине советскими агентами похищен врач Александр Трушнович, председатель Комитета помощи русским беженцам. Похищение произошло в квартире представителя организации немцев, вернувшихся из советского плена. На полу обнаружены следы крови. Хозяин квартиры тоже исчез. Уголовная полиция ведет расследование”.

Как врачу, Александру Рудольфовичу Трушновичу было привычно помогать русским людям, спасавшимся от преследования советской власти. Благодаря его энергии Берлинский комитет помощи русским беженцам стал широко известен в Советской армии и в политических кругах Германии. Число уходивших на Запад россиян росло. Нахождение Комитета в Западном Берлине помогало русским эмигрантам и сочувствующим им немцам распространять антикоммунистическую литературу в советских войсках. Ее могли читать и те советские воины, которые отказались стрелять в немецких рабочих во время июльского восстания 1953 году. Встревоженное руководство КПСС приняло решение захватить руководителя Комитета и доставить его в

Москву, представив похищение как добровольный переход на советскую сторону. Но Трушнович оказал сопротивление и был убит, о чем на Западе тогда еще не знали.

Трушнович исчез. И ни расследования уголовной полиции, ни протесты западной общественности, ни усилия созданного в США Комитета по борьбе с советскими похищениями не дали результатов. И только после падения власти КПСС, в ответ на настойчивые запросы группы московских общественных деятелей, созданной журналистом М.В. Горбаневским, пресс-бюро Службы внешней разведки России признало, что А.Р. Трушнович был захвачен по заданию советских спецслужб, но доставлен на советскую сторону уже “без признаков жизни”. Летом 1992 г. сыну Трушновича были возвращены найденные у покойного бумаги, переданы копии медицинского освидетельствования и справки о захоронении, точное место которого установить так и не удалось.

...В русской эмиграции Трушнович был хорошо известен, хотя русским по крови не был. Он родился 14 декабря 1893 г. в Постойне, в 40 километрах от Триеста (бывшая Австро-Венгрия, ныне Словения) в словенской семье железнодорожного служащего. Окончил немецкую гимназию в Горице, учился в Инсбруке и Вене на медицинском факультете, во Флоренции — на литературном. В 1914 г. призван в австро-венгерскую армию, воевал в Карпатах, где, как

и многие военнослужащие славяне, перешел к русским. С этого и начинаются его воспоминания.

Книга охватывает три ключевых периода нашей истории, свидетелем которых был автор: Первую мировую войну, в которой он стал офицером Сербской добровольческой дивизии; Гражданскую войну, в которой он сражался против большевиков в Корниловском полку, и ранние годы советской власти, вплоть до коллективизации и голода 1933 г. Это время в жизни автора, как и в жизни всей страны, было насыщено драматическими событиями. Участник Белого движения, он подлежал расстрелу, но был спасен сербами, служившими на стороне красных. С 1922 г. до выезда из СССР в 1934 г. жил под фамилией матери — Гостиша.

В начале тридцатых годов встал вопрос о дипломатическом признании СССР Югославией, поставившей условием возвращение своих граждан на родину. Так, Трушнович с женой Зинаидой Никаноровной и сыном Ярославом в феврале 1934 г., в числе 200 других семей, оказался в Югославии. В 1937 г. на сербском языке выходит сильно сокращенная книга его воспоминаний. Она и сегодня не утратила актуальности. Полный текст на русском языке печатается здесь впервые.

В Югославии Трушнович окунулся в русскую среду Национально-Трудового Союза нового поколения (НТС), организовавшего более 60 его публичных

выступлений. Так как в Союз не принимали лиц, родившихся до 1895 г., он вошел в Комитет содействия НТС и лишь в 1941 г., после отмены возрастного ценза, стал членом организации. В том же году он принял православие под именем Александр (в католичестве его имя было Рудольф).

Во время немецкой оккупации Югославии хорватские усташаи пытаются его убить. Он бросает частную практику в провинции и перебирается с семьей в Белград, где работает санитарным врачом. Трушнович сближается с председателем дружественной НТС сербской организации “Збор” Дмитрием Льотичем. После отъезда руководства НТС из Белграда он возглавляет существовавший тогда негласно местный отдел НТС.

В сентябре 1944 г., при подходе советских и титовских войск к Белграду, семья Трушновичей переезжает в Германию по поддельным документам, привезенным из штаба Власова. Трушнович — капитан, затем майор Русской освободительной армии (РОА), заместитель начальника санитарного отдела штаба Вооруженных сил Комитета освобождения народов России (ВС КОНР).

Весной 1945 г. Льотич предлагает генералу Власову идти на соединение с его добровольцами, действовавшими в горах Югославии. В составе делегации РОА Трушнович выезжает к месту встречи, но в Тироле группа узнает о капитуляции Германии.

Война окончена. Освобожденные из лагеря военнопленные французы спешат донести американцам, что прибывшая группа — это якобы переодетые эсэсовцы. Их везут на расстрел, но грузовик разбивается. Тяжелораненый Трушнович попадает в лазарет. Вылечившись, перебирается в лагерь русских беженцев под Зальцбургом, где его находит сын, позднее состоится и встреча с женой. Вместе они переезжают в созданный НТС лагерь беженцев Менхегоф под Касселем. Трушнович активно включается в жизнь лагеря: становится главным врачом, его избирают в Совет НТС (уже не “нового поколения”, а “российских солидаристов”). Он председатель Высшего суда совести и чести НТС, постоянный сотрудник “Посева”, автор брошюры “Россия и славянство” (1949) и книги “Ценою подвига” (вышедшей посмертно в 1955 г.).

По требованию советских властей американцы выселяют руководство НТС из Менхегофа. Однако Трушнович добивается разрешения городского управления Бад Гомбурга на постройку жилых бараков. Строительный материал достает с помощью служащей американской армии — правнучки известного составителя Словаря русского языка В.И. Даля. Так на окраине Бад Гомбурга возник поселок Солидарск.

В разгар “холодной войны” Западный Берлин, окруженный советской оккупационной зоной,

становится “островом свободы”. С 1950 г. Трушнович возглавляет там Комитет помощи русским беженцам, который помогал им ориентироваться в незнакомом мире, оказывал помощь при оформлении документов, а порой и материальную поддержку. В 1951 г. в Берлине создается Общество немецко-русской дружбы, которое возглавляли два сопредседателя: обер-бургомистр Берлина Эрнст Ройтер и доктор А.Р. Трушнович.

Прошло полвека со дня его гибели. О том, как Александру Рудольфовичу незадолго до смерти виделось будущее, лучше всего говорят слова из его книги “Ценою подвига”:

“Глубокая человечность и благородство, соединенные со смелостью и решительностью, должны стать идеалом для борца и гражданина новой России. Мы не должны кровью залить Россию. Мы не смеем исказить человеческий облик темной страстью мести, мы не должны осквернять знамя свободы коммунистическими методами. В тот день, когда мы поднимем знамя Восстания и Революции, глаза всего мира будут обращены на нас. Затаив дыхание, все человечество возложит свои надежды на нашу родину, на Россию. История сама, как бы замедлив свой ход, будет ждать великого слова от России. Когда Россия будет свободна, вся история пойдет иными путями”.

А.Р. Трушнович во многом верно предвидел свершившиеся 37 лет спустя события. Но многое, что он видел, нам еще не дано. Оно нам только задано.

Б.С. Пушкарев

Часть I. ВЕЛИКАЯ ВОЙНА

Словенцы и Россия

Бывают исторические мечты, живущие веками в подсознании народа. Мировые события иногда придают этим мечтам более конкретные формы в виде политических чаяний, литературных памятников или народных повествований. В подсознании моего народа в течение почти десяти веков жила память о совместной жизни с другими славянскими народами, проживавшими в Карпатах, у притоков Днепра. Память о кровной связи с ними не угасала и после расселения.

История словенцев складывалась в тяжелых условиях. В VII веке, после короткого периода жизни в союзе славянских племен, они вынуждены были уйти в подполье, из которого несколько раз выходили, чтобы затем снова попасть в неволю.

Покинув насиженные места, словенцы ушли далеко на Запад. Связанные узкой полосой земли с южными славянами, они почти оторвались от других славян, расселившись у границ Римской империи, между Адриатическим морем и Альпами и в самих Альпах. Словенцы были со всех сторон зажаты могущественными и воинственными соседями: Германской империей, Венецианской республикой и

Римом, которые обладали большой и древней культурой. Попавших в их орбиту они политически подавляли и денационализировали. Эти силы лишили словенцев возможности собственного культурного, материального и государственного развития.

Только в крестьянстве теплилась еще искра словенской народности. Поднимавшиеся из этой среды тонули в немецком и итальянском “море”, нередко становились ренегатами и скрывали принадлежность к своему народу. Сыны словенского народа теряли свой язык, питали своим умом другие культуры, проливали кровь под чужими флагами за чуждое им дело. Словенское самосознание оживало в крестьянских бунтах, но при их подавлении гибли лучшие, а народ еще глубже уходил в подполье.

Действия Ватикана, католической Церкви были на руку нашим врагам, и движение Реформации в XVI веке, которую Ватикан объявил ересью и подавлял силой, было воспринято словенцами с воодушевлением. Реформация распространилась тогда в Польше, Венгрии, Чехии, Словакии, Хорватии, Австрии, и какое-то время папский епископ вынужден был отсиживаться в зальцбургском замке. Это движение, носящее, кроме религиозного, социальный и национальный характер, соответствовало чаяниям народа. Тогда были напечатаны первые книги на словенском языке и возобновилась связь с другими славянскими народами.

После подавления Реформации наступила жестокая реакция, насильственный возврат католичества. По времени совпало с ней и турецкое нашествие. По несколько раз в год загорались на вершинах гор “кресы” — сигнальные костры, сообщавшие о приближении турецких отрядов, сжигавших города и деревни, убивавших или уводивших в рабство людей. И так почти без перерыва двести лет.

И все-таки выжил народ. Словенский крестьянин сохранил язык и немалую, но почти единственную культурную ценность — народные песни.

В 1799 году в Италию через словенские земли прошел со своими войсками Суворов. И русские, и словенцы были обрадованы и удивлены, почувствовав родственную связь. Почти все слова, употребляемые простым народом, были схожи, и от них веяло болью общеславянской родины. Свидетельства того времени говорят о большом впечатлении, произведенном на словенцев православным богослужением.

В недолгие годы существования Иллирийских провинций (1809-1813) словенцы и хорваты перестали быть людьми второго сорта, а стали подданными Наполеона на одинаковых правах с другими. В эти годы были заложены основы нашего национального самосознания и культуры. Но уже в сентябре 1815 года они были попораны решениями Священного союза, провозгласившего “независимость, свободу,

благоденствие народов и владычество законов”. Разбитой Наполеоном Австрии были возвращены Иллирийские провинции, Далмация, подарены Венеция и Ломбардия. Предоставив нам культурную самостоятельность, Австрия могла бы стать нашей родиной. Однако ее правители этого не захотели и продолжали нас притеснять, насильно превращать в немцев. Перед нами встал еще не оформленный облик большой родины — от Адриатического моря до Тихого океана.

В XIX веке наше национальное самосознание крепнет, постепенно принимая форму и наполняясь содержанием. Это — начало национальной жизни, национально-политической программы и идеологии. Вековая мечта, охватившая славянские народы, ранее неопределенная, начала принимать реальный облик в России и русской культуре [1]. Наиболее ярко вспыхнуло это движение среди приморских словенцев в Триесте под непосредственным влиянием русских славянофилов.

Русско-турецкая война 1877-1878 годов оставила у словенцев такую же неизгладимую память о жертвенном подвиге России, как и у других славян. Вековой сон превратился в реальную мечту, в смысл жизни, в историческое задание. Лучшие наши умы готовили народ к осуществлению этой мечты. И вот приблизилось время, которое никогда больше не повторится, веками вымученное, веками ожидавшееся.

О России вечерами рассказывал мне дедушка. Как я впоследствии понял, знал он о ней немного уже потому, что учить русский язык власти запрещали. Но его любовь была искренней и вера непоколебимой. Его рассказы, его вера на всю жизнь стали основой моих чувств к России.

Когда немцы и итальянцы не разрешили открывать словенские школы, ссылаясь на незначительность нашей культуры, мы, плохо знавшие собственную литературу, называли и Пушкина своим поэтом в уверенности, что он действительно наш. Сравнивая свой небольшой двухмиллионный народ с другими, мы с полным правом утверждали, что его культура и цивилизация находятся на высоком уровне. В 1910 году неграмотных у нас было всего четыре процента. Славяно-турецкая война, вспыхнувшая за два года до мировой, всколыхнула наш народ. Многие свидетельствовало о приближавшейся схватке между германским и славянским миром. Среди словенцев возникло национально-революционное движение, охватившее значительную часть населения, кроме клерикальных католических кругов. Великое историческое событие приближалось, мы его ощущали и желали.

Присяга России

Через несколько дней после того как 1 августа 1914 года Германия объявила войну России, мы, группа студентов, собрались вблизи Триеста на высоком скалистом берегу Адриатического моря, между деревней Набрежина (название на карте значилось только по-итальянски) и Девинским замком, где известный немецкий поэт Рильке писал свои “Дуинезские элегии”. Все мы 8 августа получили от воинского начальника направления в австрийскую армию. Был полдень, спокойное море сияло в лучах солнца. Мы сидели молча на камнях. Бывают в жизни мгновения, когда прожитое предстает пред внутренним взором, как яркое видение. И так же, как душу моего народа веками согревала историческая мечта, так и мою молодую жизнь с первых же лет сознательного восприятия мира согревала мысль о России.

Молчание прервалось. Мы обсудили положение и решили всеми силами постараться попасть на фронт, чтобы там перейти к русским и вместе с Русской армией сражаться против общего врага. Как студенты, мы могли записаться вольноопределяющимися в полки по своему выбору. Я записался в 47-й пехотный полк, в мирное время стоявший в Горице. Меня, студента-медика Венского университета, хотели зачислить в тыловую санитарную часть. Многие давали взятку, чтобы туда попасть. Я дал взятку,

чтобы попасть не туда, а на фронт. Мы считали себя воинами славянской армии, которую — мы в этом не сомневались — создаст русское командование, принесли ей присягу и объявили недействительной присягу, которую нам придется произнести в австрийской армии. Сняв фуражки, спели наш гимн “Гей, славяне” и взяли на себя обязательства по действиям в тылу нашего врага Австро-Венгрии. Это была весна нашей жизни — жизни, отданной родине.

В Карпатах

Где же она, эта самая позиция? Где предметное олицетворение слова, которое не сходило с уст миллионов людей всех рас и культур во всех странах мира? Стучало в висках, глаза пожирали пространство передо мною. Кусты. За кустами склон переходит в долину шириною в полкилометра. По ту сторону долины такой же склон, такой же лес и прогалинки с белыми полосками снега. Ни следов разрушения, ни выстрела — тишина.

— Не вижу, — говорю.

— Да вон, — показывает офицер, пришедший с позиции, — видите: опушка леса, а от нее спускайтесь по полянке, которая идет вниз, в долину. Видите кустик? Ну и тонкая полоска.

— Вижу, вижу!

Тончайшая полоска, и там — подумать только! — русские. Расстояние ничтожное, прицел две тысячи, самое большое.

Ночью мы поодиночке перебрались в окопы, занятые малочисленной первой ротой. Окопы удобные, но низко, на склоне горы. Нас предупредили: “Днем голову не высовывать! Напротив — сибирские стрелки”.

Обстановка в роте была неважной. С. относился к нам враждебно и как кадровый офицер к офицерам запаса, и как словенец-ренегат к словенцам-патриотам. Днем он с двумя унтер-офицерами упражнялся в стрельбе по русским. Когда сибирякам надоедали эти упражнения, они несколькими меткими выстрелами надолго отнимали у С. охоту показываться в бойнице.

Ночами мы слышали редкие ружейные перестрелки. Зато правее от нас, с Дуклы, всю ночь доносилась артиллерийская канонада. Там, где силуэты гор опускались, стояло большое зарево. Это был один из жертвенников войны, жуткий и величественный, созданный человеком. Самое человеческое из всех его изобретений. Много огненных жертвенников воздвигала история на славянских полях. А теперь пришло время освободиться от чужеземного ига и соединиться в несокрушимую силу, чтобы настал наш славянский век, одухотворенный религиозным и нравственным началом великой русской культуры.

Но как перейти к русским? Мы стоим на месте, они тоже. Их окопы близко, ночью разведка выходит редко, и то только шагов на двести, в лощину, правее нашего окопа. Солдаты почти все немцы, ротный командир хуже немца, нам не доверяет, возможно, шпионит. Подождем... Дни проходили скучно: чтения мало, а размышления излишни — все уже было решено.

Четвертого мая 1915 года русские атаковали соседний участок. Стрельба началась по всей линии, потом постепенно прекратилась. Наутро русские окопы оказались оставленными. Мы получили приказ продвинуться вперед. Пока подходили и строились части, поступали и новости. Немцы у Тарнова и Горлицы прорвали фронт, русские повсюду отступают, у них не хватает снарядов, не хватает даже винтовок. Первые линии еще вооружены, а задние подбирают оружие убитых и раненых.

Что же это такое? Громадное государство с неисчислимыми природными богатствами, житница Европы со стопятидесятиmillionным населением посылает своих сыновей на посмешище и гибель! Еще сильнее стало желание перейти. Я верил, что каждый славянин там теперь нужнее, чем когда-либо.

В это время правее от нас истекала кровью 48-я русская дивизия со своим прославленным командиром Корниловым. Отбиваясь от превосходящих неприятельских сил, выходя из

окружения, блуждая в лесах, остатки славянской дивизии с тяжелораненым генералом на третий день после упорного штыкового боя вынуждены были сдать.

Прекрасная долина Ондава. Русские и словаки живут здесь в белых домиках с завалинками, с цветами на подоконниках, среди вишневых садов, огороженных плетнями. Среди зеленых полей, окаймленных лесом, живут в тех же местах, где когда-то словенец и древлянин были одним племенем.

Мы уже несколько дней двигались под палящим солнцем с неузнаваемыми от пыли и пота лицами по пятьдесят-шестьдесят километров в сутки, и все виденное там сегодня воспринимается как во сне. Когда мы проходили по селеньям, становилось веселее, мы прислушивались к речи, рассматривали лица жителей, одежду. Сколько сходства с нашим народом!

В каком-то венгерском городке мы наконец-то погрузились в эшелон и двинулись по венгерской равнине на юг. У Мармарош-Сегеда снова свернули в Карпаты. На одной станции долго стояли. Пошли в деревню, к гуцулам. Худощавые, высокие, в широкополых черных шляпах, в длинных бурках. Говорят на русском наречии. Живут бедно, хатки у них курные, пахотной земли мало, леса по большей части принадлежат не им. Немецкий генерал Людендорф, побывавший в гуцульских деревнях, в своих

воспоминаниях пишет, что жизнь под Австрией воодушевлять этих людей, по-видимому, не может.

Потом мы где-то разгрузились, снова долго маршировали, стояли привалом около двенадцатидюймовой австрийской моторизованной батареи, рыли окопы на зеленых холмах, поросших кустами и березняком. Ночью прошел дождь, природа засияла, защебетали птицы.

Вдруг из-за горки — глухой удар. Следуя взглядом по невидимому гудящему пути снаряда, я увидел деревушку. Снова глухой удар — и на ее правой окраине поднялся черный столб. Затем где-то за деревушкой другой, отдаленный удар, прогудела та же “воздушная дорога” и за нашими окопами поднялся такой же столб. Так звучала “воздушная дорога” и летали странные пассажиры в оба конца. А внизу, в равнине, две лошади тянули плуг, за которым шагал крестьянин. Зеленое поле за ними становилось коричневым. Они тоже двигались в оба конца: взад и вперед. И была в этом человеке, шедшем за плугом, не обращавшем внимания на снаряды, какая-то правда, сильнее и выше этих черных столбов.

Чью землю пашешь, крестьянин? Свою или панскую? Или ростовщика? Позавчера мы проходили местечко и видели, как русские крестьяне кому-то кланялись в три погибели. А еще мы видели, как бедный крестьянин спешил по дороге с небольшим мешком картофеля. Когда он поравнялся с нами, его догнали

помещик и австрийский жандарм. Жандарм ударил его плетью по лицу, а помещик орал, будто командовал корпусом в развернутом строю: “Проклятые свиньи! Этому их русские научили!” Крестьянин-то русский... Уехали они победителями. Крестьянин жаловался: “Четверо детей, голодаем, все на него работаем, а он тебя и за собаку не считает. Все равно картофель уже гниет”.

Наш батальон стоял в резерве германского корпуса генерала Бюлова. Мне приказали изучить пути на случай подхода резерва к немецкой линии и занести их на карту. Я вышел рано утром с патрулем из пяти человек и был рад возможности посмотреть вблизи на немцев, на их жизнь, на их окопы. К тому же в роте становилось невыносимо. С. за нами следил и даже запрещал нам с товарищем говорить по-словенски. Настоящие немцы этого не делали, но С. считал своим долгом демонстрировать преданность Австрии.

В деревушке, под холмом, стояли немецкие уланы. С холма немецкая батарея вела беглый огонь, ее прислуга суетилась. Нам не советовали идти дальше. Как бы не так! Может, русские наступают и мне удастся перейти. Но огонь прекратился.

Около полудня я зашел к начальнику одного участка. Землянка была большая, в ней можно было стоять выпрямившись. За столом обедало четыре офицера. Старший встал, выслушал меня и сказал сухо, вежливо, тоном человека, никогда в жизни не

колеблющегося: “Резервы можно подводить как угодно, но они не потребуются. У меня восемь рядов проволочных заграждений, двенадцать пулеметов. Позиция неприступна”. Потом спустились в их окопы. И как раз вовремя. Позиция проходила по возвышенности. На расстоянии трех тысяч шагов, параллельно окопам чернели верхушки леса. Посередине шла железнодорожная насыпь. Из-за нее поднялась цепь — человек сто. В бинокль было хорошо видно: фуражки набекрень, красные лампы. Не бегут, идут спокойно. Немцы ударили шрапнелью. Ни один не прибавил шага, ни один даже не обернулся. Шрапнель ложилась все ближе. “Скорей бы дошли до леса!” Не успел я об этом подумать, как из лесу выскочили коноводы с лошадьми. Сели казаки на своих коней, под шрапнельным огнем построились по трое и спокойно двинулись рысью в лес. Слава Богу, никого даже не ранило. Немцы были в восторге от храбрости и хладнокровия русских.

Мы возвращались в свою часть, усталые и голодные, солнце уже заходило. Когда оно коснулось горизонта, я вспомнил человека из рассказа Толстого, которому все было мало земли. Нас ожидал батальон, выстроенный в походную колонну. Схватили по куску хлеба и двинулись. Среди ночи стало невыносимо тяжело, а отдыху давали мало. Бесперывно скакали какие-то верховые, кто-то нас все время подгонял, но мы едва волочили ноги.

Незадолго до рассвета был дан двухчасовой привал, для нас в штабе дивизии приготовили еду, выдали много пива. Австрийский генерал произнес речь и поздравил с завтрашним боем и победой. На дороге нас ждала вереница крестьянских подвод. Часов через шесть подводы остановились в небольшой деревне, где скопилось много солдат из самых разных полков. Я двинулся в лес со своей полуротой. Долго мы бродили и заблудились бы, если бы не компас. Вдруг над нами что-то затрещало, посыпались ветки, как будто пронесся громадный олень. Потом заревело, застонало и лесные своды понесли этот рев дальше. Скоро уже гудел весь лес.

Лес стал редеть, показалась опушка. От опушки до окопов шагов восемьдесят открытой местности. Окопы на возвышенности, а внизу, насколько видел глаз, — равнина. Слева от нас ломало деревья, не было слышно собственного голоса. Делаю несколько шагов, подаю солдатам знак следовать за мной — и бегом, сколько есть сил, в окопы. Окопы по колено, неоконченные, тянутся по краю крутого обрыва, заросшего кустарником. Русские снаряды рвутся в самих окопах. Меткость удивительная. Что-то готовится. Мои солдаты окапываются поглубже, я от них не отстаю. Умирать не хочется. Какая была бы насмешка судьбы: мертвый славянский доброволец в форме австрийского кадета!

Вдруг с австрийской стороны закипел винтовочный и пулеметный огонь. Выглядываю из окопа. Под

обрывом серо-зеленая лента — Прут; по мосту по одному, по двое перебегают русские солдаты. Пронеси их, Господи, невредимыми! В десяти шагах от меня мадьяр-пулеметчик стреляет из “шварцлозе”. Мимо. Видно, как очереди ложатся в воду. Хоть бы где-нибудь прорвались! Осыпало землей, граната разорвалась у самого бруствера. Страсть как не хочется умирать. Я вообще никогда не хотел умирать. Тот, кто говорит, что не боится смерти, обманывает самого себя. Но есть чувство несравненно высшего порядка и силы, чем страх смерти. Жизнь не высшая ценность человека. Сколько раз в боях я убеждался в этом! Когда я и окружающие меня были проникнуты верой в святость дела, за которое шли в бой, когда мы знали, что оно справедливо, что наша жертва необходима, что ее требует родина, русский народ, славянство, а может, и все человечество, что те, кто распоряжается нашими жизнями, ими не торгуют, другими словами, когда дух армии был силен, то смерти мы не боялись, пулям не кланялись и на человека, который сказал бы, что жизнь — высшее благо, посмотрели бы как на существо низшего порядка. Но теперь, когда я всей душой стремился стать в ряды русской армии, чувство страха приходилось подавлять силой воли.

Артиллерийский огонь стих, но винтовочный и пулеметный все усиливался. Скоро атака, много русских перешло Прут. Да вот они, уже на склон поднимаются. И стрельба поутихла. Но что это за звуки? И мои солдаты тоже прислушиваются: то

один, то другой выглядывает из окопа. А по линии несется: “Русские молятся!” Молитва стала слышнее и отчетливее. Не с остервенелыми криками и проклятиями, а с величайшим достоинством поднимаются на Голгофу, на которую их послали Царь и Родина [2]. Вижу: внимательно слушают немцы-солдаты; сила, убедительнее штыка и пули, проникла в их душу. Сжало грудь до боли, на глазах выступили слезы.

Стрельба постепенно совсем утихла, русские окопались у подножия нашего склона. Нас разделяли кусты и заостренные копья, врытые австрийцами в пологих местах. Ночь прошла тревожно: стрельба, ракеты, ложные тревоги. На завтра ожидается сильный бой. Русским надо наступать. У Коломны их армия отходит, а по эту сторону реки задержались их бесконечные обозы.

Русская батарея приветствовала утреннюю зарю. Снова затрещали ветки, затрещал лес, и далекое эхо напомнило народам, что на земле война. По всему фронту заговорили батареи. Солдаты забились поглубже в свои норы, и каждый был там со своим Богом, надеясь, что его минет. Послышались стоны. Но кто тебе поможет? Подняться из окопа — верная смерть. Вскоре и стонов не стало слышно, рев железной вакханалии заглушил и стоны, и крики раненых о помощи. Вдруг русские батареи смолкли и слева в лесу раздалось “ура!”. Все стихло, раздавалось только эхо человеческих голосов. На поляне все серо

от австрийских солдат, вышедших из окопов и подошедших с резервом. А в глубине леса видны люди в форме цвета кустов и травы. Они приближались, перебегая от дерева к дереву, мы двигались им навстречу. Хорошо уже видны лица, видны зубы, когда кричат “ура!”. В глазах туман: а вдруг придется принять штыковую атаку? Что тогда? Отстать нельзя, кругом немцы и солдаты других полков, я никого не знаю. А кто в атаке разберет мои слова, да и можно ли будет крикнуть: “Я славянин, иду к вам!” Вот-вот сойдемся...

Вижу: русские подкатывают что-то на колесах. Господи, да это же пулемет! Спаси, Господи, и от этого зла! В нестройные крики “ура!” и “хура!” ворвался стук пулемета — и застонали, и закричали вокруг падающие. Я едва успел броситься в какой-то окопчик. Стрельба все свирепела, потом вдруг затихла, серые мундиры бегут обратно. “Господин кадет, назад!” Черт проклятый! Не могу остаться! Вскакиваю, где-нибудь спрячусь. Но смотрю: и русские отходят, в глубине леса слышно австрийское “хура!”.

Снова мы в своих окопах. Снова загудела артиллерия. Пашет здорово. Нашу борозду-окопчик перекапывает. И все так аккуратно, как лопатой. Сижусь спиной к русским. Пью вино — веселей на душе. Пью и ром. С утра уже пол-литра выпил и хоть бы что. Несколько раз попадало прямо в бруствер — чуть бутылку не разбило.

Немного утихло. Выглядываю. Бежит какой-то обер-лейтенант. Глаза безумные.

— Сюда! — кричу. Он бросается ко мне, не может слова вымолвить, в глазах слезы.

— Немец?

— Серб.

— О, а я словенец! — Жму ему руку.

— Нельзя было выдержать, как бьет! Мы только что пришли, две маршевых роты, все сербы из Срема и Баната. Не знаю, остался ли кто в живых. Я кричу им, а они не отвечают! Я и убежал.

Смотрит на меня умоляюще.

— Дорогой, пойдй, посмотри!

— Хорошо, покажи, где?

Стрельба поутихла. Бегу. Всего сто шагов.

— Эй вы, сербы! Как тут у вас?

Не отвечают. Что за черт! Беру одного за ноги — мертвый. Толкаю другого — мертвый. Третий — мертвый... И все как живые, все в сереньком новом обмундировании. Один жив, печально улыбается: почти все!

Охватывает дрожь, бегу под пулями как заяц. Мой серб рыдает:

— А наши так обрадовались, говорили: “Сегодня или завтра уйдем к русским!”

Да, почти все ушли...

В этот день было несколько атак. Все были похожи на первую. Много пало, но и немало осталось в живых. Ночью все утихло. Вторая ночь на Пруте прошла тревожно. Русские окопались где-то на возвышенности. После полуночи уснул и я. Мне можно было спать спокойно: с той стороны у меня противника не было.

Снова на рассвете заговорила русская батарея. Весь огонь сосредоточился левее, где мы сходились и расходились вчера. В полдень опять была атака: одиннадцатая или двенадцатая за эти три дня. Бой шел почти на одном месте.

Но вдруг за нашей спиной раздалось торжествующее “ура!”. Русские зашли к нам в тыл с возвышенности. Серые мундиры сбились в кучу и хлынули в лес. Отхожу последним. Рядом оказались два чеха из 28-го Пражского полка, который под музыку своего оркестра недавно перешел к русским. Их рота была в тылу и ее разбросали по другим полкам. Втроем переходить легче. Уже не видно ни русских, ни австрийцев. Мы углубились в лес и по компасу взяли направление. Не прошли и двадцати шагов, как из кустов появляется русский. “Ну слава Богу!” —

говорю. А тот крестится, тоже говорит “слава Богу!” и отдает мне винтовку. Я не беру, приказываю: “Веди к русским!” Он ничего не понимает, но идет с нами. Не прошли мы и двухсот шагов, как из кустов появляется второй русский и тоже крестится. Первый что-то ему говорит, они явно недовольны. Но второй хитрей, требует, чтобы мы отдали винтовки. Мы отвечаем, что оружие задержим, пока не выяснится обстановка. Он снимает с плеча винтовку, но, увидев мой “штайер”, умнеет. “Сволочь ты, — говорю, — дезертир!” Тут они уже окончательно потеряли способность что-либо понимать.

В лесу тишина. Идем: трое в серых, двое в зеленых мундирах. Мои чехи уже интересуются, есть ли в России пиво? Идем добрый час. Нигде никого. Русские говорят, что против нас Дикая дивизия, которая никого в плен не берет. Странное название для дивизии и для нас, может быть, опасное, в первый раз такое слышим... Мы заколебались. Остановились, посоветовались и решили вернуться. К вечеру нашли своих. Сдали русских. Того и гляди представят к награде за захват пленных...

На следующий день русские отступили. Мы спустились к Пруту. В оставленных окопах запах юфти и махорки настолько силен, что по нему можно точно определить, кто их занимал. Лежало тут много убитых. Невдалеке кучка неразобранных писем. Родная земля прислала им привет, но они уже ушли туда, откуда нет возврата.

В Восточной Галиции

Опять походы. Наконец заговорили, что близко Днестр и что там бои. Привал. Накормили. Пришла полевая почта, с ней письмо из дома. И моих задела война. Двадцать лет жили в Горице, на реке Соче, вблизи итальянской границы. Белые облачка шрапнельных взрывов сопровождали их поезд, уходивший из наших краев последним. Сестры пишут, что мама часто плачет и вскрикивает по ночам, ей снится, что меня закололи штыком. Пишут, чтобы я за них не боялся и поскорей добился того, чего и они желают. Я вспомнил неразобранные русские письма над Прутом, и тяжело стало на душе. Но думать было некогда — начинался бой.

Наш полк пошел в ложное наступление, чтобы отвлечь русские резервы и не дать им участвовать в боях за переправу через Днестр.

Русские окопы тянулись по возвышенности, между ними расстилалась волнистая равнина. Мы развернулись в цепь и двинулись. Поднялись на горку. За нами, широко растянувшись, — еще четыре цепи. На холме нас поприветствовали шрапнелью русские батареи. Цепь кинулась вперед в лощинку и там передохнула. Дальше — три тысячи шагов ровное поле — смерть солдата. Я решил продвинуть свой

взвод как можно ближе к русским и ночью перейти. На втором пригорке нас уже приветствовала пехота, но я не дал взводу опомниться и погнал его дальше. Мы оторвались от главных сил, и поэтому потери у нас пока были меньше. Но на прицеле 1200 русские нас остановили сильным ружейным огнем. Решили — хватит!

Мы залегли и стали лежа окапываться. Смотрю назад: другие взводы отстали и тоже окапываются. Артиллерия смолкла, зато русские стрелки начали за нами охотиться. Наши серые мундиры на ровном зеленом поле — прекрасные мишени. Стоны и крики участились.

— Окапывайтесь по двое в один окоп, скорее будет!

— Где же мои чехи?

— Здесь мы! Проклятые хлопцы! Стреляют как черти!

И действительно, становилось страшно. За десять минут ранен или убит каждый третий. Пока окапываемся, никого в живых не останется.

— Первый взвод, слушай! Один копай, другой стреляй! 1200 — беглый огонь!

Солдаты, видно, ждали этого приказа, трескотня поднялась частая и дружная. Сразу стало легче: и пуль меньше жужжало, и стоны заглушала стрельба. Хорош доброволец славянской армии...

Вечером полку приказали продвинуться на линию моего взвода. Оказывается, одни мы заняли нужную позицию. В темноте зашуршала трава под тысячами ног, загремели лопаты — наше одиночество было нарушено. Санитары уносили раненых и убитых. М. сказал, что меня представят к отличию. Даже С. со мною приветливей. Знал бы он, почему я гнал свой взвод поближе к русским!

Откуда ни возьмись — саперы с мотками колючей проволоки. Разве тут перейдешь? С. разработал целый план фортификации, и солдатам уже не было отдыха. Так прошла первая ночь. Во вторую ночь перед окопами тянули проволочные заграждения, по всей австрийской линии вспыхивали осветительные ракеты. Тоже не уйдешь.

Русские молчали. Не тревожили ни себя, ни других. Левее от нас на горке деревня Дымки. Оттуда доносится шум подъезжающих полевых кухонь, лай собак. Там ходят люди, едят, пьют чай, смотрят на вспыхивающие ракеты вдоль наших окопов. Там — самые близкие мне люди, русские. И солдаты прислушивались к этим звукам, и в их словах было какое-то умиление: “Слышь, москаль кухню подвез. Что они там варят? Курева у них, наверное, много”. А австрийские солдаты почти голодали. По вечерам подъезжали кухни и подвозили черный плесневелый хлеб, суп (почти всегда без мяса) и черный кофе-эрзац. Мы же, три-четыре офицера, получали калорий

(вплоть до вина и торта) едва ли не больше, чем вся рота. Кроме того, папиросы и сигары, которые я отдавал солдатам. Такое неравенство в окопах, где столь очевидно равенство перед смертью, было омерзительно. И когда вдоль наших окопов разносился запах жаркого, которое несли к штабу полка, я говорил себе, что это вопиющее неравенство разлагает австрийскую армию, и немного спокойнее жевал свои котлеты.

Мой товарищ Игнатий Гр. перевелся в нашу роту. Теперь у меня верный союзник. Но вместе уходить трудно. Позицию укрепляли все сильнее и вдобавок заминировали лощинку на стыке нашей и соседней роты.

Денщики говорили, что в тылу происходит большое передвижение войск и скоро правее от нас начнется серьезное наступление. Мы с Игнатием решили подробнее узнать о готовящейся операции и сообщить об этом русским. Врачам-чехам мы все объяснили, и они помогли нам “заболеть”. Пять дней мы провели в местечке, через которое непрерывно шли австрийские и немецкие части. При штабе одной из проходивших дивизий оказался знакомый итальянец, который относился к Австрии так же, как и мы. Он охотно сообщил мне день, место и цель наступления. Мы узнали, что в конце июля у Залешиков готовится большое дело и какие части, в каком количестве в нем участвуют. Поспешили вернуться в роту. Мы уже чувствовали себя

связанными с русской армией. У перекрестка дорог, вблизи батареи, мы сели на камень у разбитого снарядами домика. Одна из дорог шла прямо к русским. В свете полуденного солнца нам мерещилась огромная страна, степи, поля, люди, говорящие на языке, изучать который нам запрещала Австрия. Еще день-два, и мы будем разделять с ней ее радости и горе.

Но Игнатия на другой день вдруг перевели в резерв соседней роты. Очевидно, наша дружба вызывала подозрения. Надо было спешить, пока не перевели куда-нибудь в тыл и меня. Я добровольно вызвался идти в разведку, взяв с собой двух своих чехов и четырех немцев. Немцев с унтер-офицером отправил в другую сторону, а сам с чехами направился к русским. Мы доползли по высокой траве до открытого поля. Видим: русская застава, человек шесть-семь окапывается. Окликнуть? Могут услышать немцы. Направиться прямо к ним? Могут начать стрелять. Решили: подползем еще ближе и подадим знаки. Поползли, а тут над нами ракета. Осветило, как в фотографическом ателье. Русские нас заметили и схватились за винтовки. Мы ретировались. Получили благодарность от начальства. На следующую ночь решил переходить один. Обстановка не позволила. На вторую и третью ночь тоже. На четвертый день меня навестил Игнатий. Еще раз попрощались, передал ему письмо для своих. По телефону сообщили, что ночью можно ожидать нападения. Вечер начался тревожно. В нашей роте

каждые четыре-пять минут взлетала ракета, на миг освещая красивым зеленым светом ночной мрак, проволочные заграждения, одинокого часового возле них, поле, заминированную лощину. Потом все исчезало и ночь казалась еще темнее.

По минному полю

Пароль был мне известен, ротный был занят телефонным разговором. Я зашел в землянку. Итальянец-денщик очень не хотел, чтобы я уходил.

— Сегодня опять, *signer cadett*?

— *Si, amico*. Сегодня во что бы то ни стало. Дай мне плащ, палку и несколько плиток шоколада.

Я еще раз проверил свой “штайер” и пожал ему руку.

— Адрес моих знаешь, не забудь сообщить, если что...
Addio!

Зашел к унтер-офицеру.

— Пойду проверить посты, русские могут напасть ночью. Смотрите, не начните еще стрелять!

До проволоки было шагов двадцать. У прохода сквозь заграждение я залег и ждал, пока взлетит ракета. Наконец она завизжала, вспыхнула и осветила. У

этого прохода часового нет. Сердце забилося сильнее, что-то подкатило к горлу. Но только на миг. Я перешагнул через проволоку, и всякое колебание исчезло. Прохода, собственно говоря, не было, проволока только прижата к земле. Зацепился плащом. Палкой ощупываю последнюю проволоку. Еще шаг... Но тут плащ опять зацепился. Лихорадочно его освобождаю: сейчас взлетит и осветит! Кровь ударила в лицо. Слава Богу, отцепился. Лежу. Соседи пустили осветительную. Встаю и медленно удаляюсь от проволоки.

— Хальт! Кто идет?

Иду к часовому.

— Проверяю посты. Смотри в оба, сегодня ждем нападения.

Отхожу и снова удаляюсь от проволоки. Ракета. Бросаюсь на землю. Погасла. Кругом тишина. Встаю и иду прямо к русским. Ускоряю шаг. Ракеты... сразу три. Теперь страшны и соседние роты. Жду, слушаю. Пока не заметили. Но соседние роты могли выслать патруль. Тогда одно спасение — крупнокалиберный “штайер”, он осечки не даст. Иду все быстрее, через каждые десять-пятнадцать шагов останавливаюсь и прислушиваюсь. При свисте взлетающих ракет бросаюсь на землю. Иду и чувствую, что куда-то спускаюсь, трава уже до плеч. И вдруг при свете ракет соображаю, что я в лощинке, на минном поле.

Сердце бьется так, что его стук слышен в ночной тишине, оно теперь единственное живое, а кругом — смерть.

Стою, как журавль, на одной ноге, опершись на палку, и боюсь опустить другую. Сейчас взорвется! Назад? Могли уже заметить. Вспоминаю, что целых три месяца мне не удавалось перейти, что послезавтра начнется наступление у Залещиков, о котором я обязан сообщить русским. Будь что будет! Жду ракеты. Здесь она уже плохо освещает, но вижу, что слева, шагах в пятидесяти, начинается подъем. Пробегаю, раздвигая траву, шагов десять. Рассуждаю: если коснусь проволоки, то взорвется, когда я уже проскочу. Стучит в висках, лицо горит. Нет, большой шум подниму. Стою, отдыхаю. Двадцать шагов, как двадцать верст. Но не ночевать же тут! Промелькнул вокзал в Мариборе и большие заплаканные глаза младшей сестры, а затем у меня в глазах замелькало, как от искр падающих ракет. Но это продолжалось недолго. Я встряхнулся, выбросил левую ногу и пошел, чуть ли не приговаривая “ать-два!” Появилось новое: начали стучать зубы. Но вдруг от подошв по всему телу побежала горячая струя: ноги почувствовали подъем! Я пошел быстрее. Вышел из высокой травы, лег и стал прислушиваться. Тишина. Смотрю на небо: звезды погасли. Вижу темную полосу возвышенности. Чуть ниже — другая полоса, русские окопы. Радостно на душе, минного поля как не бывало, на каждом шагу могу встретить русских. До этого я уже решил: буду петь славянский гимн, он

каждому русскому, конечно, знаком. Иду, пою вполголоса: “Гей, славяне, еще наша речь свободно льется, пока наше верное сердце за народ свой бьется!”

Трава опять выше, но вот подъем — это уже русская сторона. Трава в рост человека, откуда она взялась? Из наших окопов ее не было видно. Холодно, по телу дрожь. Трава становится ниже, склон круче. Ракеты уже где-то далеко. Пою, потом прислушиваюсь. С пением что-то не получается, все приходится начинать снова. Буду насвистывать “Гей, славяне”. Уже широкой лентой проступает черная полоса окопов. Они уже совсем близко, свисти, чтобы услышали. Свищу и улыбаюсь. Еще несколько шагов и...вдруг засверкали выстрелы, и мимо ушей просвистели пули. Стреляли почти в упор, шагов с пятнадцати. Бросаюсь на землю, кричу: “Я славянин, я один!” Слышу голоса. Приближаются темные фигуры. Двое подходят, берут под руки и ведут к окопам. Всего их пятеро, и все бородатые. Проволочные заграждения у них совсем низкие, замаскированы травой. Солдаты осторожно меня через них проводят.

От счастья не могу выговорить ни слова. Все мне кажется родным: и колючая проволока, потому что она русская, и прикосновение солдат-сибиряков, потому что они русские, и винтовки, которые они уже забросили за плечи, тоже русские, и ими, конечно, вооружена армия славянских добровольцев, в

которую я скоро поступлю. Теплота разливается по всему телу. Трудности сегодняшней ночи забыты, я чувствую только счастье и гордость, что перешагнул мертвую полосу, минным полем разделившую миры германский и славянский, и стою теперь уже на стороне славянского.

Спускаемся в окоп. Увидел бойницы — промелькнуло: “1200, беглый огонь!” — и тут же исчезло. Идем по узкому окопу. Передний останавливается, открывает дверь, и свет из землянки освещает его лицо. Он, по-видимому, старший, лицо молодое, улыбающееся. Жестом приглашает войти. Землянка просторная, накат из толстых бревен. Солдаты, уже узнавшие, что ведут австрийца, собрались у ротного командира. Протискиваюсь между ними. А вот и русский офицер, снимает телефонную трубку. Такой же молодой, как и я. Рубаха защитного цвета, новенькая портупея, совсем не так, как у австрийцев. Встает, подает руку, усаживает меня на свое место. Солдаты кругом на корточках.

— По-русски понимаете? — спрашивает офицер и улыбается.

— Мало, но я славянин, сам пришел, — отвечаю по-словенски словами, почти такими же, как русские.

— Ага, — говорит он и что-то объясняет солдатам.

Солдаты переговариваются между собой и улыбаются.

— Молодой какой! — говорит один и показывает на мое лицо, а затем на свои усы и бороду. Солдаты смеются добрым смехом.

Спешу, как умею, объяснить офицеру, что у меня важные сведения для русских. Офицер понял и снова поднял телефонную трубку. А солдаты меня разглядывают, и все что-то говорят. Движения спокойные, никакой злобы на лице. Бородатый опять спрашивает:

— Родные есть? Отец, мать?

Обрадовался, что понял.

— Да, да, отче есть, мати есть.

И они довольны, что поняли. Спешу добавить, зная, что поймут:

— И две сэстре имам.

— Сестры, сестры! — Еще больше обрадовались, что поняли. Один повторяет “сэстре” и объясняет, что “сестры”.

Бородатый снова спрашивает:

— Сколько лет?

Отвечаю по-сербски, зная, что по-словенски им будет менее понятно.

— Двадесет йедан.

— Двадцать один?

— Да, да.

— Тише! — говорит ротный и поворачивается ко мне.

— Сейчас пойдете в штаб полка.

Добро, — говорю, отстегиваю “штайер” и передаю ему. Он явно рад: я освободил его от неприятной обязанности. Достаяю из-за обмотки итальянский стилет с малахитовой рукояткой, тоже хочу отдать. Он машет рукой: “Не надо!” Спрашиваю, почему стреляли?

— Думали, что вас много и вы свистом подаете сигналы.

Вот тебе и “Гей, славяне”...

Прощаемся тепло и сердечно. Один солдатик говорит:

— Кончили воевать, к нашим бабам поедете... — И все смеются.

Вспоминали они еще, наверное, австрийского офицера, который их понимал и в которого стреляли в упор, но не попали. Остался ли потом в живых кто-нибудь из тех солдат Российской империи,

защищавших свою родину на возвышенностях у Днестра, южнее Чернелиц?

Со мною шел ротный фельдфебель. Шли мы молча вдоль русских окопов. В них никого не было, и мне стало не по себе. Говорю ему: “А вдруг австрийцы?”

Смеется:

— Ничего!

Ну, думаю, раз ничего, значит, ничего.

А там, на расстоянии 1200 вспыхивали ракеты. Нервничаешь, Австрия? Чуешь свою близкую кончину? Всех ты обманывала, совесть у тебя нечиста. Если она есть. Вон там, над нашей ротой, вспыхнули две ракеты. Отсюда они уже не страшны. Что там наши делают? Знают уже? Вот С. расвирепееет! Ничего, может, еще встретимся при расчете, напомним ему, как он запрещал мне говорить на моем родном языке!

Смотрю еще раз с возвышенности и посылаю прощальный привет далеко за австрийские позиции, туда, где среди зеленых садов течет Соча-река и омывает прибрежные камни синяя Адрия. Я у цели. Многие до меня мечтали об этом счастье, мне оно выпало.

Дорога свернула к Днестру. Мы обратились лицом к России. Ночью, сопровождаемый рассыпающимися звездами ракет и вечными звездами там, наверху, куда во время молитвы устремляется взгляд, молодой, безусый, с палочкой в руке, в австрийской форме, в обмотках, я пришел к России. Глаза блестели, я был счастливей счастливых, богаче богатых, во мне было то сильное и святое, что пронесло меня и через минные заграждения — вера в Россию и любовь к ней.

В штабе полка меня встретил дежурный унтер-офицер. Кровать была уже постелена. В комнате стоял часовой. Спал я крепко. Это было 27 июня 1915 года по старому стилю, — моя первая ночь в России.

Утром в саду, в беседке, меня выслушали командир полка и его адъютант. Полковник был с большой седой бородой, благородный, исполненный достоинства. Лет ему было за шестьдесят. Он сердечно на русском языке благодарил меня за помощь славянскому делу. Адъютант говорил на нескольких языках и производил впечатление культурного человека. Мы сидели долго за картой, и данные о предстоящем наступлении у Залещиков были спешно переданы в штаб дивизии. Долго еще я отвечал на вопросы о состоянии австрийской армии и на другие, их интересовавшие. На вопросы относительно славянской армии и моего желания в нее вступить ответа я не получил. Расстались мы друзьями.

Артиллерийский полковник взял меня с собой в штаб дивизии. Впервые я увидел Днестр, через который мы переправились по понтонному мосту. Над его зеленой водой возвышались крутые берега.

— Высоко пришлось прыгать казакам Тараса Бульбы,
— говорю.

— Ах, вы знаете “Тараса Бульбу”?

— А как же! Русская литература, она и наша.

— Это хорошо. А насчет того, что высоко, — это ничего, если надо, и с более высокого берега прыгнем.

Опять это “ничего”. Очевидно, важное слово.

Вечером меня с довольным лицом принял генерал, начальник штаба корпуса. Он сказал, что австрийцы действительно перешли у Залещиков в наступление. Русские их ждали, дали двум дивизиям переправиться через Днестр, а затем артиллерийским огнем разрушили понтонные мосты. Большая часть этих дивизий уже движется в Бучач в лагерь военнопленных. Вошел высокий генерал, перед которым начальник штаба корпуса встал. Генерал благодарил меня за службу, оказанную Русской армии.

Кто мог тогда подумать, что мы еще встретимся в другой обстановке? Это был генерал Зайончковский,

будущий командующий корпуса, в состав которого вошла Сербская добровольческая дивизия.

Когда генерал ушел, я попросил начальника штаба помочь мне как можно скорее попасть в славянскую армию. Он немного смущенно объяснил, что вопрос о славянской армии еще не решен, что ее пока не существует. Видя мою печаль, он поспешил сказать, что есть возможность попасть в Сербскую армию. Я тут же согласился. Начальник штаба сам написал от моего имени заявление, присоединив к нему рекомендацию от командования, но предупредил, что придется довольно долго ждать: две-три недели.

Утром на меня надели чиновничью шинель и фуражку, чтобы не привлекать внимания, и на легковом автомобиле в сопровождении офицера повезли в штаб армии. Дорога поднималась на холм, на котором колыхались волны пшеницы. С холма было видно, как эти волны растекаются все дальше и дальше. Близко настоящая Россия.

Офицер молчал, и я был этому рад. Мысли мои были на Дрине и на Дунае, где сербский народ королем Петром и престолонаследником Александром своим мужеством и любовью к родине вписывал одну из блестящих страниц в историю Сербии. Но несчастная наша славянская история и здесь наложила свою пагубную печать. Между сербами и болгарами была непримиримая вражда из-за лежавшей между ними

Македонии, тоже славянской, но не считавшей себя ни болгарской, ни сербской.

Гусятин. Замок. Штаб армии. Днем я написал прокламацию на словенском языке. Говорили, что потом ее разбросали русские самолеты.

Под вечер мимо окон проходила с песнями русская пехота. Солдаты были просто, но хорошо одеты, над ними лес штыков. Песни, еще мне неизвестные, произвели сильное впечатление. Ни у одной армии в мире нет таких песен. В них и красота, и славянское благозвучие, и вековая традиция Русской армии, и ритм мужественных воинов великого народа.

Я любовался обмундированием. Простая, защитного цвета рубаха без многочисленных пуговиц, карманов и всяческих знаков, сапоги, а не обмотки. Не сгибаясь, как вьючные животные, под тяжестью ранцев, шли русские солдаты. И еще тверже стала вера в Россию, в ее могущество. Даст она армии снаряды, справится с немцами, станет несокрушимой.

В плену

Киев. Мать городов русских. Колыбель русских былин, русской государственности. Красавец, покоящийся на зеленых холмах. Сегодня ты встречаешь близких тебе по крови и речи, любящих

тебя людей как врагов и без разбора направляешь всех в крепость. Меня обыскали. Удивились, что ничего вообще нет, на мои слова о поданном заявлении в Сербскую армию какой-то прапорщик грубо ответил: “Ничего не знаю!”

В офицерском бараке мне отвели кровать. До этого я выбросил австрийское завшивевшее белье, надеясь получить здесь новое. В одной восточной сказке нужно было добыть рубаху самого счастливого в мире человека. Но у самого счастливого в мире человека рубахи не было. В России я оказался на него похожим.

Пленных было много, несколько тысяч. Часами я говорил с солдатами-славянами и уговаривал их при первой возможности идти добровольцами в Русскую или Сербскую армию. Я нашел много земляков, все были рады, что попали в плен. Большинство желало русским победы, но снова брать в руки оружие хотели немногие. Не все были уверены, что русские победят. Русские же не позаботились о создании организации, которая могла бы сплотить попавших в плен славян, а в случае неудачного исхода войны гарантировать русское подданство и надел земли в России. Одни боялись за судьбу оставшихся в Австрии родственников. Другие были просто рады, что война для них окончилась. Среди словенцев сказывалось влияние католичества, для которого Австрия с ее “апостолическим монархом” была оплотом Ватикана, и сближение их с православными было нежелательно.

Опять проявилось историческое значение православия как носителя национальной славянской идеи. Среди военнопленных сербов борьба против Австрии была чрезвычайно популярна и вскоре дала положительные результаты. А чехи еще живо сохраняли дух Яна Гуса, и триста лет немецкого ига не смогли его поколебать, хотя и меркантильность уже наложила на них малоприятный отпечаток “реализма”.

Если бы в России проводилась хотя бы доля организационно-политической работы, подобной той, какую немцы вели среди попавших к ним в плен, то, уверен, из австрийских славян была бы создана славянская освободительная армия, которая оказала бы России и всему славянскому делу неоценимые услуги.

На четвертый день во дворе крепости огласили список отправляемых с эшеленом военнопленных тысячи солдат и пятнадцати офицеров. Все они, кроме меня, были немцы и мадьяры.

Поезд замедлил ход и осторожно, не тревожа скрепы моста, прошел над Днепром. Почувствовав под собой землю, ускорил ход. Бесконечная равнина. Куда ни кинешь взор — ровная линия горизонта. Какие поля! Ветер колышет волны пшеницы. Богата русская земля! Зазеленело все, пошли луга, куда ни кинешь взгляд — зелень до горизонта. Широка русская земля!

Земля солнцу улыбается, бесконечные поля златокронных подсолнухов Творцу славу поют. Удивленно раскрытыми глазами смотрит пришелец с Запада и слов не находит, душа его молча молится.

В степи как свечи горят золотые купола. Далеко в степь глядит русская церковь, вокруг нее белые хаты. О тебе, Россия, моя молитва...

Уже солнце склонилось к западу, и все нет конца твоим полям и нивам, твоей красоте и богатству. Тебе ли быть побежденной, тебе ли, хлебообильная, не накормить своих детей?

Настала ночь. Я лег на скамью, но не спал. Слышал, как немцы ругали славян, называя их изменниками. На одной из станций вышел прогуляться. Мимо головы пролетел булыжник, и из темноты донеслось: “Slawischer Hund!” (славянская собака!). Старший унтер-офицер пересадил меня к охране.

На утренней заре, когда солнце уже успело обойти вокруг всей земли, удивленные глаза увидели то же богатство полей, ту же необъятную ширь, ту же тихую могучую красоту. Как будто с места не сдвинулись, а сколько уже проехали...

На станциях много народу. Смотрит русский мужик, и глаза его говорят: “Вот бедные, теперь вдали от своих. И на что эта война сдалась? А вон молоденький, наверное, еще не женат. А у того,

постарше, дома жена и дети, наверное. И лошадь, и корова. Крестьянин, должно быть”.

И бабенка стоит и смотрит. Щеки розовые, глаза живые, мальчонка за юбку ухватился: “А ведь мой-то тоже где-то у них так едет. Хлебца им подать надо бы”.

Стоят пленные немцы у дверей теплушки, переговариваются. Слышу: “Вот уставились как идиоты! Азиаты проклятые!”

Кирсанов — уездный город. Город? Ни город, ни деревня. У большинства жителей собственный домик, двор, огород, сад. Много зелени, улицы широкие, не то, что у нас. Заглядываю во дворы — там чисто и уютно. Улицы, правда, могли бы быть и почище.

— Самовар! — крикнул кто-то из пленных. И все остановились, повторяя: “Самовар, самовар!”

Конвойный смеется:

— Самовар. Для чая. У всех русских есть.

Эх, дорогой, что такое самовар, я давно знаю, только вот “живого” еще не видел. Все близкие и родные мне люди Тургенева, Толстого, Достоевского пили чай из самовара, у самовара говорили о Боге, о любви, о правде, о русской земле. А самовар их слушал и пел свою тихую спокойную песню и длинными зимними

вечерами, когда мела вьюга, и весной, когда вишня цвела.

Поместили нас в бывшей тюрьме, приспособленной под жилье. Теперь со мной были чехи, почти все просившиеся добровольцами в Русскую или Сербскую армию. В пяти комнатах разместились офицеры-славяне: чехи, словаки, три серба и я. Обстановка была, как у всех пленных: нары, тюфяк, деревянные полочки на стенах, на полочках коробки из-под сахара. Несколько репродукций картин русских художников украшали голые казенные стены. Посередине стол, хромой как положено, на нем жестяной чайник. По чашке и миске на каждого — вот и вся обстановка. Кроме того, у нас был свой “герб”: фотографии короля Сербии Петра Первого и Главнокомандующего Русской армии великого князя Николая Николаевича. Чтобы наши враги без слов понимали, с кем имеют дело.

Примерно через месяц мой товарищ сказал мне:

— Ты нарушаешь гармонию нашего почтенного общества добровольцев. Разреши подарить тебе рубаху!

— Откуда она у тебя?

— Подарок. Знакомые завелись, женского пола. Я им говорю: у нас тут один наш товарищ всю жизнь в рубахе ходил, а теперь оной лишился. Вот и все.

По вечерам, за чаем, при свете висячей лампы, окутанные махорочным дымом, мы рассуждали и спорили без конца.

С первых же дней пребывания в Кирсанове мы наладили связь с военнопленным сербом, писарем в канцелярии воинского начальника, ожидавшим отправки на Салоникский фронт, где против немцев и австрийцев стояла армия союзников. Он-то и помог нам составить повторное прошение.

День мы начинали во дворе Сокольской гимнастикой, в которой принимало участие человек 25-30, почти три четверти военнопленной колонии. После завтрака ожидали “Русское слово” и кто-нибудь из нас читал сводку Главнокомандующего, которую мы прослушивали с затаенной надеждой.

Шестого августа на утреннюю гимнастику вышло только несколько человек: разнесся слух, что русские войска оставили Варшаву. “Русское слово” подтвердило: Варшава пала, Русская армия продолжает отступать.

Весь день мы пролежали на своих нарах почти молча. Мы скорбели за судьбу России и негодовали по поводу своего беспомощного положения в плену у своих собственных братьев. И это чувство усиливалось с каждым днем. Ковно, Осовец, Брест-Литовск ударяли как молотом.

Наконец, не помню числа, настал незабываемый день. В необычный час появились трое наших сербов, счастливо улыбаясь.

— Едем! — кричат издалека.

— Едут! — кричит наш товарищ, встретивший их на лестнице.

— Счастливые... Не забудьте же напомнить о нас!

Простились со слезами на глазах и написали, не помню уже какое по счету, прошение. Будем ждать решения, прислушиваться к далекому стону истекающей кровью братской армии. И проклинать судьбу.

Нас переводят в другое место. Разве это от нас зависит, военнопленных австро-венгерской армии? Наровчат Пензенской губернии. Уездный город. Глушь. Население казармы многочисленное и шумное. Славянской речи не слышно. В большом помещении, где раньше располагалась русская рота, досками отгородили угол для военнопленных офицеров.

Мрачные настали вечера. Под Сморгонью русские выбили немцев штыковым ударом, но затем снова пошло отступление. Братья-болгары вот-вот выступят на стороне немцев и мадьяр. Началась переброска германских войск для нанесения удара в лоб и тыл Сербской армии.

В большом помещении мы одни. Свет керосиновой лампы-жестянки освещал осунувшиеся лица, тени от наших голов принимали громадные причудливые формы, двигались по темным углам и облезшей краске высокого полупустого помещения. За окнами поздняя осень волчьим воем уходила в степь и, возвращаясь, постукивала всеми черепицами крыши, холодным дыханием проникала к нам сквозь многочисленные щели. Керосинка тоскливо мигала, будто жалуясь, что у нее так мало сил для преодоления тьмы. Пошел снег, осенний ветер сперва дико боролся с ним, потом утих, и земля успокоилась под глубокими снегами русской зимы.

Но кто из нас думал тогда о щелях в стене и о холодах? Сербия была отрезана от нас. Пусти нас русские туда походным порядком — не задумались бы.

За несколько месяцев до этого, в июле, когда Русская армия отступала под огненным шквалом немецкой артиллерии, не получая поддержки от тех, кого она спасала в Восточной Пруссии, под Варшавой и в Галиции, одна только Сербия предложила России свою помощь. А теперь, когда вражеские армии ворвались в Сербию, Россия уже не могла ей помочь. Сербия изнемогала в единоборстве с могущественным врагом. Не имея в тылу российского тысячеверстного пространства, ее отцы, деды и дети, орошавшие кровью родную землю, уходили через дикие албанские горы.

Воронежская губерния. Бирюч. От станции два часа пешком. Нас было пятеро, шестой конвойный. Дорога шла степью, снег лежал еще только в придорожных канавах. Ветер, несущийся над голым полем, сбивал нас с ног. С юго-запада на северо-восток неслись хмурые облака.

У воинского начальника нас встретили чехи, работавшие там в канцелярии. Мы тут же написали заявление в посольство Сербии в Петрограде. И вот однажды во время прогулки чех принес нам письмо: мне и одному из сербов нашей пятерки сообщали, что скоро нас освободят.

Любое описание нашего состояния было бы неверным и выдуманным. Хорошо помню, что, попытавшись прочесть письмо вторично, я никак не мог сообразить, почему ничего не понимаю. Оказалось, что я держу его “вверх ногами”. Военнопленные ходили смотреть на нас двоих, у всех воскресала надежда на скорое освобождение.

Восемнадцатого декабря, если не изменяет память, прибежал наш друг из канцелярии воинского начальника и показал бумагу, где было написано, что военнопленный такой-то “...по Высочайшему повелению освобождается из плена и направляется в распоряжение Одесского военного округа для поступления в Сербский добровольческий отряд”.

Большими бесшумными хлопьями падал снег на широкие залитые светом улицы Одессы. Штаб и временное общежитие нашего отряда находились на Пушкинской улице, в бывшем помещении консульства Сербии. Комнаты уютные и хорошо натопленные. Нас встретил офицер в сербской форме и горячо пожал руки. Это был серб-босниец, студент Венского университета, в котором учился и я. Говорили до поздней ночи. Мы были одними из первых, прибывших в Сербский отряд.

В ночь на 20 декабря 1915 года я уснул крепким сном добровольца славянина, у которого сбылась мечта всей его жизни.

В Сербской добровольческой дивизии

После провала немцев под Верденом Румыния поспешила объявить Австро-Венгрии войну и тут же потерпела несколько поражений. Болгарская армия вторглась в Добруджу. После соединения болгарских и немецких частей отправка добровольцев в Сербию по Дунаю стала невозможной. Сборным пунктом для добровольческих частей, формирувавшихся из южных славян, стала Одесса.

С первым транспортом из Борисоглебска прибыло около тысячи человек, среди них мой друг Кашанин, будущий адъютант нашего полка. Солдат, почти без

исключения сербов, разместили в казарме на Канатной улице. Нас, офицеров, среди которых более сорока процентов были словенцы и хорваты, поселили в доме, ранее предназначавшемся для сербских беженцев. До прибытия высшего командного состава из кадровых офицеров Сербской армии, эвакуированной на остров Корфу, все командные должности, кроме командира дивизии, его заместителя, а также двух майоров-интендантов, присланных в начале войны для закупки лошадей и застрявших в Одессе, занимали добровольцы, бывшие до этого австрийскими офицерами. В большинстве это были культурные люди, сменившие безопасную жизнь в плену на служение славянской идее.

За два или три месяца, начиная с середины января 1916 года, в Одессе собралось до двенадцати тысяч добровольцев. В феврале и марте один за другим прибыли эшелоны, что позволило сформировать второй и третий полки трехбатальонного состава. Четвертый полк был сформирован в апреле. В ротах было по 250 солдат и по четыре офицера. Временную команду приняли мы, молодые, в большинстве кадеты, получившие чин подпоручика. Самый старший был в чине капитана.

Наше материальное положение было не из лучших, формы мы получили только через какое-то время. Но дисциплина была отличная, настроение хорошее, в солдатах мы в первую очередь видели добровольцев и только во вторую — подчиненных и с нетерпением

ожидали часа, когда сможем показать себя на деле. Ежедневно проводились занятия на берегу Черного моря или за городом. По вечерам мы собирались вместе и с радостью встречали новоприбывших.

В начале апреля стало известно, что сербское командование посылает нам командира дивизии и довольно много офицеров. Мы с нетерпением их ждали. Первая группа сербских офицеров с острова Корфу, 30 или 40 человек, прибыла в гражданском через Францию, Англию и Швецию. На станции ее встретила почетная рота и все офицеры-добровольцы, кроме дежурных. Командир дивизии полковник Хаджич и начальник штаба майор Максимович приехали со второй группой. Хаджич, до войны военный атташе в Петербурге, был опытным дипломатом, имел немало иностранных отличий. В 1912 году он с большим успехом командовал дивизией. Максимович окончил в России Академию Генерального штаба. Он остался в нашей памяти как благородный, храбрый человек, отлично знавший свое дело. С офицерами прибыло несколько гражданских и около пятидесяти унтер-офицеров, назначение которых было нам не совсем понятно. Сербские офицеры заняли все командные места, вплоть до ротных. Одни из них были отличными командирами, с другими пришлось, к сожалению, испытать немало горечи в моральном и потерь в материальном отношении.

Русский царь принимает наш парад

Боевая Сербская армия не привыкла к торжественным смотрам и многочисленные парады в Одессе вызывали недовольство. Мы же, “австрийцы”, этих чудес насмотрелись достаточно. Но как при таком событии, как создание сербских воинских частей в составе Русской армии, обойтись без торжеств?! Первым из них была передача в одесском театре знамен, присланных добровольческим полком королем Сербии Петром Первым. Присутствовали при этом премьер-министр Сербии Никола Пашич и французский министр Альбер Тома. Исполняли гимны всех наших союзников, каждый по три раза! Вспоминая об этом через годы, я понял слова генерала Людендорфа в его записках: “И остались мы одни во всем мире”.

Приближалось самое торжественное событие: прибытие царской семьи. Уже почти две недели мы маршировали по берегу Черного моря и перекрикивали прибой: “Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!”

В июне, а может быть, в июле, ярким солнечным утром по улицам Одессы мерно двигались двенадцать батальонов. Батальоны влились в колонну пехотной дивизии, направлявшейся к Марсову полю. Там уже стояли русские войска: 61-я пехотная дивизия, Третья сводная кавалерийская и артиллерия. Все вместе

составляли экспедиционный корпус генерала Зайончковского, который должен был высадиться в Варне...

Вдали прозвучал сигнал трубача, другой, поближе, его повторил. Поскакали командиры, раздались команды, по полю прошел шум равняющихся масс. Батальоны замерли. Четыре могучих голоса почти одновременно прорезали воздух: “Полк, смирно! Равнение налево!” Двенадцать тысяч солдат оторвали ладони от ремней и ударили ими по прикладам, одновременно повернув головы влево. Взлетели шашки и, блеснув на солнце, опустились. Дивизия застыла как изваяние. С далекого левого фланга глухо доносились батальонные приветствия. Это приветствовали своего царя русские части.

Все ближе и ближе могучие клики и все отчетливей становился ритм приветствий. И вдруг замерло сердце и жгучая волна разлилась в груди: зазвучали торжественные звуки нашего встречного марша:

Гей, трубач с кипучей Дрины, протруби нам сбор!
Отзовутся Шарпланина, Тара, Дурмитор...

Наш командир дивизии несется влево. Там, над морем штыков вырастает сотня блестящих фигур в орденах, с аксельбантами. Уже виден автомобиль, в нем дамы в белом, за ними чья-то черная борода. Рядом верховой в фуражке русского пехотного офицера, с белой точечкой на груди. Командир дивизии

останавливается перед ним, держа руку под козырек... Государь! Государь тоже берет под козырек, здоровается, затем направляет коня к левофланговому батальону. Батальон выкрикнул приветствие. По шеренгам прошло чуть заметное движение: не ослышались ли мы? Но и второй батальон выкрикивает то же самое! Не успели мы опомниться, как Государь — уже перед нами. Улыбается, левой рукой натягивает поводья, правую подносит к козырьку и, слегка напрягая грудь, звучно нас приветствует:

— Помози Бог, юнаци!

Солдаты, вне себя от восторга, выкрикивают так, что дрожит земля:

— Бог Ти помого!

Царь улыбнулся и двинулся дальше. В автомобиле Государыня в белом платье и белой шляпе, рядом с ней и напротив — великие княжны. Где же наследник? Вот он, мальчик. Рядом с ним могучий чернобородый казак.

Справа не умолкают крики “Бог ти помого!” — это славяне приветствуют Белого царя. Затем ритм приветствий меняется, и мы догадываемся, что Государь здоровается с русской конницей. Умолкли батальоны и дивизионы. Карьером несутся адъютанты, массы приходят в движение и

выстраиваются в колонну поротно. Я на правом фланге первой роты. Перед нами чистое поле. Подъезжает командир нашего полка Попович, усами, фигурой и доблестью напомилавший Тараса Бульбу. За ним командир нашего батальона Анджеликович. Шагах в трехстах — трибуна, перед ней Государь на коне.

Видим: генерал Брусилов распекает бравого кавалерийского генерала с громадными усищами. Тот, лихо выполнив перестроения на галопе, после молодецкого поворота провел свою конницу перед самой трибуной так, что трибуна затряслась и исчезла в облаках пыли.

Раздалась команда, и дивизия двинулась. Кому из боевых товарищей пришлось быть на правом фланге головной роты, да еще перед императором, знает, какого напряжения это стоит. Глазами бесконечное число раз пробегаешь линию, не поворачивая головы, успеваешь заметить, что середина выпятилась, и кричишь, чтобы выровнялись. Сплошные геометрические проблемы!

Более подробно я ничего не мог бы рассказать: прошло как сон. Помню лишь, что Государыня, глядя на нас, плакала. Отлегло, напряжение миновало, равнение сразу стало лучше, чем перед трибуной. Так всегда. Кончилось — теперь по казармам. Мы возбужденно и радостно обсуждаем чуткость русского царя, поздоровавшегося с нами по-сербски.

Наш адъютант скачет к командиру полка, и они вместе спешат к трибуне. Что-то происходит.

— Русский царь хочет с нами говорить!

Дивизия построилась в каре. Офицеры стали перед фронтом своих батальонов.

Сегодня можно говорить и думать о русском царе и вообще о монархии разное. Но я пишу о том, что мы чувствовали тогда, и никто не вырвет это из наших сердец. Мы восприняли тогда русского царя как символ великого братства наших народов, как символ братской империи. И только в тот миг мы до конца осознали величие начатого нами дела.

Видим: приближается Государь, за ним свита. На расстоянии ста шагов от въезда в каре министр Двора Фредерике поравнялся с Государем и, держа руку под козырек, что-то ему говорит. Утверждали, что Фредерике убеждал царя не рисковать жизнью, доверяясь нам, неизвестным “австрийцам”. Скорее всего — это легенда: никто при их разговоре не присутствовал. Однако какое столь неотложное дело могло заставить Фредерикса задержать Государя именно перед въездом в наше каре? Видим: Государь, не оборачиваясь, движением руки останавливает свиту и едет дальше, шагом, один. У въезда в каре его встречает командир дивизии. Государь останавливает коня посередине. Тишина. Кажется, что люди не дышат. Взгляд случайно останавливается на бороде

Государя. Ничего особенного, борода, как у многих русских.

Мелькнуло в памяти событие школьных лет. Японская война. В иллюстрированном журнале снимки русского царя и японского микадо. Мы показываем немцам и итальянцам портрет царя — они грозят кулаками. Они нам показывают микадо — мы грозим кулаками. Окончилось все большой дракой. Было это, кажется, в первом классе гимназии...

Одежда на Государе русская, простая, и в простоте этой столько благородства! Не в сусальном золоте, с бесчисленными орденами и звездами предстал перед нами царь, а задумчивым и обремененным заботами человеком. Вспомнились многочисленные революционеры, проходившие через наши края, бранившие и бесчестившие его. С тех пор прошло двадцать лет; то, что говорил Государь, память не удержала дословно, но смысл речи и отдельные фразы из нее на всю жизнь запомнили все, бывшие тогда на Марсовом поле. Государь поздравил нас, первое славянское войско, готовое бороться вместе с братскими русскими войсками за свое освобождение от чужеземного ига.

— Никогда мои войска не были столь сильны, как сегодня. Они ждут только моего повеления, чтобы перейти Карпаты. И вы будете первыми, которые войдут вместе с моими войсками в ваши освобожденные края. Поздравляю вас с боевым

походом под начальством храбрых сербских офицеров! Россия не забудет вашу жертву.

Так оно и было: в 1916 году Русская армия была сильна как никогда, у нее было достаточно вооружения, которого не хватало в 1914 году. Теперь на зарядных ящиках были надписи “Снарядов не жалеть!”. И тем не менее в 1917 году произошел переворот.

Много лет кануло в вечность, много страшного пережито, но до сих пор трудно унять волнение, вспоминая речь Государя перед первым славянским войском летом 1916 года в Одессе. Один, в сопровождении командира нашей дивизии, объехал Государь все каре, уделяя особое внимание сербским офицерам с высокими боевыми отличиями. Уезжая, он обвел взглядом наши полки и, прощаясь, приложил руку к козырьку. Стихийно, не ожидая команды, закричали приветствие наши солдаты, потрясенные происходящим, и только когда Государь был далеко, начал успокаиваться людской вихрь.

Остановлюсь немного на тех чувствах, которые вызывала у нас тогда Россия. Мы, австрийские славяне, любили русский народ и русскую культуру. Но, начитавшись и наслушавшись от иностранных и русских врагов России об ужасах самодержавия, подходили с известным предубеждением к проявлениям российской государственности. Всех нас чрезвычайно волновал вопрос: кто Он? Белый царь,

мечта наших былин? Или деспот, угнетатель своего народа?

Подозрение к царедворцам, якобы находившимся под влиянием немцев и ответственным за поражения, у нас, конечно, еще оставалось. Зато мы с удовлетворением и радостью увидели, что Россия во многом опередила Западную Европу, что в последние годы перед войной в России быстро развивались экономика, культурная и политическая жизнь. В разговорах с образованными русскими людьми мы старались выяснить положение крестьянства, расспрашивали о “страшных помещиках”. Наша наивность доходила до того, что мы даже пытались обнаружить остатки крепостного права, узнать подробней о страданиях политических заключенных, томящихся в цепях “во глубине сибирских руд”. И тут мы выяснили, что в России при “самом реакционном правительстве в мире” в ответ на многочисленные террористические акты, политические убийства, подрывную деятельность во всех областях культурной жизни, даже в школе, литературе, искусстве и Церкви, политических преступников было приговорено к смерти намного меньше, чем в любой западной стране. Что Сибирь не ледяная пустыня, что большинство политических преступников находятся там не на каторге, а в ссылке, приобретая теоретические и практические знания, которые им пригодятся после освобождения в дальнейшей жизни. К большому удивлению, узнали,

что помещичьи земли с каждым годом все больше переходят в руки крестьян.

Впервые в верном освещении увидели выдающуюся личность Столыпина, против реформ которого боролись как революционеры, так и реакционеры. Революционеров реформы лишали надежд на переворот, реакционеров — устаревших привилегий.

По вине австрийских политических “фильтров”, пропускавших к нам только порочащую Россию информацию, мы не видели подлинной России. Революционная молодежь, орудие в руках неведомых для нее самой сил, имела на нас большое влияние, и мы нередко отождествляли босяков и “дно” Горького с русским народом.

Уже в плену мы убедились в высоком уровне образования русской интеллигенции, в том, что русская женщина была несравненно более образованна, чем западная. Повсюду, во всех областях русской государственности можно было видеть, как Россия медленно, но неуклонно становится могущественной империей. А что уж говорить о широте русского образа жизни, о простоте и благородстве истинно русского человека! Русская культура, благородная и величественно-простая, постепенно пленяла нашу душу и вытесняла из нее западноевропейскую культуру, воспринятую нами разумом, а не чувствами. Мы начали узнавать Россию

в ее настоящем виде, с ее светлыми и темными сторонами, и приняли ее такой, какой она была.

В Добрудже

Жизнь наша на шестой станции в Одессе закончилась. Мы получили приказ грузиться в эшелоны и двигаться к Рени, Пруту и Дунаю. Выгрузились к вечеру и стали лагерем на возвышенности. Солдаты толпами спускались к своей реке и пели “Дунаве, Дунаве, тиха вода плава”.

Города и села многих добровольцев стояли на берегах Дуная и, может, их младшие братья как раз гнали к нему коней на водопой? Ветка колеблется на волнах и проносится мимо. Не Савой ли она плыла, а потом Дунаем, от самого Белграда? Наши ручьи, студенцы и потоки, которые текут мимо наших домов — все они здесь, в этих водах. Среди солдат не было обычного веселья, они почувствовали дыхание своей родины. И не только воды Дуная заставляли думать о ней. Мы ждали, что Румыния откроет нам путь по Дунаю к сербским войскам на Салоникском фронте.

25 августа 1916 года в полной боевой готовности мы начали грузиться на баржи. Раздавались песни, настроение, немного упавшее во время лагерной жизни, снова поднялось, и, когда небольшой буксир загудел и потянул нас вверх по Дунаю, в воздух

полетели шапки и над волнами раздалось дружное пение.

Черновода. Высадка. Палящее солнце, степь, курганы, равнина с выжженной травой. Кокарджа. Стоянка. Выдали ручные гранаты, упражняемся в метании. Когда же нам выдадут обоймы к патронам и исправные пулеметы? По-видимому, нам народу писано приобретать оружие в бою, отбирая его у противника... А ведь Государь приказал отпустить для нашей дивизии полное новое снаряжение.

Бригада двинулась. Вскоре я со своей ротой ушел вперед, мы — в авангарде. Горизонт тянулся ровной линией и все уходил от нас в жаркую степь. Шли весь день, поднимая дорожную пыль. Под вечер казачий разъезд внес некоторое оживление.

— 61-я дивизия идет по берегу Черного моря. С утра, кроме вас, никого не видели.

— А где же румыны? Союзники?

— Не видать никого.

— Вот как? Здорово!

— Будет здорово, Ваше благородие! — улыбается командир разъезда и поворачивает коня.

У нас не хватало воды. Привозили ее издалека в бочках, и я раздавал ее сам, выстроив роту в затылок и с трудом, не без физического воздействия удерживая порядок. В ротах, где раздача воды поручалась унтер-офицерам, измученные жаждой

солдаты набрасывались на бочку и расплескивали драгоценную влагу. Это повторялось многократно. Люди, разбив сосуды, потом пытались собрать пролитое с раскаленного песка.

Приехал верховой и сообщил, что перед нами немцы и мадьяры. На усталых добровольцев эта новость возымела чудотворное действие. Моя авангардная рота затянула боевую песню и подтянулась. Я чувствовал, что известие это вымышленное, и удивился умению военного начальства воздействовать психологически на добровольцев. У каждого из нас было тяжело на душе в ожидании братоубийства с болгарами. И болгары, я знаю, чувствовали угрызения совести, стреляя в русских. На сербском фронте не было, к сожалению, иначе. Хотелось бы вспоминать о победоносных боях, когда славяне вместе боролись за свою общую свободу, а не о Брегалнице и Добрудже...

Вечерело. Авангард остановился на гребне песчаного холма. К нам подошли командир и офицеры батальона. Большим полукругом от востока до запада горели деревни. Сумерки сгустились. Вдали вспыхивали огоньки. Это братья болгары шрапнелью приветствовали братьев с Тихого Дона: “За Шипку! За Плевну!” — шептал я после каждого разрыва.

Мы молча любовались жуткой и прекрасной картиной. Зажигались звезды, помаргивая нам. Кого из нас они зовут?

Один из моих взводных командиров, серб из Срема, философ, сказал:

— Все мы здесь, на этой равнине, погибнем. И там узнаем, кто был прав: Шопенгауэр или мой преподаватель Закона Божьего.

— Тут всем нам конец, — проворчал старый сербский партизан, командир третьей роты горец Дуждевич, шаркая в песке ногой, привыкшей к спускам и подъемам. — Где это видано, чтобы воевать на такой равнине?

Мы поротно составили винтовки в пирамиды и, закутавшись в шинели, легли на песок.

— Спи́те, завтра бой, — говорил я своим солдатам из Боснии, Баната и Лики.

— Спи́те, завтра бой, — говорил теми же славянскими словами болгарский офицер своим солдатам из Софии, Тырнова и Пловдива.

На заре запели жаворонки. Настало светлое солнечное утро 28 августа 1916 года. Прискакал командир полка и отдал мне распоряжения. Моя рота двинулась полем, потом дорогой и вошла в горящую деревню Карасинан. Конная разведка перед выступлением сообщила, что неприятель в восьми-девяти верстах. За деревней начиналась горка. Моя, хотя и пешая, но более верная, разведка заметила на горке какие-то части. Развернувшись повзводно в цепь, мы

двинулись вперед. В это время сзади нас в лощине столпились роты, пулеметные двуколки и штаб полка со знаменем.

Поднялись мы на бугор и видим: шагах в пятистах — батальон в сомкнутом строю. Солдаты говорят: “Русские!” Офицеры кричат: “Русские...” Продвигаемся еще шагов 20-30, и на душе становится тревожно. Останавливаю роту и смотрю в бинокль. А биноклями нас вооружили прямо театральными, ничего не разобрать. Ругаясь, швыряю его на землю. Оглядываюсь — наши все еще в лощине, мы одни.

Кто они? Фуражки русские и обмундирование как будто тоже русское. А вон те, на фланге, мне не нравятся. Пелеринки на них какие-то серые. Нет, думаю, не русские. Кричу роте: “Приготовиться к атаке!” Выравниваю фронт и двигаюсь на батальон, чтобы выяснить, враги или свои. И тут был бы нам конец, если бы оттуда не раздалось два выстрела.

— В атаку!

Горнисты дружно протрубили зловещую песню штыка, солдаты заревели: “На нож! На нож!”, и мы бросились на извергающую огонь стену. Вижу: не добежать нам до нее живыми. А наших рот все еще не видно.

— Ложись! Беглый огонь!

Слева из кукурузного поля спешно уходит неприятельская батарея. Батальон движется на нас. Легко командовать “беглый огонь”, когда у солдат рассыпаются патроны и они их подбирают с земли! Ведь недаром изобрели обоймы. Но огонь все-таки действенный. В это время колонны, пулеметы и штабы в лощине пришли в боевой порядок и показались на гребне. Наше дело сделано: мы неприятеля задержали.

Справа от нас незабываемая картина. Выйдя на бугор, наши роты повзводно — все офицеры впереди — бросились в штыки. Командир третьей роты Дуждевич меняет направление бега, наклоняется, делает еще два шага, роняет шашку и падает. Идущие в атаку уже перескакивают через тело своего командира. Правее, на склоне соседнего бугра, несется в атаку поручик Шест со своими банатцами. Он падает как подкошенный. Роты редеют, на земле остаются многие.

Пора в штыки и нам. Прекратили огонь, поднялись и пошли. Не пробежали и двадцати шагов, слышу крики: “Болгары в тылу!”

Оборачиваюсь — и мороз по коже. Батальон таких же солдат, как те, которых мы атакуем, движется нам в тыл. Мы на крайнем левом фланге. Рота дрогнула и увлекает меня за собой. С трудом ее останавливаю. Жутко, в глазах рябит. Россия в виде громадной географической карты поднимается над степью и

смотрит на нас. Рота залегла. А может, это русские? Во что бы то ни стало надо выяснить. В отчаянии бегу навстречу движущейся лавине. Русские? Болгары? И зачем Александр Второй выдал им русское обмундирование? Ищу глазами зловещие серые пелерины. Нет их как будто. Меня заметили. Не стреляют. С ближнего ко мне фланга кто-то машет. И тут я на мгновение почувствовал слабость в ногах, по телу разлилось тепло, и во мне зазвенела двадцатидвухлетняя жизнь и радость, что опасность миновала. Слышу голоса: “Сербский офицер!”

Вместе с ними мы ударили во фланг. Болгары дрогнули, их цепи поднялись, бегут назад. Но что это? Все поле усеяно их убитыми и ранеными. Неужели так много? И смотришь, как бы не наступить на прославивших славянское дело в последнюю турецкую войну.

Наши солдаты жадно набрасываются на патроны, а главное, на обоймы, которые подходят к выданным нам в Одессе трофейным австрийским винтовкам. Довооружаемся в бою.

Поле битвы осталось за нами. Однако из 250 человек моей роты в строю осталось 117. Вечером мы спешно отступили: румыны, новоприобретенные союзники, отошли ровно настолько, насколько мы продвинулись вперед. Изморенные после боя, голодные, мучимые жаждой, мы отступали сомкнутым строем всю ночь, почти без отдыха. Параллельно с нами наступали

неприятельские части. Под утро русская кавалерия прислала сообщение, что мы вышли из окружения.

Утром прошел сильный дождь. На возвышенности нас встретил командир корпуса генерал Зайончковский. Он снял фуражку и поклонился нам до земли. У бедняги отлегло от сердца, “австрийцы” показали свое лицо. К сожалению, после пятого боя, отступив за Дунай, уже немногие могли его показать: из дивизии в 16 000 штыков в строю осталось 2 000.

Последний для меня бой был у Кокарджи. Среди ночи три полка неприятельской пехоты двинулись на наши окопы. Полевые охранения успели открыть огонь. Винтовочный и пулеметный огонь, сконцентрированный на небольшом пространстве, достиг такой силы, что казалось — вода кипит в котле. Утром неприятель отошел с большими потерями. На их стороне поднялся аэростат с наблюдателем, и вскоре заработали тяжелые германские пушки и мортиры Макензена. Били они систематически, упорно, не жалея снарядов.

На второй день я получил приказ: со своей ротой, в которой к этому времени осталось всего 70 человек, занять промежуток между первой и второй бригадами. По данным штаба, там ожидалась турецкая кавалерия. Мы укрылись в высокой траве. Через два часа вижу двух поспешно отходящих солдат. Посылаю вперед патруль и поднимаюсь сам, чтобы осмотреть поле. Приближается не турецкая

кавалерия, а гораздо хуже: цепи неприятельской пехоты. Солдаты хотят отойти. Удерживаю их. Мы должны действовать самостоятельно.

Бегу на возвышенность выбрать место для арьергардной позиции. Нас заметили, и землю начали вскапывать снаряды. Невдалеке от меня поднялся черный столб, второй рядом. Тупая боль, правая нога одеревенела — я упал. Рота отходит в лощинку, и моих криков не слышат. Цепи противника приближаются медленно, но верно, как часовые стрелки. Ну что же! Не быть же повешенным в Любляне или Триесте! Вынимаю наган. Как все естественно и логично: рота отходит, смерть приближается!

На мгновение грохот взрывов утих, и с последним усилием я позвал на помощь. Услыхали, и один солдат подбежал ко мне. Это был санитар, но не простой, а боснийский. Он всегда находился в цепи, ходил с нами в атаки, уносил раненых, подносил патроны. Он был одним из тех молчаливых героев, которыми сильна наша родина в трудные минуты. Он взвалил меня на спину и понес. Не успел он дойти до лощины, как неприятель послал нам вдогонку шрапнельный дождь. Меня обожгло в двух местах на спине, а мой босниец зашатался: его ранило ниже колена. Но тут подбежало трое наших, положили меня на винтовки и понесли.

Ночь охладила жаркую песчаную Добруджу. Двухколка движется по белой, залитой лунным светом дороге. Тихо в степи. Сколько звезд на небе... Рядом со мной лежит солдат. Он медленно умирает. Тихими стонами уходит жизнь из тела раненого. Снова поеду в Россию. Я, словенец, в сербской форме, на русской двухколке, с тремя ранами, имею на это право.

Постукивает поезд, стоны раненых ему не мешают. Ночь посреди Румынии. Фонарь за фонарем, белый халат врача-румына. Спрашиваю по-французски: “Будет ли перевязка? Повязка на спине съехала и сильные боли”. Но врач-румын занят: он делает противостолбнячную прививку. Только своим, румынам.

Все-таки начинаю дремать. Будят крики в соседних отделениях: “В Россию! В Россию!” Что бы это значило? Открывается дверь, и человек с фонарем спрашивает: “Кто желает остаться в Румынии? Кто хочет ехать дальше, в Россию?” Наше отделение в один голос отвечает: “В Россию!”

Боевое крещение Добровольческая дивизия выдержала блестяще, но с громадными потерями. После такого количества пролитой крови добровольцы были вправе считать себя равноправными с другими союзными армиями. Тем более что вооружение дивизии могло быть намного лучше. Патроны нам выдали без обойм, пулеметы

трофейные, частью неисправные. Довооружались в боях за счет отобранного у противника.

Пока дивизия была на фронте, сербское командование в тылу и местные русские военные власти выхлопотали у правительства разрешение на принудительную мобилизацию военнопленных южных славян. Это решение — результат тщеславия и неспособности разобраться в политических вопросах — нанесло принципу добровольности смертельный удар.

Вторая сербская дивизия состояла, за малыми исключениями, из мобилизованных. За несогласие в нее идти многих избивали. Были и убийства. Нам, подлинным добровольцам, с трудом добившимся зачисления в Русскую армию, были хорошо известны настроения в этой насильно мобилизованной дивизии, и мы знали, что на фронте появиться с ней нельзя. Да и не оттого ли мы подняли наше знамя, что нам было отвратительно насилие, применявшееся к славянам в Австро-Венгрии? Добровольцы резко протестовали против “принудительного добровольчества” и других ошибок командования корпуса. Но ошибки эти продолжались, а затем повторились уже в государственном масштабе в Королевстве Югославии, став питательной средой для всех разрушительных сил в этом государстве.

После Февральской революции 1917 года из 40 000 офицеров и солдат в корпусе осталось не более 7 000.

Часть из оставшихся в России добровольцев пошла в Белую, часть в Красную армию. Другие разбрелись по России и впоследствии вернулись домой. Славяне-офицеры, боровшиеся в южной Добровольческой армии, почти все пали. Многие отдали свои молодые жизни в армии адмирала Колчака. Да будет им вечная память! Королевская Югославия о них не вспомнила ни разу.

Екатеринослав

Сколько ни есть раненых на свете, все они радовались, попадая из фронтовой обстановки в теплые, уютные лазареты и больницы, вдали от грязи и опасностей. Впрочем, в гражданской войне могли не только ранить в бою, но и добить на больничной койке... В Екатеринославе, в лазарете Красного Креста, созданном немцами-меннонитами (протестантское течение XVI в., проповедующее смирение и непротивление злу насилием), нам было несказанно хорошо [3]. Я лежал рядом с моим другом, подпоручиком Игнатом Францем, хорватом из Загреба [4].

В светлой памяти о русском прошлом навсегда останутся учреждения, созданные для помощи раненым. В России была самая совершенная организация медицины — земская. И в России была русская женщина. Русское искусство, русская

литература воздвигли русской женщине величественный памятник — могу ли я что-либо к этому прибавить? Только познакомившись с русской женщиной, я начал проникать в тайники русского бытия, понимать, что отделяет Россию от Запада, почему так поддаются русскому обаянию иностранцы, побывавшие в России. Больше половины моей сознательной жизни я видел благородный облик русской женщины, несущей все тяготы жизни наравне с мужчиной, а иногда и лучше его. Я видел ее на поле, сестрой милосердия в больнице, за книгой, на фабрике, в боевой цепи, в детской, в ссылке, в колхозе, в тюрьме, в восстаниях против осквернителей русской земли.

В осенние дни 1916 года, когда бойцы залечивали раны в теплых палатах, а за окнами шел снег, сестры проходили мимо нас в белых косынках, строгие как монашки, но душевные, преданные своему делу. Сколько их погибло на фронте, в эпидемиях! Вспомнит ли когда-нибудь Россия об их подвигах? С тех пор прошло 18 лет. И вспоминают те светлые дни лежавший в лазарете доброволец и русская женщина, носившая белую сестринскую косынку и шедшая рядом с ним в годы кровавой Гражданской войны, голода и холода, страданий и ужасов, отчаяний и надежд. Их двенадцатилетний сын, рожденный в те страшные годы, слушает их рассказы о России. И мысли их там, в прекрасной стране, где сегодня над землей стоит непрекращающийся стон.

Часть II. РОССИЯ В ОГНЕ

Корнилов и корниловцы

Май 1917 года. Мы в Екатеринославе, после выздоровления. Нас, добровольцев, человек шестьдесят. Ждем отправки на фронт. Все мы хотим к генералу Корнилову. Его мы любим и уважаем больше всех, видим в нем сильного человека, храброго, прекрасного генерала славянской ориентации, честного, не запятнанного в прошлом, не по родовитости, а своей волей и талантом выдвинувшегося из семьи простого урядника. Долго ждем решения. Голодаем. Подкармливают немного сестры из госпиталя. Довольствие нам почему-то не положено. Но это не так важно. Мы мыслями в Русской армии, она нуждается в нашей помощи.

Русская армия нуждается в помощи нескольких десятков офицеров? Да, армия, которая — начни она наступление в начале марта 1917 года — раздавила бы противника, сегодня нуждается в помощи каждого честного русского, каждого честного славянина.

После почти двухмесячного тягостного ожидания из штаба генерала Корнилова пришла телеграмма о направлении нас в Восьмую армию.

Последние дни июля 1917 года. Недалеко от Городенки, возле леса, ночью, у множества костров стоял лагерем корниловский отряд. Три дня тому назад он совместно с чешской бригадой участвовал в бою при Ямнице. Точная артиллерийская подготовка помогла выбить немцев из окопов без больших потерь. Но без поддержки русских частей первоначальный успех развить не удалось.

У костра сидел худощавый капитан Генерального штаба Неженцев. Узнав о приходе тридцати офицеров — южных славян, он встретил нас словами:

— Знаете ли, господа, что служить в корниловском отряде нелегко?

— Господин капитан, если бы было легко, мы не пришли бы.

Он радостно засмеялся и подал каждому руку. Потом мы пили чай и долго говорили о России.

Мы, корниловцы, знали, что все обстоятельства против нас, и все же шли против лавины, готовые при этом погибнуть. Чего мы хотели? Первая и главная наша цель была: уберечь Россию от разрушения и колонизации. Мы считали своим долгом выполнить обязательства, принятые Россией по отношению к союзникам, и старались сохранить армию и удержать фронт. В нашей песне были слова “.. мы былого не жалеем, царь нам не кумир, мы одну мечту лелеем: дать России мир!”. Мы видели, что страну возглавили

недостойные правители, видели, как разваливается империя, и ее части, веками с ней связанные и обязанные ей всем, в трудный час от нее отрекаются. Мы чувствовали, что страну сознательно ведет к пропасти хорошо организованная группа, располагающая средствами и опытом разрушения. Мы же, корниловцы, были носителями российской идеи, воинами трехцветного флага. Для нас Россия была священным именем, и о себе лично мы никогда не думали. Мы рвались только в бой во имя спасения родины. Мы верили, что русский народ опомнится, что “Русь поймет, кто ей изменник, в чем ее недуг” и ради этого поворотного момента российской смуты хотели сохранить вождя и ядро, к которому смогли бы примкнуть русские люди. Корнилов был символом всего русского, всего честного.

У Тарнополя и Трёмбовля 22-й финляндский корпус открыл немцам фронт. Корниловцы должны были закрыть прорыв, удержать бегущих и увлечь их за собой. Куда — за собой? Землю делить, винокуренный завод грабить? Нет, в бой, где могут убить, искалечить. Во имя чего?

По пути к месту прорыва мы видели повсюду следы разрушения, разграбленные склады и железнодорожные составы. Немцами? Нет, “армией адвоката” Керенского — “самой свободной в мире армией” — как ее тогда стали величать новые правители.

На какой-то станции мы разгрузились. По полю здесь и там бродили солдаты финляндского корпуса. Слышались одиночные выстрелы. Наш патруль привел солдата с простреленной сквозь хлеб ногой. (Хлеб предохранял от ожога пороховыми газами, который свидетельствовал бы о выстреле в упор.) Самострел. Карается расстрелом. Неженцев его отпустил. От чьего имени он должен был бы выносить приговор?

С превосходным командиром, капитаном Неженцевым, Корниловский полк (2 700 штыков) двинулся с песнями в бой. При вступлении в первую же деревню немцы осыпали нас шрапнелью. Под горкой стояло шесть бронемашин: бельгийские, французские, английские, одним словом — наши союзники. Французы и бельгийцы кричали, ругались, плевались, жестикулировали; англичане спокойно курили трубки. Но с места никто из них не двигался. Мы оттеснили противника на нашем участке.

Солнце уже склонялось к западу, когда разъезды донесли, что справа и слева от нас немцы. Пока мы собирались для быстрого отхода, снова прискакали донцы — конные разведчики — и сообщили, что немцы уже окружают. Нас спасла наступившая ночь.

Русская армия разваливалась с каждым днем. Кавалерия и артиллерия еще держались, но пехоты уже не существовало. Нужно было на что-то

опереться. Повернуть судьбу России в ту или эту сторону могли лишь две силы: Ленин или Корнилов.

Генерал Корнилов был назначен Временным правительством Главнокомандующим Русской армией и находился в Могилеве. Туда нас спешно направили. Разместились в бывшей гимназии. На следующее утро мы выстроились на площади перед Ставкой в ожидании Главнокомандующего. Большинство из нас увидело Корнилова впервые. Он был лучше, чем мы себе его представляли. При виде его невольно вставали в памяти имена славного прошлого Русской армии. После первых же слов, сказанных им, простых и честных, мы поверили ему — горячо, окончательно.

Это был удивительный человек, соединявший в себе и суровую косоглазую степь, и благородную христианскую русскую культуру. В Могилеве у нас были замечательные союзники — стройные, загорелые сыны Хивы — текинцы. Изменить своему генералу для них было так же немыслимо, как топтать ногами Коран.

В Ставку встретиться с Корниловым и с двумя ротами чехов, бывшими тогда в составе Корниловского полка, приехал Масарик, которого чехи считали президентом будущей Чехословацкой республики. Встреча была сердечной: в июле 1916 года Корнилов бежал из плена благодаря помощи чехов. Все условия для совместной работы во имя спасения России были

налицо. Русская армия находилась в агонии, но две чешские дивизии были сильнейшей боевой единицей. Нелишне вспомнить, что их созданию помогли русские, поддерживавшие славянское движение, и что немалая в этом заслуга принадлежала Василию Витальевичу Шульгину и его газете “Киевлянин”.

После приема у Корнилова Масарик пришел в наш полк, в котором было около 400 чехов. Одной из чешских рот командовал я, из чехов состояла полурота разведчиков. Все музыканты были, естественно, чехи. Командир полка поручил мне во время торжественной встречи команду над чехами. Они были вне себя от возбуждения и радости. Мы, южные славяне, большинство из которых спит вечным сном на русских полях сражений, уважали и любили в то время Масарика не менее чем чехи.

Во дворе под ветвистыми липами выстроилась половина батальона со знаменем и оркестром. Масарик в сопровождении капитана Неженцева подошел ко мне. Отдав рапорт, я на смеси словенского, русского и чешского произнес короткую приветственную речь, сказав, что чехам сегодня предоставляется исключительная возможность прославить свое имя, став спасителями самого большого славянского народа, что мы будем бороться до конца и надеемся с ним когда-то встретиться в золотой Праге или белой Любляне. Масарик с высоты своего роста выслушал слова юнца, говорившего о золотой Праге, но уразуметь их, очевидно, не мог. Он

считал, что понимает Россию, но он никогда ее не понимал.

Потом мы были приглашены на чай к командиру полка. Масарика на каждом шагу сопровождала личность, которую я навсегда невзлюбил, — комиссар Чешского корпуса Макса. После чая я проводил Масарика до дома чешского учителя, у которого он остановился. По дороге мы говорили о славянских делах. На следующий день мы продолжили этот разговор в его квартире.

Наступили “корниловские дни”. В памяти навсегда останется воззвание генерала Корнилова.

“Русские люди! Великая родина наша умирает. Тяжелое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне в эти грозные минуты призвать всех русских людей к спасению умирающей родины. Все, у кого бьется в груди русское сердце, все, кто верует в Бога, — в храмы! Молите Господа Бога о явлении великого чуда, спасении родной земли.

Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения великой России. ...Русский народ! В твоих руках жизнь твоей родины”. (В сокращении)

Но в то время власть уже прочно находилась в руках петроградского совета, который еще продолжал

маскироваться под вывеской Керенского. Вокруг нас бушевало море серых шинелей солдат, бегущих с фронта. Всех их, как магнит, притягивала “земля”, и ни у одного из них не было желания вступать в бой с нашим полком. У советов в Петрограде еще не было регулярных воинских частей. Вся их сила состояла в агитации и разжигании самых низменных инстинктов.

И тут была совершена роковая ошибка. Корнилов вместо того, чтобы самому стать во главе своих войск, идущих на Петроград, остался при Ставке в Могилеве с лучшими своими частями — текинцами и корниловцами. Сегодня кажется странным само тогдашнее понятие: Ставка. Ставка — чья? Что возглавлявшая? Бывший губернаторский дом, громадные карты с флажками? Телеграф и телефон, вызывавшие пустоту?.. Ведь Русской армии уже не существовало.

С Корниловым произошло то же, что произошло со многими русскими в эти дни. Сила и груз традиций, привычный образ мышления стали причиной гибели многих, вовремя не вырвавшихся из смертельной опасности.

Решение Корнилова нас удивило, но мы предполагали, что у него свои расчеты. После приказания генералу Крымову двигаться на Петроград настал один из самых трудных дней. Утром из Ставки вернулся Неженцев, вызвал нескольких из нас и сообщил, что Ставка отрезана от

всего мира. Не было ни телефонной, ни телеграфной, ни конной, ни пешей — абсолютно никакой связи.

Весь день прошел в :жуткой тишине. К физической усталости — последние дни мы спали не раздеваясь, то и дело вскакивая ночью, — присоединилась моральная угнетенность. Большевики успели разложить находившийся при Ставке Георгиевский батальон и настроить его против Корнилова. Разлагающая работа местного горсовета уже сказывалась и в нашем полку. Мы все еще стояли на одном месте, и это было нашей гибелью. От Петрограда до Одессы все было в движении. Мы рвались раздавить это гнездо, этот горсовет. Но нам сказали: “Нельзя, это было бы противозаконно”.

К вечеру положение не изменилось. На ночь караулы из текинцев и чехов были усилены. Вечер мы провели в здании гимназии. Почти все мы, южные славяне-добровольцы, собрались вместе. Хотелось обсуждать, говорить, но слов не было. Воцарилось самое напряженное из всех видов человеческого общения — молчание. Приближался грозный момент, которого не желали наши молодые сердца: гибель армии и родины.

На следующий день, кажется, к обеду, возобновилась связь с севером. Голос неизвестного сообщил, что генерал Крымов застрелился. Генерал Корнилов был объявлен изменником. Ночью на Ставку двинулись

матросы. Наши на автомобилях поехали разбирать пути.

Большевицкой агитацией не были охвачены несколько рот и чехи-пулеметчики, но наши части редели. Разложение охватило и некоторых офицеров. Двое из них организовали чтение “Новой жизни” Горького. Мы уговорили Неженцева принять решительные меры. Их удалили из полка. В Ставку прибыл начальник Штаба Верховного главнокомандующего генерал Алексеев с приказом Керенского об аресте генерала Корнилова. Неженцев сказал, что встретились они чрезвычайно трогательно и по-дружески. Алексеев приехал, чтобы спасти от расправы Корнилова и тех, кто был с ним. Выполнив свою задачу и убедившись, что у Корнилова надежная охрана, Алексеев подал в отставку; начальником штаба Керенский назначил генерала Духонина.

Корнилов перешел в качестве арестованного в гостиницу “Метрополь”. Караул там несли поочередно текинцы и чехи моей роты, охраняя генерала от возможного нападения.

После отставки и ареста нашего вождя нас становилось все меньше. В каждом батальоне было по одной совершенно распропагандированной роте. Хуже всех была третья рота первого батальона, офицеры которой были малокультурными и колеблющимися. В конце концов солдаты их сместили и выбрали ротный комитет. Каждую ночь

мы ждали какого-нибудь сюрприза вроде попытки к разоружению. Неженцев в отчаянии обратился за помощью к генералу Алексееву и затем прибежал к нам из Ставки.

— Постройте третью роту, начальник Штаба хочет с ней говорить.

Затем вполголоса сказал мне несколько слов. Мы привели в боевую готовность две верных роты, чтобы в случае необходимости обезвредить третью.

К одиннадцати часам во двор, один, без сопровождающих, вышел генерал Алексеев. Его ожидала группа офицеров. Мы, подавленные всем происходившим, проводили его в классную комнату, где находилась третья рота. Как сейчас вижу седого генерала: среднего роста, с белыми усами, с печальным и строгим лицом. Преклонные годы не изменили выправки воина и решительной походки. Мы стояли рядом с ним, раскрыв и передвинув вперед кобуры наганов. Сменный офицер скомандовал: “Смирно!” Солдаты на команду не обратили внимания. Генерал Алексеев быстро обвел роту опытным взглядом и крикнул:

— Здравствуй, третья рота!

Молчание. Ни один солдат не шевельнулся. Генерал, еще до 22 мая бывший Верховным

главнокомандующим Русской армией, весь передернулся и крикнул:

— Здравствуйте, русские солдаты!

Прошли мучительные секунды. И вдруг рота, как огретая плетью, дрогнула и, выпятив грудь, выкрикнула:

— Здравия желаем, господин генерал!

Не дав им опомниться, генерал Алексеев сделал единственное, что в те дни мог сделать, — произнес речь.

— Вы ли те русские солдаты, которых я вел победоносным походом на Карпаты? Не вы ли носите форму славной Русской армии? Что с вами сделалось? Какая враждебная сила сумела превратить вас, дисциплинированных русских солдат, в стадо бунтовщиков? Вы носите имя храбрейшего и честнейшего русского генерала, который не стремится ни к чему иному, как к спасению родины от позора и рабства.

Окончив речь, генерал Алексеев обратился к офицерам:

— Господа офицеры третьей роты, становитесь на свои места.

Он повернулся к выходу и обвел нас невидящим взглядом. Но затем напряжение Алексеева спало, он кивнул нам седой головой, рука поднялась к козырьку. Мы проводили его до ворот.

— Спасибо, господа. Попросите командира полка зайти ко мне.

Мы смотрели вслед. Он одиноко шагал по улице Могилева к бывшему губернаторскому дому. Кто мог пронести мимо него чашу страдания? Два славных, преданных родине генерала открыли печальное шествие русского народа на Голгофу.

Генерал Корнилов должен был переехать в Быхов. Я попросил Неженцева исходатайствовать для нас свидание с ним. Несколько корниловских офицеров уже попрощались со своим генералом. Текинский офицер приветливо улыбнулся, приложил руку к сердцу:

— Главнокомандующий вас просит.

Генерал Корнилов стоял за длинным столом в полутемной комнате с тяжелыми шторами, обставленной мягкой мебелью. Он пожал нам руки и пригласил сесть. Мы сели, но от волнения чувствовали себя как ученики на экзамене и не знали, с чего начать. Он понял, и по его загорелому лицу пробежала отеческая улыбка. Я начал:

— Ваше превосходительство, от имени южных славян — офицеров и вольноопределяющихся, а также от чехов Корниловского полка мы пришли пожелать вам счастливого пути и сказать, что мы всегда будем с Вами и с Россией.

— Я глубоко тронут верной службой, которую вы несете России. Я тоже думаю, что без России вам будет трудно удержаться...

Затем Корнилов расспрашивал нас о нашем добровольчестве. Лицо у него было доброе, и он говорил с нами не как начальник, а как простой русский человек. Языки наши развязались, и мы выложили ему все наболевшие вопросы как на исповеди. Человеку, имя которого мы носили, я не мог не задать последний вопрос:

— Ваше превосходительство, как Вы представляете себе дальнейшую судьбу России?

Его лицо опечалилось, глаза сузились. Подумав, он ответил:

— Я боюсь только одного, чтобы союзники не заключили мир за счет России. Если этого не произойдет, то я уверен, что мы справимся собственными силами. Не может не опомниться русский народ.

Вскоре мы тоже уехали из Могилева. Чинов Ставки мы оставили на произвол судьбы, и они были в

большом унынии. Ехали на юг, через Киев и, не доезжая до Шепетовки, на небольшой станции Печановка, в окрестностях которой были расположены чешские части, выгрузились. По пути от нашего полка отстало несколько сот человек.

После корниловского выступления армия стала разваливаться еще быстрее. Все окрестности кишели уходящими с фронта солдатами. Наши части расквартировали по селам, и это было ошибкой: из ближнего местечка к ним проникали разлагавшие их агитаторы. Впрочем, большого значения это уже не имело, разложение охватило буквально весь фронт от Балтики до Одессы, мы были последней организованной частью Русской армии.

По поручению Неженцева я несколько раз ездил в штаб чешской дивизии к комиссару Максе. В Могилеве, пока у власти был Корнилов, чехи обещали нам некоторую материальную помощь. Когда положение изменилось, Макса стал уваливать от ответа и наконец отказал, не сдержав данного слова.

После ареста Корнилова командир полка Неженцев по инициативе Керенского подал прошение во французскую военную миссию генерала Ниссея о переброске нашего полка на западный фронт. По этому делу Неженцев командировал меня в Петроград. Я решил: в случае положительного ответа французов уничтожу разрешение и сообщу, что получил отказ. Наше место было в России. Французам

мы, слава Богу, не понадобились. У Неженцева тоже отлегло от души.

В Петрограде я провел всего несколько дней. Была вторая половина октября. Чувствовалось, что переворот скоро совершится и что никто помешать этому не сможет. Облик людей на улицах страшно изменился. Лица приняли нечеловеческое выражение. Глядя на них, становилось холодно на душе и страшно за Россию. Неужели это русский народ?

Не помню, на какой улице, помню лишь, что на верхнем этаже, в маленькой комнате, жил у своих знакомых Масарик. Я побывал у него. Мы поговорили четверть часа, затем я проводил его до дома, где он читал лекцию петроградским чехам и словакам. Его высокая фигура ссутулилась, лицо стало более задумчивым, чем в Могилеве. Больше говорил он, и я слушал его с благоговением, ибо тогда видел в нем борца-славянина, каким мы его знали и уважали в довоенные годы. Страшно было сознавать, что Россию вскоре может ожидать окончательная катастрофа.

— Да, Россия сошла с пути. Всем нам будет трудно,
— сказал Масарик.

Снова Волынь. Старые хаты. Поздняя осень. Непролазная грязь. Самогон в каждой хате. Серые потоки бегущих с фронта солдат с матерной руганью несутся мимо, прихватывая с собой то единицы, то

группы из наших. Наши части разлагаются. Незаметные до тех пор комитеты начинают хамить и командовать. Они делят между собой обмундирование и тут же, обменяв на самогон, пропивают. Последней опорой полка были наши офицеры и чехи. В один из серых осенних дней меня вызвал Неженцев.

— Послезавтра мой день рождения. Устроим полковой праздник, последний в Русской армии. Как настроены Ваши чехи?

— Если говорить о верности, то они верны. Но Вы сами знаете, господин полковник, что им приказано уйти от нас в распоряжение чешского корпуса. Макса опять требует их к себе.

— Уговорите их остаться хотя бы на две недели, пока я вернусь с Дона.

В те дни в наших ушах уже звенел колокольным звоном Дон. Снова появились у нас цель и надежда.

— Всеми силами постараюсь. А последний полковой вечер Русской армии было бы хорошо устроить.

Вечер организовали в доме священника. Музицировали чехи. В двух комнатах сидели офицеры с Неженцевым. Хозяйками были матушка, сестра милосердия Зина, девушка-доброволец, шедшая с нами еще из Киева и погибшая потом под Гниловской, и еще одна сестра. К нам подсел Неженцев.

— Хочу сказать слово и боюсь, не смогу, не выдержу... Как будто поминки справляем.

— Ничего, господин полковник, когда-нибудь воскреснет Русская армия и вспомнит этот вечер.

Речь Неженцев произнес. Сегодня не помню из нее ни одного слова. Было тяжело на душе. И полковник Неженцев, и мы — все забыли про его день рождения. Мы справляли поминки по Русской армии. Неженцев пробыл с нами до поздней ночи. Не один раз по его худощавому лицу прокатилась слеза. На этом последнем вечере Русской армии раздавались и наши, словенские, песни.

Разошлись поздно. Со стороны местечка доносились выстрелы, из деревни — пьяные вопли. На небе ни одной звезды, кругом была тьма. Глубокая, непроницаемая тьма. Мало осталось в живых из тех, кто был на этом вечере.

Я ежедневно беседовал с чехами, уговаривая их не уходить до возвращения Неженцева. Макса прислал одного из своих комиссаров с распоряжением немедленно увести их. Но у наших чехов чувство долга и чести было развито лучше, чем у их главарей.

Вернувшись с Дона, Неженцев на наши вопросы ответил коротко.

— На Дону генерал Каледин вас ждет. И генерал Корнилов к нему собирается.

— А много ли у него войск? Правда ли, что четыре офицерских полка?

Неженцев помолчал и сказал:

— Каледин надеется на наш полк...

Чехи ушли. Перед их уходом мы отпустили всех солдат. Осталось нас около трехсот человек, в большинстве офицеры, пятая часть из которых мы — южные славяне. С нами было только знамя полка, снятое с древка.

На громадном пространстве от Балтики до Черного моря зияли пустые окопы, оставленные русскими солдатами, участниками мировой войны, чтобы принять неисчислимое множество трупов с новых фронтов новой войны — Гражданской. Брошенные пушки, пулеметы, богатые склады — все, что наконец получила Русская армия после невиданных жертв и лишений, печально свидетельствовали о русском богатыре, который поднял меч для последнего сокрушительного удара и внезапно его уронил, отравленный ядом саморазрушения.

Мы, носители русской национальной мысли, воины Белой идеи, остались одни, в снежной вьюге, на пустынных полях у ворот русской Империи. Ворота эти были открыты настежь, родина осталась без

защитников. С нами были только могилы тех, кто пал за Россию. И мы, оставшиеся еще в живых, искали живых русских людей с трехцветным русским флагом. Там, на Дону, где никогда не знали крепостного права, веками закаленные в борьбе со степью, были как будто такие люди. Туда мы поодиночке или малыми группами пробирались в снежную вьюгу декабрьских дней 1917 года.

На Дону уже находились три витязя Белой идеи: Корнилов, Каледин и Алексеев. С Дона эта идея должна была проникнуть в сердца русских людей и исцелить их от красного бесовства. Дон стал кличем для всех истинно русских людей, на Дон пробирались люди в солдатских шинелях со всей России. Там надеялись мы создать небольшую, но русскую по духу армию и с ней начать поход за освобождение России от красного ига.

В первые же дни после октябрьского переворота среди нас, огрубелых от войны солдат, с затаенным отчаянием сопротивлявшихся року и неизбежному, оказались и удивительные существа — полевые цветы в терновых венках. В дни, когда Россия погибала, русские женщины, порывая с вековыми традициями, кинулись на помощь своей родине. На всех фронтах, во всех армиях, переодетые в солдатское, переноса вдвойне для них тяжелую боевую жизнь, они с винтовкой в руках сражались на передовой. Объединенные в боевые отряды, они гибли под огнем тяжелой немецкой артиллерии, от предательской пули

с тыла. Их, брошенных на произвол судьбы, поглотила бездна на Дворцовой площади и в Зимнем дворце. Казалось, страшный пример женского батальона в Петрограде должен был навсегда отнять у русской женщины желание братья за оружие в то время, когда мужчины теряли всякое понятие о долге. Но нет, высокие примеры храбрости и любви к родине братьев, отцов и мужей, погибших и сражавшихся, светлые страницы прошлого придавали им небывалую силу [6]. Пришедшая к нам, корниловцам, хрупкая, изящная девушка шестнадцати лет постигла тайну жертвенной любви к родине, которую не могли постичь умудренные житейским опытом мужчины. Она, как и многие другие наши женщины, боевые товарищи, прошла с нами весь тяжелый путь русской Голгофы. Она не искала ни личного счастья, ни мужского имени, она находилась по ту сторону добра и зла, была невестой Родины. Она одна из немногих осталась в живых, леденела в Первом походе, вела огонь из пулемета во Втором, переходила фронт в последнем врангелевском походе, детскими своими глазами глядя в глаза смерти.

Новочеркасск

Новочеркасск. Хотунок. Декабрьские дни. Неженцев уже здесь, Игнатий Франц тоже. Ежедневно прибывали новые, но нас все равно ничтожно мало, несколько сотен. Южных славян от сорока до

пятидесяти, столько же русских с Карпатской Руси. Пополнения идут все время со всех сторон, но одиночками, маскируясь, с подложными документами, в солдатских шинелях, лузгая семечки, неумытые, придав лицу пролетарское выражение, матерясь по-революционному.

Но есть и другие, их много гуляет по улицам Новочеркаска, хотя могли бы быть в казармах на Хотунке. Казармы Хотунка пополняются медленно, гуляющих по улицам Новочеркаска все больше.

Фронт перед Новочеркасском держат дети Чернецова. Фронт сказочный: один юноша против двадцатитридцати, а то и больше, красногвардейцев. Донцов среди нас почти нет. На призыв Каледина отозвалась сотня стариков. Казачество тоже заражено всеобщей болезнью. Казаки держались дольше других, но потом и они поддались всеобщему психозу. Чего им надо было? Земли у них было больше чем нужно, жизнь была привольная. По сравнению с русским крестьянином они были помещиками.

Генерал Каледин первым начал движение. Но увидев, что донцы отказали ему в повиновении, что на его призыв отозвались одни дети и сотня стариков, он, охваченный ужасом, застрелился.

Дети хотели спасти Россию, они взяли в свои детские руки трехцветный флаг, в их сердцах была Белая

идея. Умирая, они смотрели туда, где на горе светились купола Новочеркасского собора.

Вспомнит ли Россия их подвиг? Будут ли говорить русским детям: “Будьте такими, какими были дети, умиравшие в степях Дона и Кубани за свою родину. Будьте всегда горячими, когда дело идет о России и русском народе, будьте чистыми душой, как те витязи Белой идеи!”

Генерал Корнилов жил со своей семьей у войскового старшины полковника Дударева на Ермаковском проспекте. Он часто приглашал кого-нибудь из корниловцев на чай. За столом, кроме Лавра Георгиевича, чаще всего бывали его дети, адъютанты, Хан Хивинский, полковник Голицын и другие, которых не помню. Личность Корнилова не подавляла, а внушала бодрость, готовность к подвигу, но не шумному, не бутафорскому. И я имел счастье бывать с Неженцевым у Корнилова. Он расспрашивал меня о впечатлениях, вынесенных по пути в Новочеркасск, но больше всего его интересовал чешский корпус. Я сказал примерно следующее:

— В чешском корпусе полубольшевицкий дух, главный выразитель которого комиссар корпуса Макса. В корпусе, к сожалению, нет вождей славянской ориентации, которыми гордился чешский народ во время своей упорной борьбы с немцами. Масарик может и хотел бы вмешаться в русские

внутренние дела, но его влияние в корпусе не так велико, как это может казаться. Если бы среди чехов находился, например, Крамарж, то все было бы иначе. Крамарж никогда не отделял чешских дел от русских и на совершающиеся в России события смотрел со славянской точки зрения, правильность которой он сумел бы доказать окружающим.

Я сопровождал Неженцева в штаб Корнилова. Небольшая комната, простой стол, на котором карты, чернильница, браунинг и больше ничего. Он только что говорил с двумя текинцами и сиял от радости: с ним снова верные рыцари, с которыми пришлось расстаться в лесах Белоруссии.

В комнате оставался войсковой старшина Десятого первоочередного Донского полка.

— Вы утверждаете, — говорил Корнилов, — что с нами чуть ли не большинство. А можете ли их назвать по фамилиям? Вы скажите мне точно.

Старшина долго пересчитывал, оказалось — восемь человек.

— Я так и знал. За эти дни я так уже привык критически относиться к заявлениям “все пойдут” и “большинство за вас”. Мы можем рассчитывать только на единицы. И то хорошо: восемь человек, да Вы, старшина, девятый.

К Масарику

Простившись со старшиной, Корнилов обратился ко мне.

— Готовы ли вы, поручик, отправиться к президенту Масарику? Я знаю, что Вам не нужно объяснять ни обстановку, ни наши нужды и пожелания. Я дам Вам с собой письмо. Подробностей не будет на случай, если с Вами что-нибудь произойдет. Генерал Алексеев Вас ждет.

Корнилов пожал мне руку и пожелал успеха. Я видел его в последний раз.

Приемная генерала Алексеева была набита людьми. Половина из них могла и должна была бы находиться в Хотунке. Я ощущал к ним одну неприязнь: этот репейник и здесь цеплялся за наше здоровое тело!

Вышел генерал Алексеев, нашел меня взглядом и пригласил в кабинет. Постарел он за это время. Быть может, ни одному русскому человеку не выпала такая тяжелая доля, как генералу Алексееву, мало знал он радостных дней. Мы долго говорили о чехах, я отвечал на вопросы, лицо его становилось еще более озабоченным и печальным. Он вручил мне письмо и простился тепло, по-отечески. Закрывая за собой

дверь, я видел седого генерала, стоявшего задумчиво посреди комнаты.

Киев. Январь 1918 года. Власть в руках петлюровцев, полубольшевиков и ненавистников России. К Киеву подходит Муравьев с большевиками. Каждый в городе знает, что петлюровцам не удержаться.

Чешская Рада помещалась в одной из гостиниц. Вручив Масарику письмо, я долго объяснял ему наше положение и говорил о надеждах, которые мы возлагаем на братьев-чехов. Масарик обещал созвать Раду, где должен был решиться этот вопрос. Обещал написать письмо. Макса был здесь же. Он по-прежнему курил сигары и, судя по его виду, недостатка в питании не испытывал.

В ожидании прошла неделя. Зная положение на Дону, я досадовал и беспокоился. В начале второй недели я начал требовать ответ. Со мною несколько раз говорил военный комиссар, кажется, Клецанда. Я чувствовал, что он настроен к нам доброжелательно, но сделать ничего не может. Чешским корпусом управляла другая сила, перед которой беспомощен был даже Масарик.

Может быть, я ошибаюсь, может быть, между Масариком и этой силой никаких расхождений и не было. Во всяком случае, я видел, что ответ уже предрешен и задержка только в одном из видов “реальной политики”. В конце второй недели я

заявил, что ждать больше не могу. Масарик назначил день и час для вручения ответа.

Сидя в маленькой комнате за круглым столиком, Масарик объяснил, что Рада решила во внутренние дела России не вмешиваться и просьба Корнилова и Алексеева удовлетворена быть не может. Вручить же ответ в письменном виде, как было обещано, он считает невозможным, ввиду опасностей, ожидающих меня в пути. Тоже, вероятно, “реальная политика”: нежелание оставлять письменное свидетельство позорного решения.

Это было введением в беседу, которая продолжалась довольно долго. Передо мной у Масарика был полковник Л., неверно описавший обстановку, преувеличивая силы, собравшиеся на Дону. Но про обстановку на Дону сообщали Раде также и чехи, прибывшие из Новочеркасска.

Масарик высказал мнение, что движение на Дону создано кучкой реакционных генералов и обречено на неудачу. Я возразил: движение возглавляют Корнилов и Алексеев, в честности и любви которых к России нельзя сомневаться, а в реакционности заподозрить невозможно. На это он ничего определенного не ответил, предложил мне не возвращаться в Новочеркасск, а оставаться в чешском корпусе, с которым я мог бы покинуть Россию. Я, по молодости лет, ответил довольно напыщенно:

— Чехи отвернулись от России. История подведет итоги, и боюсь, что скоро. Сейчас с нами только Бог и трехтысячная Добровольческая армия.

Кроме того, генерал Алексеев поручил мне передать одно распоряжение генералу Драгомирову. Бывший командующий Северо-Западным фронтом принял меня в своем кабинете. На стенах, по военной традиции, висели фотографии его семьи. Невольно в душе возникло сравнение двух славянских течений, господствовавших тогда в древнем Киеве: с одной стороны, жертвенный русский идеализм, с другой — эгоистический и потому близорукий “реализм” чешских руководителей.

Впоследствии генерал Драгомиров занимал высокие должности в Добровольческой армии, но его принципиальный характер не мирился с моральным падением равных ему и ему подчиненных. В вопросах чести он никогда не знал компромиссов и поэтому ушел.

В поисках армии

Пробираться из Киева на Дон было еще труднее и опаснее, чем с Дона в Киев. Стоит ли останавливаться на подробностях? Сколько русских людей тогда пробирались? Пробираться означало: проверка (фальшивых) документов, лишения, голод, езда на

буферах, на крышах вагонов, в теплушках с озверелым народом, ожидание ареста и расстрела. Несколько раз я был на краю гибели. Но Господь хранил.

Попрощался с гостеприимными хозяевами, закинул мешок за плечи и тронулся в путь. Я все еще разыскивал корниловцев, ушедших в степь.

Екатеринодар. Ночевал в духовном училище. Был принят генералом Эрдели. Доложил все, что знал о движении генерала Корнилова на юг, по-видимому, на Екатеринодар. Эрдели сказал, что ни один из посланных на связь с Корниловым не вернулся. Сказал, что удерживать фронт трудно, так как казачество в борьбе против большевиков не участвует, и что ему со своими частями, вероятно, вскоре придется оставить Екатеринодар и уйти в горы.

— Может быть, вы будете счастливее... Дай вам Бог!

Город в те дни был пуст, военных почти не было видно. Чувствовалось: все считают, что большевики не сегодня-завтра займут Екатеринодар.

По Красной шел трамвай с ранеными. При виде их сжалось сердце, вспомнилось снежное поле, серое небо, одинокий вагон и звероподобные люди в серых шинелях. Мозг сверлила мысль: как их убьют?

Выволокут во двор? Или заколют штыками прямо в палатах? Ночью или днем?

А может, пощадят? Кто? Они пощадят? Беременных матерей не щадят, убивают детей на глазах родителей, родителей на глазах малолетних детей... Для них ничего святого нет. И зубы сжались от злости. Скорей бы добраться до своих.

До Тимашевской я доехал поездом, потом на подводе до Брюховецкой. Одет я был подходящим образом, зарос щетиной, узнать во мне офицера было невозможно. Не совсем правильная русская речь помогала мне выдавать себя за военнопленного австрийца. Хотя одна банда, надо думать, петлюровцев, приняла меня за еврея и чуть не убила. Едва удалось уйти, нырнув под вагон медленно идущего товарного поезда.

Я рассчитывал: если Корнилов под Сосиками, он, безусловно, движется на Екатеринодар. Следовательно, мне надо пробираться через степь по направлению к Выселкам. Расспрашивать было опасно, да никто ничего толком и не знал. Переночевал я в Брюховецкой. Вечером там был сход казаков; один из них нес булаву и, издеваясь, играл ею как игрушкой, остальные ржали от удовольствия.

Из Брюховецкой я вышел рано утром. По дороге попалась подвода с хозяином и работником, военнопленным австрийцем. Мне разрешили

подсесть. Так меньше обратят внимание. С работником мы говорили по-немецки. Он предложил мне махорки и, кивнув в сторону хозяина, шепнул: “Буржуй!” До их хутора было верст восемнадцать, я там переночевал. Хозяйкой была молодая мещанка из Петрограда. Ее отец умер от голода, брата расстреляли в ЧК. Она отправилась на юг за хлебом и здесь вышла замуж за хуторянина. Я попросил ее порасспрашивать, где Корнилов. Никто не знал. Говорили, что большевики собираются у Выселок.

Утром я ушел с хутора. Остановился в раздумье. Куда идти? В степь или на Выселки? Потянуло на Выселки: если большевики там концентрируются, значит, там должны быть и наши. Судьба подшутила надо мной нелепо и жестоко: армия в это время двигалась от Старо-Леушковской к Ираклиевской и Березанской. Поверни я тогда на север, я бы выполнил свою задачу и мы не дали бы красным занять Екатеринодар. Путь туда был свободен, а кубанцы выступили только первого марта. Прошло много лет, но я все так же болезненно вспоминаю этот несчастный день в степи, на распутье между Брюховецкой и Выселками, когда я мог сослужить России великую службу.

Поезд остановился среди гор. Никто, кроме меня, с него не сошел. Была лунная ночь. Темные громады гор со всех сторон обступили маленькую станцию. Я прочел надпись: Гойхт. Было тихо, только вдали шумела вода. Свежесть гор пронизывала невыспавшееся тело. Я вышел с вокзала и пошел по

дороге на север. Уходящий поезд длинным свистом прорезал ночную тишину, и Кавказские горы долго гоняли этот свист из долины в долину, пока он не замер где-то за Оштенем. Здесь для меня все было незнакомо: и край, и народ, и обычаи. Я пошел, положившись на волю судьбы; было слышно только эхо моих шагов. Под утро я заснул на завалинке домика греческого селенья.

Солнце озаряло Оштен, когда я свернул по тропинке в лес. В полдень я уже шел вдоль реки Псекупс. В горном селе, где жили русские старообрядцы, остановился. Меня задержали и повели на площадь, где происходило какое-то собрание, проверили документы и подвергли коллективному допросу. Обращались вежливо, и я несказанно обрадовался, что есть еще селенья, где русские лица не искажены ненавистью и злобой.

Затем я пробирался через горы в Горячий Ключ. Подметки отлетели. Обмотал ноги полотенцем, потом рубахой. Все это постепенно пропитывалось кровью. Поздно вечером я с большим трудом добрался до Горячего Ключа. Переночевал в каком-то сарае, а рано утром хотел перейти мост и пробраться лесными тропами к армии.

Но ночью в местечко вошел большевицкий отряд и занял все выходы. Меня схватили и повели на площадь, где происходил митинг, тут же превратившийся в “народный суд”. Судила

разъяренная толпа. Всесильная и всезнающая, она с абсолютной точностью установила, что я черкес и шпион. Кричали: “Расстрелять! Чего там церемониться!” Но тут, как в античной трагедии, появилась другая, более интересная жертва. Я так и не разобрал, какая. Толпа бросилась на нее с криками и руганью, забыв про меня. Я спасся. Уходя переулком, услышал трескотню выстрелов. На одного человека столько патронов! В начале революции убийцы еще не умели убивать экономно. Дойдя до конца переулка, я обернулся. За мной никто не гнался, и я спокойно пошел, обдумывая, что делать дальше. Почти спокойно. Я уже стал привыкать к постоянным сменам смерти и спасения.

В глубине сада стоял длинный одноэтажный дом. Меня потянуло туда. Спрошу, нельзя ли переночевать? Первый, кого я встретил в многолюдном коридоре, был австрийский военнопленный. Я посмотрел ему в глаза и через минуту все рассказал. И не ошибся. Это был русский с Прикарпатской Руси. Он взял меня за руку и повел в свою комнату, приняв, как брата, вернувшегося после долгого путешествия. Я пробыл у него около месяца, пока не зажили ноги, — опасно было показываться на улице. Он дважды спас меня от верной смерти: его австрийская форма магически действовала на витязей Интернационала.

Выпал глубокий снег. Потом пошел дождь с ветром. Все деревья и кусты обледенели, стали стеклянными.

Жители попрятались по домам, ждали, пока стихия успокоится, и поминали странствующих и путешествующих, застигнутых метелью и обледеневших в степной вьюге. Да разве мог быть кто-нибудь сейчас в степи?

Но в степи люди были. Как привидения, двигалось шествие сомкнутых в строю и лежавших на подводах людей. Шел снег с дождем, и бесновался ледяной ветер. Люди шли, и обледеневшие шинели их звенели. Раненые лежали на подводах, как в ледяных гробах, и молились о смерти. Это шла Русская армия: тысяча пятьсот штыков и тысяча пятьсот раненых. Каждый из них нес в своем сердце пламя любви к России, как несут свечу в Великий четверг. Ни вьюга, ни метель, ни ледяной дождь не могли потушить этот огонь и вырвать трехцветный флаг из рук знаменосца Русской земли — генерала Корнилова.

Так же шли когда-то русские в стужу и снег, взбираясь на Альпы, атакуя Чертов мост, сбивая противника с неприступных позиций, ночуя во льдах. Жители горных долин по ту сторону Альп крестились, принимая их за привидения, за горных духов. Живые люди не могли в это время спускаться со страшных ледяных вершин. Но русские смогли.

И вот в последних числах февраля под Екатеринодаром раздалась канонада. В бессильном бешенстве я спешил по горам к туапсинской железной дороге, чтобы через Новороссийск добраться до

армии. Увы, армии под Екатеринодаром уже не было. В тот день, когда я добрался туда, большевики вырыли тело убитого Корнилова, возили напоказ по улицам и сожгли у кирпичного завода. Армия, потеряв в жестоком бою своего вождя и три четверти состава, снова ушла в степь.

Куда деться, где их найти? Потянуло на Дон. Сердце чуяло, что Дон уже опомнился и что наша армия туда движется.

Снова на Дону

Опять Ростов. Новочеркасск. Маячил в эшелонах между Новочеркасском и Зверевом. Много было тяжелого. Но вот Дон всколыхнулся. Начали восставать северные округа, а оттуда волна казачьего возмущения двинулась к Новочеркаску. Решил ждать там: путь на север был отрезан, большевики десятками эшелонов двигались на Тихорецкую и Царицын.

В Новочеркаске я сначала остановился у знакомых, а затем в доме полковника Дударева, где раньше жил генерал Корнилов. Жена Дударева до этого скрывалась. В их дворе была большевицкая застава, задерживавшая всех, кто справлялся о Дудареве. Потом большевики начали готовиться к отходу и заставу сняли.

Узнав о смерти Корнилова, Дударева рыдала, как ребенок. Мы сидели с ней в той же гостиной. Стул Корнилова был прислонен к столу. Она рассказывала мне о Корнилове, и в беседе, и воспоминаниях мы совершенно забывали о настоящем, и только какая-нибудь мелочь или крики проходивших мимо окна большевиков возвращали нас к действительности. И снова становилось тяжело, как после выноса покойника.

Был первый день Пасхи 1918 года. Люди справляли праздник по домам, улицы были как вымершие. Я вышел к Троицкой церкви полюбоваться раздольем донских степей и посмотреть, нет ли движения восставших с севера. Степи уходили в туманную даль, вокруг царила тишина и казалось, что нет ни войны, ни большевиков, ни всего пережитого кошмара.

И вдруг, когда я перевел взгляд от Персияновки к Хотунку, у меня перехватило дыхание: из степи по направлению к Новочеркаску двигались цепи вооруженных. Из Хотунка им навстречу валили серые толпы. Серых было явно больше, и исход боя трудно было предугадать.

В этот момент в степи неожиданно появился бронированный автомобиль. Иным, как только большевицким, он, казалось, не мог быть. Восставшие начали пятиться. Броневи́к остановился, команда, видно, ориентировалась в обстановке. Затем он

развернулся, дал по красным несколько длинных пулеметных очередей и врезался в их гущу. Большевики обратились в паническое бегство.

Кто же, как в сказке, в самый последний момент пришел на помощь восставшим казачьим станицам под Новочеркасском?

Вокруг сильной и честной личности полковника Дроздовского собралась лучшая часть офицерства и молодежи с румынского фронта, образовав отряд в 1600 штыков. Они пришли походным порядком из Румынии на Дон, готовые служить России. Это о них пели: “Шли дроздовцы твердым шагом, враг под натиском бежал, и с трехцветным русским флагом славу полк себе стяжал” [7].

Это они подошли со стороны Ростова вовремя, чтобы помочь восставшим донским станицам.

Улицы наполнились бегущими, бросающими оружие большевиками. Их преследовала густая цепь плохо вооруженных, подбирающих брошенное оружие донцов в солдатских шинелях с полковником Семилетовым во главе. Я стал кричать вслед бегущим большевикам: “Товарищи, куда спешите?” Оказывается, я еще не потерял чувства юмора. Потом поднял брошенную винтовку и присоединился к донцам. Мы двигались к собору. На углу, возле памятника Ермаку, мы остановились как вкопанные: на куполе собора разорвался снаряд. Второй

разорвался в боковой колокольне, третий попал ниже купола. Большевики прицельно били по храму! Нас охватило бешенство, и мы ринулись на проспект. Большевики побежали еще быстрее, оставляя трупы.

Не прошло и получаса, как на окраине Новочеркаска раздался колокольный звон. Ему ответил колокол с другого конца города, и вскоре воздух наполнился торжественно-праздничным перезвоном всех церквей. На улицы высыпали толпы радостных, нарядно одетых людей. За несколько часов весь город изменился, его заполнили как будто другие люди, другие лица, как будто другой народ.

Часто мерещатся мне пасхальные дни 1918 года в Новочеркасске, и я молю Бога дожить до дня, когда люди, пережившие страшные годы большевизма, будут радостно обнимать друг друга, как тогда, на Пасху.

Донские степи, свидетели русской удали, былой славы ее сынов! Преддверье Азии, степи, степи без края, одна даль бесконечная. Между степью и небом гуляет ветер, высоко под небом парит степной орел.

Едет разъезд по степи. Донские кони, высокие, гордые, глубоко вдыхают степной воздух и, вытянув шеи, с растрепанной ветром гривой, резко и коротко отчеканивают копытами такт по степной дороге. И рядом с ними кони степные, лохматые — потомки коней, на которых когда-то приходила орда.

Новочеркасский собор уже не виден. Выехали на бугор и увидели Дон в разливе. Есть где разгуляться водной стихии. Где же кончается этот бесконечный разлив?

— Завтра увидим, — говорит донец. — Сегодня еще нет.

Как я вас полюбил, деревни и станицы, раскинутые по берегам русских рек! Особенно станицы. Увы, бывшие станицы, уже не вольного народа. Свободно раскинулись домики, утопающие в зелени, слышу смех казачат, смуглых, крепких, жизнерадостных, гонящих коней на водопой. Слышу песни казачьи, рожденные в седлах в ритме движения конских копыт. Неужели все это был сон?

Над разливом ночной покой. Только всплески воды от идущего вброд разъезда да шепот камыша. Кругом вода, узкие полосы земли и снова вода. Затянули песню, несется она над водой и замирает вдали широкой заунывной октавой. Вспоминаются былые времена, подвиги минувших дней воскресают в нашем разъезде, в котором и люди, и кони — со всех концов России.

Впрочем, “покой нам только снится”. Мы так привыкли к стрельбе, что стали похожи на мельника, просыпающегося, если умолкает шум мельничного колеса. Над Ростовом и Батайском вспыхивают

зарницы артиллерийских разрывов. В Батайске большевики, ими командует левый эсер Сорокин. Они дерутся с немцами, занявшими Ростов. Немцев задерживает разлив Дона. Большевики, открывшие фронт немцам, теперь с ними воюют. Троцкий формирует армию. У большевиков-интернационалистов теперь появились даже слова “патриотизм”, “отечество”. Для сохранения власти они на все готовы. Потребуется — притворятся верующими, станут креститься. И самое странное, им, оборотням, многие верили. Иностранцы верят до сих пор.

Артиллерийская перестрелка длится больше недели, большевики уже говорят о втором Вердене. Но Дон вернется в свое русло, и миф Вердена улетучится при виде немецких штыков. Или немцы тоже заразились? Все-таки большевики под Батайском уже не те толпы, которые мы разгоняли один против двадцати, а то и тридцати. Бой идет не на шутку.

Мы с Игнатием сидели у казачьего дома. В его рассказе снова воскресал исторический Первый поход. После моего отъезда к Масарику армия Корнилова перешла в Ростов и Таганрог. Ей пришлось уйти из Новочеркасска, потому что у донских казаков, кроме стариков, преобладали большевицкие настроения и они требовали, чтобы Каледин добился ухода Добровольческой армии. Каледин, храбрый и культурный генерал, мог бы несколькими месяцами позднее стать природным

вождем казачества. Но он не смог пережить катастрофическую ломку понятий и ценностей на гранях двух исторических эпох.

Корнилов вскоре убедился, что обстановка, в которой находится армия между Ростовом и Таганрогом, крайне неблагоприятна. Сильный удар армии нанес Ростов. В то время как малочисленные отряды молодежи сражались под Таганрогом против мадыарско-немецких батальонов и большевицких полчищ, в Ростове изволило пребывать до 16 000 господ офицеров, равнодушно наблюдавших, как терзают их родину.

В Ростове были и снаряды, и патроны, и обмундирование, и технические средства, армия же нуждалась во всем. В городе были и больницы, и клиники, и медицинские склады, и медицинский персонал. А санитарная организация армии была в отчаянном положении, и за оказание раненым хоть какой-то помощи следовало благодарить только русских женщин. Генералы Корнилов и Алексеев все еще не могли отрешиться от старых понятий о законности, долге и не прибегали ни к реквизициям, ни к мобилизации. Большевики же, заняв Ростов, взяли все, в чем нуждались, и запугали население, расстреляв нескольких офицеров.

Вскоре после того как Корнилов отправил меня к Масарику, Добровольческая армия, без пополнения, не находя поддержки у населения, неся потери,

покинула города и ушла в степь. Ушла в степь в подлинном смысле этого слова. У легендарного военачальника, имя которого история поставила рядом с именами Суворова и Скобелева, Лавра Георгиевича Корнилова, и одного из лучших европейских стратегов, на долю которого выпало трудностей больше, чем на долю любого русского полководца, генерала Михаила Васильевича Алексеева, не было средств противостоять красному безумию и житейской подлости, охватившим их со всех сторон и засасывавшим, как тина.

Вся их армия по числу бойцов равнялась полку трехбатальонного состава. Имя армии она носила, во-первых, потому, что против нее боролась сила численностью в армию. Во-вторых, это была наследница бывшей Русской армии, ее соборная представительница. В-третьих, по идейному содержанию и широте своих устремлений она далеко выходила за рамки простого отряда. В-четвертых, в ее рядах были выдающиеся русские полководцы и талантливые офицеры, добровольно низведшие себя до рядовых, но в случае успеха могущие встать во главе больших формаций.

История Первого похода армии генералов Корнилова и Алексеева, ушедшей в степь 12 февраля 1918 года, будет изучаться как одна из самых замечательных в мировой истории. Она послужит доказательством первенствующего значения духа, за исключением, конечно, какого-нибудь из ряда вон выходящего

технического превосходства. Во всех 33 боях Первого похода не было случая, чтобы численность большевицких сил не превосходила в шесть-десять раз числа добровольцев. К тому же большевики, захватившие русские склады, были несравненно лучше вооружены, в особенности артиллерией, бронепоездами и боеприпасами. Но генерал Корнилов вдохнул в армию веру в ее непобедимость, и она поверила в это. После первых же боев поверили и большевики. Во время похода численность большевиков все увеличивалась, а первопоходников становилось все меньше. Но победы неизменно оставались за ними. Малочисленность и невозможность отступления, которое было бы равносильно смерти, выработали у добровольцев свою собственную тактику. В ее основу входило убеждение, что при численном превосходстве противника и скудости собственных боеприпасов необходимо наступать и только наступать. Эта, неоспоримая при маневренной войне, истина вошла в плоть и кровь добровольцев Белой армии. Они всегда наступали.

Кроме того, в их тактику всегда входил удар по флангам противника. Бой начинался лобовой атакой одной или двух пехотных единиц. Пехота наступала редкой цепью, время от времени залегая, чтобы дать возможность поработать пулеметам. Охватить весь фронт противника было невозможно, ибо тогда интервалы между бойцами доходили бы до пятидесяти, а то и ста шагов. В одном или двух

местах собирался “кулак”, чтобы протаранить фронт. Добровольческая артиллерия была только по важным целям, тратя на поддержку пехоты несколько снарядов в исключительных случаях. Когда же пехота поднималась, чтобы выбить противника, то остановки уже быть не могло. В каком бы численном превосходстве враг ни находился, он никогда не выдерживал натиска первопоходников. Не боевые технические средства заставляли его бежать, он бежал перед духовно-волевым превосходством, воплощенным в людях, идущих на него под огнем с точностью механизма и превращающихся на его глазах в сверхлюдей. Большевики, несмотря на громадное численное и техническое превосходство, не могли побеждать. Их миропонимание, воспитанное на уверенности в превосходстве материального принципа над духовным, не находило объяснения этому парадоксу. Первопоходники постепенно окутывались таинственностью, к которой воображение большевицких масс добавляло фантастические подробности.

Все преграды только укрепляли дух первопоходников, превращали их в аскетов подвига. В феврале, под Лежанкой, большевики считали протекавшую перед их позициями реку непреодолимым препятствием. Первопоходники под жестоким обстрелом с песнями перешли ее вброд, ударили в штыки и ворвались в станицу.

Своего апофеоза победа духа над материей и стихией достигла в аулах за Кубанью. Ослабленная в многочисленных боях, измученная ежедневными походами по размякшему кубанскому чернозему, армия с обозом раненых была застигнута проливным дождем. Затем резко похолодало, в горах выпал глубокий снег, температура упала до 20 градусов ниже нуля. Солдаты обледенели. Раненых, лежавших на телегах, вечером освобождали от ледяной коры штыками. Отдохнув несколько часов в ауле, добровольцы на следующий день снова, как и каждый день с момента выхода из Ростова, шли в степь, чтобы столкнуться с противником, опрокинуть его и переночевать в занятой станице или ауле. В не успевшей высохнуть одежде шли они по глубокому снегу, как белые привидения в туманной степи, чтобы у Дмитриевской снова перейти ледяную реку и в обледеневшей одежде, сковывающей движения, ворваться ночью в станицу и выбить большевиков, потрясенных тем, что существуют люди, побеждающие стихию.

Армия генерала Корнилова была национальной армией и в лозунгах не нуждалась. У нее было одно заветное слово, побеждавшее опасности и смерть, спаявшее армию железной дисциплиной.

Это слово было: Россия. Все лозунги временны и преходящи, понятие Родина — вечно. Отчетливо и ясно это понятие было поставлено в основу объединения русских людей. И в этом смысле армия

генерала Корнилова — предвестница будущей национальной России. Служению России, своему народу, должно подчиняться все остальное.

В противовес большевикам, чьи вожди провозгласили грабеж и убийство идейно оправданными и нормальными действиями, армия Корнилова считала себя поборницей законности и этических принципов. В ущерб себе она отказывалась от законных реквизиций, избегала излишних кровопролитий. И только обстоятельства вынудили ее в какой-то момент отвечать жестокостью на зверства большевиков.

Под станицей Гниловской большевики убили раненых корниловских офицеров и сестру милосердия. Под Лежанкой был взят в плен и заживо закопан в землю разъезд. Там же большевики вспороли живот священнику и волокли его за кишки по станице. Их зверства все умножались, и чуть ли не каждый корниловец имел среди своих близких замученных большевиками. В ответ на это корниловцы перестали брать пленных, расстреливая захваченных на месте. Это подействовало. К сознанию непобедимости Белой армии присоединился страх смерти.

В конце 1917 и в начале 1918 годов Белое движение выдвинуло понятие вождя. В самое тяжелое для России время было естественно, что только лучший из русских должен быть вождем русского национального движения. Мы знали, что Корнилов

русский, что он легендарно храбрый, безукоризненно честный, бескорыстный и стремится только к счастью и величию родины. Воля корниловцев сосредоточилась в вожде и сконцентрировалась до высочайшего напряжения в единую волю и целеустремленность. Однако религиозный фактор тогда не поднялся до того значения, до которого возвысило его впоследствии долголетнее мученичество народа.

Армия генерала Корнилова, численностью в 3 000 бойцов, без единой пяди собственной территории, окруженная во много раз превосходящим ее беспощадным врагом, перевернула все законы стратегии, тактики и материальных расчетов и стала ядром Белой армии в несколько сотен тысяч человек⁸. Эта армия не уничтожила большевиков, не взяла Москву, не сохранила Россию потому, что рушились одна за другой три ее основы: Дух, Движение, Вождь.

Граната, наведенная в Екатеринодаре рукой примкнувшего к красным военнопленного австрийца, убила генерала Корнилова. Через два с половиной месяца шрапнель сразила генерала Маркова, талантливейшего, любимого армией генерала. К счастью, сохранились другие вожди, пошедшие с армией во Второй поход. Но одни из них постепенно выбывали из строя, другие в новой изменившейся обстановке превращались из вождей в командующих генералов.

Через три дня после смерти Корнилова судьба армии в немецкой колонии Гначбау повисла на волоске. Армия, ставшая практически малочисленным прикрытием громадного обоза раненых, была окружена со всех сторон. Вокруг экипажа генерала Алексеева рвались гранаты. Роты в несколько десятков человек гнали большевицкие батальоны.

После смерти Корнилова и неудавшейся попытки взять Екатеринодар во главе армии стал генерал-лейтенант Деникин, командовавший дивизией, корпусом, а затем Западным и Юго-Западным фронтом. Генерал Деникин погрузил армию на подводы и увел степными дорогами на Дон. Были слухи, что на Дону начались волнения, которые мы все предвидели уже три месяца тому назад. Пасха застала армию в Лежанке. Во время богослужения гранаты рвались около церкви. На следующий день добровольцы ушли в станицы Егорлыцкую и Мечетинскую, где армия отдыхала и готовилась ко Второму походу.

Штаб генерала Алексеева был в Мечетинской. Алексеев принял меня, лежа в постели: он был болен, еще больше похудел и расспрашивал слабым голосом. Масарик и чехи его уже не интересовали, рана, нанесенная ими русскому делу, заживала. Я сообщил ему то, что слышал о создании Волжского фронта, но веских доказательств этого еще не было. Алексеев поблагодарил и устало закрыл глаза. Я тихо вышел.

Генерал Деникин принял меня в своей квартире. Он не был похож на Корнилова. У него было приятное лицо, он был любезен, но не был сильной личностью. Пока армия была малочисленной, он был достойным помощником Корнилова. Мой доклад особого значения для него не имел.

Нижний Дон с Новочеркасском был в руках донцов. Их атаман, генерал Краснов, храбрый, культурный, прекрасный организатор, проявил большую мудрость, управляя освобожденной от большевиков областью. За короткое время он сформировал новые казачьи части, по виду и дисциплине напоминающие части императорской армии.

В политике генерал Краснов руководствовался чувством реальности. Сомневаться в его добропорядочности не приходится. Его осуждали за сотрудничество с немцами. Но в 1918 году с помощью Краснова мы получали от немцев снаряды и могли подготовиться ко Второму походу.

Русские привыкли считать: союзник — одновременно и друг. Это ошибка. Для союзников всегда на первом месте было то, что они считали выгодным для своего государства, хотя при их политической близорукости это часто вовсе выгодой не было. Россия в будущем должна тоже в первую очередь разумно соблюдать свою выгоду. Указывающие на то, что немцы намеревались отделить Украину от России, не

должны забывать, что и союзники были не прочь отделить от России некоторые области.

Май был промежуточным месяцем между Первым и Вторым походами. Армия отдыхала, изучала обстановку и вырабатывала планы для дальнейших действий. Нашим полком командовал Кутепов. Его имя связано не с политикой, а с блестящими военными делами и надпартийной национальной работой. Он был военным человеком в лучшем смысле этого слова. Простой в обхождении с людьми, которых он считал достойными, — а достойным он считал каждого выполнявшего свой долг. Скромный и нетребовательный в личной жизни, он соединял в себе военную твердость и рыцарское благородство, его лицо было подчеркнуто военным и мужественным. Лишних слов он не говорил. Его храбрость была самая трудная из всех видов храбрости — разумная и культурная. Под Крученой Балкой мы стояли шагах в двадцати от Кутепова, принимавшего письменное донесение от адъютанта. Вблизи разорвался тяжелый снаряд, и большой булыжник ударил Кутепова в спину. Он на мгновение закрыл от боли глаза. И только. Его крепкая фигура стояла как изваяние, скрепленная волей железного человека.

У нас многие считали Кутепова крайне реакционным генералом. Я неделю жил с ним в одной комнате, и мне довелось не раз подолгу беседовать с ним за чашкой чая. Могу засвидетельствовать одно: он был

национально мыслящим человеком, и его взгляды, например на крестьянство и аграрный вопрос, отличались здравым смыслом и отнюдь не были реакционными.

Кутепов хотел задержать меня при штабе, но я попросил о назначении в пулеметную роту, в которой еще осталось несколько славян из Сербской добровольческой дивизии.

Священный долг вспомнить здесь павших в Первом походе за русское, за наше общее дело словенцев, хорватов и сербов. В одном только Корниловском полку из южных славян пало двенадцать офицеров, пять вольноопределяющихся и два солдата. Другие сложили голову во Втором походе. Многие боролись в армии адмирала Колчака. Часть из них погибла, часть вернулась на родину.

Единственный раз павшие были помянуты в тихой церкви отдаленной кубанской станицы, где старик-священник по нашей просьбе отслужил по ним панихиду. Из присутствовавших тогда на панихиде сегодня, когда я пишу эти строки, осталось в живых только трое, чтобы рассказать о друзьях, беззаветно любивших Россию и пожертвовавших за нее своей молодой жизнью. Эти люди не искали славы, не прятались в решительное тяжелое время, чтобы потом вылезти из своих темных нор, издеваться над оставшимися в живых и посмеиваться над павшими. Они лежат в бесчисленных могилах в русской степи

рядом со своими русскими братьями. Не над каждым был поставлен крест.

Их родина — Югославия — о них так и не вспомнила.

В двадцатых числах мая в Гуляй-Борисовке мы выдержали бой с большевиками и обратили их в бегство. Произошло еще одно важное событие: к нам присоединился Дроздовский отряд, броневик которого подоспел к Новочеркаску на моих глазах, чтобы поддержать восставших казаков. За станцией мы выстроились для встречи с ними. Генерал Алексеев, немного поправившийся, но очень постаревший, вышел им навстречу. Издалека мы видели, как Алексеев и Дроздовский трижды поцеловались и направились к нашим частям. За ними двигалась колонна дроздовцев. Шли они стройно, как роты юнкерского училища, хорошо обмундированные и вооруженные, мимо нас, оборванцев.

Встреча с дроздовцами была сердечной и радостной, а в окончательный восторг привела нас их гаубичная батарея с большим запасом снарядов, которую в конце колонны везли крепкие сытые кони.

У единственного портного станицы Мечетинской образовалась “генеральская” очередь. Первым заказал себе брюки генерал Деникин. Вторым, минуя генералов, полковник Кутепов, ибо ему угрожало оказаться в том виде, в каком на известном изображении восседает казак на бочке.

Второй Кубанский поход

В начале июня 1918 года в степи между Мечетинской и Егорлыцкой закружились облака пыли. Армия двинулась в поход. Северный Кавказ и Дон стали ареной жесточайших боев. Русская кровь текла ручьями, и на Дону люди говорили, что пшеница на следующий год взойдет красная. Снова повторялись картины Первого похода. Роты в сорок человек гнали батальоны в четыреста, казачьи сотни разбивали полки и брали орудия. Станицы переходили из рук в руки, население бралось за оружие, становясь в ряды враждующих армий, нанося друг другу непоправимые раны. Казаки переболели большевизмом и восстали, пополняя наши ряды и формируя свою армию. Иногородние хуторяне, крепкие крестьяне недолюбливали большевиков и нам помогали. Но большая часть иногородних нас люто ненавидела.

К нам пришли храбрые, способные командиры. Лучшим из них был генерал Врангель. К нам тысячами стекалась молодежь и тысячами гибла. С июня по октябрь 1918 года через Корниловский полк прошло более пятнадцати тысяч человек. В большинстве интеллигентная молодежь.

И среди красных появились храбрые, идейные люди, победы над их партизанами давались нам все труднее.

Они тоже гибли тысячами и в боях, и от сыпного тифа, заполняя больными хутора, деревни и станицы. Остатки Красной армии проходили астраханскими степями, где единственным их ориентиром был звон колоколов редких, одиноких церквей. Наша обоюдная ненависть породила опустошение и смерть.

А уже через несколько лет эти партизаны поняли, что их жестоко обманули, и кричали на собраниях, что “не в ту сторону стреляли”, и прислушивались, “не ударит ли где пушка”, чтобы взяться за оружие. Но было поздно.

Десятого июня 1918 года мы брали Торговую. Деникин хотел предоставить первые лавры дроздовцам, и они наступали в центре в направлении к железнодорожной станции. Марковцы получили приказ занять полустанок Шаблиевку, севернее Торговой. Мы, корниловцы, были правее дроздовцев, как бы в резерве. На крайнем правом фланге, за возвышенностью расположились сотни генерала Эрдели.

Утром дроздовцы открыли огонь из своих батарей. Большевики ответили. Мы лежали в траве и ждали: вот-вот услышим “ура!”, команду “стройся!” и приглашение к обеду в Торговую.

Прошло полчаса, пальба не прекращалась. Через час тоже нет. По всему фронту дроздовцев разгорелась пулеметно-винтовочная трескотня и систематический

артиллерийский обстрел. Прошло более двух часов, мы все еще на месте. Большевики становились все смелей. Они увидели перемену в нашей тактике и осознали свое численное превосходство. Начинаем нести потери.

Кутепов нервничает, продвигает нас на линию огня. Разгорается перестрелка. Уже первый час, а дроздовцы все еще не наступают. Тут к нам подходит Кутепов:

— Взять Торговую!

Заработали пулеметы, и уже на середине ленты несется по линии “ура!”. Мы, пулеметчики, запряглись в “максимки” и рысью догоняем пехоту. Ошпарило сильным огнем. Этот момент нужно выдержать, и тогда победа обеспечена. Корниловцы не залегли, не остановились. Перелом — и поле покрылось тысячами бегущих большевиков.

И тут мы увидели: пошла конница генерала Эрдели. Четыре раза на возвышенности одновременно молнией вспыхивали обнажавшиеся шашки, и степная казачья стихия проносилась мимо нас в обход станции, в тыл большевикам. Генерал Эрдели во главе первой сотни. Этот бой подтвердил еще раз верность нашей тактики. У дроздовцев был прекрасный вождь, превосходный дух, но они привыкли к регулярной войне. Уже во втором бою они усвоили нашу маневренную тактику.

Вечером из части в часть передавали печальную весть: при взятии Шаблиевки убит шрапнелью генерал Марков. Потеря чрезвычайно тяжелая, погиб один из лучших офицеров Добровольческой армии.

После взятия Торговой мы погрузились на подводы, удвоив скорость движения и сберегая силы. Группой командовал генерал Боровский. По ставропольским степям мы шли в обход Тихорецкой, чтобы с трех сторон атаковать этот важный железнодорожный узел.

Под селом Медвежьим был жестокий бой, мы несли большие потери: большевики подтянули матросские части. У нас впервые были мобилизованные — ставропольские крестьяне. Они уже успели познакомиться с большевиками и дрались превосходно. К вечеру удалось сбить большевиков со всех позиций и взять Медвежье, большое село Ставропольской губернии в 15 000 жителей. На площади взяли отставшего большевика, солдата-крестьянина. Один из офицеров хотел его застрелить, но мы запротестовали, сославшись на недавний приказ генерала Деникина, и взяли его на нашу подводку. Он сорвал с папахи красную ленту, и его уже нельзя было отличить от нас. Почувствовав себя в безопасности, он стал откровенно отвечать на наши вопросы.

— Землицы, говоришь?

— Да, господин офицер, дали бы нам землицы, мы бы и рады были за вас воевать.

— Небось, много ее вам большевики дали?

— Да, оно правда, когда помещика делили, земли на душу совсем мало вышло. Ну а все-таки земля теперь наша.

— Скоро они ее у вас отнимут, землицу вашу.

— Как отнимут? Никогда не отнимут!

— Ну а как ты думаешь, при коммуне будет у тебя земля, и коровы, и лошади, и свиньи? Они вам землю обещают, чтобы вы за них воевали. Потом отнимут, да еще как отнимут. Мы вот вам ничего наперед не обещаем. Как потом народ законным порядком решит.

— Насчет “потом” мы больно неверующие. А чтобы большевики у нас землю отняли? Да никогда тому не бывать! Мы ее, что ли, отдадим? А винтовки у нас на что?

В одном из хуторов мы его отпустили. Не раз вспоминал он нас, наверное. В особенности если дожил до коллективизации...

Мы делали по восемьдесят верст в сутки. Заставали еще горячие обеды бежавших большевиков. Вскоре мы достигли главной линии Владикавказской железной дороги. Станцию Тихорецкую мы взяли с налета, нанеся большевикам страшный удар. После боя, приближаясь к станции, мы увидели двух наших корниловских офицеров, поспешно удалявшихся с полными мешками на плечах. Оба потом перешли в

контрразведку. Это был один из первых случаев грабежа в Белой армии, на который мы не обратили должного внимания. Может быть, потому не обратили, что в тот же момент из закрытого вагона раздались два выстрела. Мы нашли там застрелившихся комиссара и женщину посреди целого склада мануфактуры, драгоценностей, флаконов с духами и одеколоном.

Позднее мы с марковцами в жестоком бою против Сорокина брали Кавказскую. Потери доходили до половины наличного состава.

В Кавказской армия простояла несколько дней, и я съездил в Новочеркасск, куда приехала из Екатеринослава моя невеста. На день св. Владимира, 28 июля 1918 года по новому стилю, мы повенчались там в Троицкой церкви. Шаферами были русский, англичанин и два южных славянина. Жена стала работать в лазарете в Тихорецкой. Я нашел своих корниловцев под Армавиром, в Отраде-Кубанской, имени барона Штейнгеля. Вечером наш батальон получил приказ грузиться. Нам разрешили взять с собой портвейн и сладкие галеты. За неимением иной посуды мы наполнили превосходным вином котелки и пулеметные кожухи. Была прекрасная летняя ночь, мы лежали на платформах около наших пулеметных двуколок, наливали из пулеметных кожухов вино, закусывали галетами и пели до поздней ночи. Утром мы были в Ставрополе.

Ставрополь

Тихий, уютный город, красивые окрестности, невдалеке горы. Ставрополь, главный город богатой области, стал городом-великомучеником.

Заняв Ставрополь, большевики учинили в нем массовые расстрелы. На лицах горожан еще лежала печать пережитых ужасов. Каждую ночь расстреливали целыми группами, главным образом молодежь, гимназистов и офицеров. Выполнялась определенная задача, действовала руководящая воля, стремящаяся к массовому истреблению русской интеллигенции “как класса”. Именно они, а не неспособные к сопротивлению “буржуи”, были опасны большевикам. “Буржуи”, которых большевики объявляли своими главными врагами, пострадали гораздо меньше.

От большевиков Ставрополь освобождали местное офицерство и подошедший из Пятигорска со своими казаками еще малоизвестный тогда Шкуро. Казаков было всего несколько сотен, вооружены они были плохо, но ими еще руководили высокие цели. Теперь город был в руках ставропольского офицерского полка. У офицеров не было ни партизанского опыта, ни сплоченности, и их часы были сочтены. С севера, со стороны Старо-Марьинской, подходили массы

большевиков. На вокзале толпился народ, стремившийся спастись от надвигающихся ужасов.

Мы высадились и спешно направились за город к железнодорожной насыпи. Большевики в поражающем численном превосходстве уже охватывали Ставрополь. У нас был один батальон, человек в триста, при четырех пулеметах. Правее нас офицерский полк в несколько сотен человек, еще правее “шкуринцы”. Нам удалось восстановить положение и отогнать большевиков на две версты. В бою был убит Мельников, безусловно честный офицер, связывавший судьбу своей родины, Галицкой Руси, только с Россией.

Бой разгорелся по всему фронту. Мы удерживали натиск двух большевицких полков, а на наш левый фланг наступало около трех тысяч. К полудню стрельба переместилась в наш тыл и вскорости охватила нас полукольцом. Пехота отступила, и мы остались с пулеметами одни. Двое наших были уже убиты, один ранен. Я знал, что наши части должны вот-вот подойти, что они, наверное, уже несутся на всех парах и что мы должны во что бы то ни стало выдержать, пока не погрузят раненых.

Однако для нас шестерых, оставшихся на возвышенности, положение становилось все более угрожающим: нас начали обходить и слева. Патроны были на исходе. Короткими очередями мы били во все стороны света: и на север, где норовили подняться

большевицкие цепи, и на запад, где они подступали к железной дороге, чтобы не дать нашему бронепоезду приблизиться, и на восток, где они были уже у нас за спиной. Кольцо все сужалось. С начала боя мы выпустили двадцать пять лент, нагар в коробе ложился густым слоем, пулеметы меняли звук и ритм. Вода в кожухах давно испарилась, моча была плохой заменой. У каждого пулемета оставалось по ленте, и мы, приберегая их на последнюю минуту, стали отстреливаться из винтовок и посматривать друг на друга. Мы держались уже два часа, а наш бронепоезд метался на отрезке в полверсты. Вдруг один крикнул:

- Наши!!!

И шесть пар глаз устремились в одну точку: посреди поля стоял паровоз с несколькими вагонами и из них выскакивали корниловцы. Большевики их встретили бешеным огнем. Но тут и мы сыграли большевикам во фланг и в тыл прощальную на двух последних лентах. Славное дело было под Ставрополем 8 августа 1918 года. На том пригорке потерял я орден св. Анны, полученный за Добруджу. Но искать его не стал. Лавры Тараса Бульбы меня не устраивали.

Опять бои. Мы брали станицу за станицей, хутор за хутором. Взяли Армавир. Наши части подходили к Екатеринодару. Под Кореновкой знамя победы заколебалось. Сорокин, с 40 000 хорошо организованных и богато вооруженных, обстрелянных в боях с немцами под Ростовом

большевиков, двигался во фланг нашей армии. Их встретил генерал Казанович со своими партизанами и марковцами под командой Кутепова. Соотношение сил было для нас привычное: примерно один к десяти. Но случилось небывалое: впервые наши непобедимые ряды отхлынули назад под страшным огнем неприятеля. Жестокий бой длился двое суток. Наши потеряли в первый же день больше половины наличного состава.

Подошедшие дроздовцы и кубанцы восстановили положение. Перелом произошел в конце вторых суток. Победил более сильный дух, лучшие вожди и более стремительное и умелое движение. Перелом для большевиков оказался катастрофическим, наша победа решительна, освобождение Северного Кавказа стало вопросом ближайшего месяца. Вскоре мы заняли и Екатеринодар.

Тыл

У нас теперь была своя столица. У нас и у кубанцев. И нам вскоре там стало тесно. Перед нашими генералами возникла труднейшая задача: управлять занятой территорией. Для них это было во много раз сложнее, чем командовать войсками, и в конце концов оказалось не под силу.

В скором времени к привычным вестям о военных действиях все чаще стали присоединяться слухи о новом для нас понятии — о тыле. С течением времени эти слухи стали в наших разговорах преобладающими. За нашей спиной накапливался враг, бывший намного опаснее большевиков. Все, что было гнилого и негодного в царской России, собиралось в тылу под защитой храбрейших полков. На свежих могилах героев шла оргия беззакония, взяточничества и самозванства. Полки на фронте редели, орошали молодой кровью поля России, а тыл рос не по дням, а по часам, во много раз превзошел нас численно и в конце концов задавил.

Пока были только зачатки всего этого. Два офицера, таскавшие в Тихорецкой мешки с награбленными вещами, роскошно устроились в тылу. Боевые же офицеры не могли на наше нищенское жалованье содержать семью.

Мы продолжали бороться за освобождение северного Кавказа. Снова бои. Потери все увеличиваются, молодежь гибнет тысячами. Гибнут кубанские казаки. После каждого боя роты уменьшаются на четверть, а то и наполовину. Количество пулеметов трудно удержать на одном уровне, часто у пулемета остается один человек. Настроение офицерства по сравнению с 1917 годом изменилось, и офицеры охотно приходят в наши ряды. Правда, эта охота подкрепляется приказом о мобилизации.

Кубанцы тоже объявили мобилизацию и дерутся превосходно. Теперь они поняли, за что борются. Но иногородние на стороне красных тоже знают, за что. Если выслушать тех и других, то обе стороны правы. Ведь старая вражда между казаками и иногородними чем-то обусловлена. Казаки дерутся за свои привилегии. Мы же — за единую, неделимую Россию. Пойдут ли казаки с нами против большевиков за пределы своей родной Кубани? Пока что мы с ними в дружбе, в станицах нас встречают радушно, угощают громадными яичницами на огромных сковородах.

На берегах Кубани стоят одна против другой две станицы. Одна занята большевиками, другая нами. Нас разделяет полуразрушенный мост. Я получил приказ обеспечить моими пулеметами огневой заслон и облегчить охотникам переправу через мост на плетневых перемычках.

Наши переправились удачно, и я вскочил на бруствер, чтобы приказать своим взводам следовать за частями. Не успел я сделать двух-трех шагов, как удар в бок повернул меня полным оборотом на месте и бросил на землю. Пуля попала в часы в левом часовом кармане, вырвала механизм, загнала его в таз и, раздробив наружное крыло тазовой кости, прошла навывлет. Часы изменили направление пули, не будь их, она раздробила бы тазобедренный сустав.

Лежал я в Ставрополе. Рана была очень болезненная. Едва успокоившись от одной перевязки, я уже

начинал думать о следующей. Через неделю из Тихорецкой приехала Зина, и мне от ее бережного ухода стало легче. Через две недели она начала беспокоиться и решила перевезти меня к себе в Тихорецкую: вести с фронта внушали тревогу. С большим трудом меня туда доставили. Малейший толчок вызывал невыносимые боли, и в дороге санитары держали мою кровать почти все время на весу.

На железнодорожной станции Ставрополя мы застали почетную роту Корниловского полка под командой полковника Скоблина. Рота возвращалась с похорон генерала Алексева. Великий русский человек обрел наконец вечный покой.

Лазарет в Тихорецкой был в здании коммерческого училища. Третья палата — все раненные в голову. Среди этого невероятного страдания стало стыдно думать о собственной ране. Увидев и услышав, что вернулась их сестра, больные несказанно обрадовались.

Перевезя в Тихорецкую, Зина спасла мне жизнь. Через несколько дней после нашего отъезда большевики, узнав, что наши старые части переброшены на другие участки фронта, подошли к Ставрополю и заняли его после непродолжительного сопротивления. Раненных эвакуировали в панике. Легко раненные уходили сами, кто как мог. Часть тяжело раненных побросали в телеги и карьером

выходили из окружения. Многие от такого транспорта погибли или остались инвалидами. Раненых, захваченных в Ставрополе, зверски замучили большевики. Они продержались в городе три недели, творили неопишуемые зверства.

Врангель со своей кавалерией разбил их под городом и вошел в освобожденный ликующий Ставрополь.

Поздняя осень. Небо хмурое, в тяжелых свинцовых облаках. В окружавших лазарет высоких деревьях шумел ветер. Днем и ночью опадали листья. Под Ставрополем и на царицынском направлении шли тяжелые непрерывные бои. Офицерство и казачество несли большие потери. Наступала угроза нехватки боеприпасов. После ухода немцев с Украины у большевиков освободились боевые части, и, правильно оценив опасность, угрожавшую им с Волги и из Сибири, они старались разбить нашу армию, освободившую уже половину Северного Кавказа. Спешили и по другой причине: в Новороссийске ожидался флот союзников, и его приход они хотели упредить разгромом Добровольческой армии.

Пришла весть, что Игнатий тяжело ранен и отправлен в Новороссийск. Вскоре прибыл офицер, сообщивший, что Игнатию произвели по поводу гангрены ампутацию правой руки, включая лопатку.

И в такой же, полный тяжелых дум осенний день я узнал, что на развалинах Австро-Венгрии возникло

Королевство сербов, хорватов и словенцев. Я долго всматривался в строки короткого телеграфного сообщения и, пряча слезы, укрылся с головой одеялом.

Там люди ликуют, празднуют освобождение от векового рабства. И моя словенская, и Игнатия хорватская кровь пролились за эту страну. Но это капли по сравнению с морем русской крови. Ликуйте, празднуйте, а мы будем продолжать борьбу против большевиков за великую Россию, будем сражаться под Ставрополем, под Царицыном, будем ждать союзников и их помощи, будем жить надеждой на спасение России, мы, добровольцы, верящие в Россию.

Из-под Ставрополя поступали раненые, много раненых. От них мы узнавали тревожные новости. В зимней стуже, в тяжелых боях, малочисленные, усталые, без смены и без надежды на помощь добровольцы истекали кровью. В последний раз судьба нам послала сильного вождя, преемника наших славных вождей — генерала Врангеля. Его железная рука и интуиция кавалериста сумели разрубить узел под Ставрополем, вырвать победу из рук большевиков, воспользоваться ею до конца и загнать остатки Красной армии в астраханские степи.

Между тем в Новороссийске появились союзники. Английский генерал приехал на фронт под Ставрополем. Повидал добровольцев, в том числе

корниловцев, заросших, оборванных, но готовых к новым боям и новым победам. Он преисполнился уважения к этим рыцарям истерзанной родины, и его донесение своему командованию было благоприятно для нас. Мы выдержали натиск большевиков почти без боеприпасов, без обмундирования. Теперь всего будет в достатке. Мы воспрянули духом и стали готовиться к последнему походу.

В марте рана стала подживать, опасность инфекции миновала. Я уже мог ходить. Весь Северный Кавказ к этому времени был в наших руках. Корниловский полк перебрасывали в Донбасс. Через Тихорецкую проходил первый эшелон. Остаться в бездействии было дальше не вмоготу.

В Донецком бассейне

Донцы отступили, не выдержав натиска большевиков. Среди них уже не было генерала Краснова. Войска генералов Покровского и Шкуро прошли Новочеркасск, отбросили большевиков к северу и повернули на запад, на Украину. Но не освободить ее, а грабить. Преступные действия Покровского и Шкуро с его волчьей сотней были началом конца Белого движения.

Частями, оперировавшими в Донбассе, командовал генерал Май-Маевский. Его задачей было удерживать

большевицкие массы, пока Дон не оправится от удара и внутреннего развала и не двинет на фронт свои войска. Его действия вошли в историю военной тактики как чрезвычайно удачное использование железных дорог при наличии малого числа войск. Корниловский полк перебрасывался с одного железнодорожного узла на другой, разгружался, разбивал большевиков и наносил им новый удар через два-три дня в другом месте, за сто и больше верст от предыдущего. Так генерал Май-Маевский блестяще применил и видоизменил один из принципов корниловской тактики — движение. В распоряжении генерала была всего лишь бригада с полками трехбатальонного состава, а после первых боев и того меньше.

Большевики, как обычно, многократно превосходили нас численностью. К тому же они стали походить на регулярную армию и хорошо снабжались. Но их вводило в заблуждение несоответствие между точными сведениями о количестве наших войск и оживленной боевой деятельностью по всему фронту. Когда их комиссарско-командирский ум сообразил, в чем дело, к нам уже стали подходить пополнения, снабженные английскими боеприпасами и вооружением, вплоть до танков.

Мы стояли в Енакиево, откуда наши роты и батальоны веерообразно направлялись атаковать железнодорожные узлы. Операции эти требовали большой смелости и хладнокровия. Прекрати мы на

миг это движение, и весь фронт рухнул бы. В Донбассе наше положение было незавидным: рабочие относились к нам враждебно. Но среди крестьян уже намечался процесс выздоровления от большевизма. Чем дальше мы проникали в Россию, тем лучше и сердечнее нас принимали крестьяне, у которых большевики проводили насильственные реквизиции.

После боя у меня открылась плохо зажившая рана, возобновились боли, и я стал сильно хромать. Врачи настаивали на эвакуации. Я сидел в Енакиево и обдумывал положение. Пили чай с капитаном Скударевым, нашим общим с Игнатием другом. Говорили о России и о Добровольческой армии. На душе было тревожно: симптомы внутреннего разложения армии, а особенно тыла, становились все заметней.

На станции, на третьем пути, перед самым вокзалом Енакиево стоял состав из трех вагонов. Им распоряжался комендант полка, поручик А-нц. Со своей командой, шайкой бандитов, он бесчинствовал в нашем тылу, состязаясь с большевиками в беззаконии, аморальности и тупом зверстве. Кое-кто знал его еще по Баку, офицером он никогда не был. Одно из отделений его вагона было набито ботинками, взятыми у местного торговца как выкуп за отмену приговора военного суда. Дела свои он творил сначала по ночам, но затем осмелел и перестал бояться дневного света. Осмелеть же он смог только при покровительстве начальников, которым

обеспечил отправку в Ростов нескольких составов угля для реализации в их пользу. Многих подобных “борцов за Россию” “удостоился” я лицезреть в полном благополучии уже за границей, через годы после окончания войны.

С Украины стали доходить слухи о бесчинствах Шкуро и “шкуринцев”. Цвет войск потерял для населения всякое значение: грабили красные, грабили зеленые, грабили белые. В нашей армии все больше и больше мобилизованных, а добровольцев — остатки. Лучшие русские люди десятками тысяч полегли в Первом и Втором кубанских походах. Только теперь мы до конца почувствовали их потерю.

Далеко за полночь мы умолкли, у каждого была своя дума. Метель усиливалась, двери и окна вздрагивали от ветра, снаружи была черная темень. Но постепенно шум ветра утих, душа успокоилась, я перенесся в родную Словению, где сейчас уже все залито солнцем и смеется весна, где Соча-река течет голубой прозрачной лентой мимо мест, где прошли детство и юность. На крутой скале, над синей гладью моря, возвышаются белые стены воспетого в песнях Девинского замка, служившего ориентиром рыбакам. А дальше к морю спускаются многочисленными террасами сады Святого Креста и Набережины. Рыбаки ушли в море. На берегу тихо, как в храме, волны почти бесшумно ласкают берег. Там, у замка-красавца, имения чужих нам людей, они глухо бьются

о скалы. Тянется берег мимо рыбацких деревень к главному городу приморских словенцев Триесту.

Мысленно я удаляюсь от берега к возвышенности над морем. Там каменные дома, каменные поля, серый камень до далекого горизонта. Карст, Крас по-нашему, тянется вдоль Истрии, Далматинских берегов до Черногории. Люди здесь крепкие, упрямые. К северу, по берегам и притокам Сочи, — снова плодовые сады до самых Юлийских Альп, где возвышается Триглав. В родном городке поднимешься на холм — и как на ладони ворота Римской империи: на севере Альпы, на юге Адриатическое море. Горы над Горицей отчетливо видны: Святая гора, Святой Валентин, Святой Габриэль. Страшные там шли бои, в двенадцати кровопролитных сражениях мертвой хваткой схватились враждебные армии.

Приходит вечер, серое марево опускается на горы, а по берегам Истрии в тихой приморской ночи загораются маяки...

Решаю поехать домой, посмотреть, что там делается.

Долго прощаемся с Игнатием, обещаю захватить в Загреб к его родным. Его рана после ампутации зажила, но пальцы левой руки, тоже раненной, еще не приобрели чувствительности. Однако он на днях собирается на фронт.

Зина берет отпуск. Екатеринодар. Едем в Новороссийск. Поезда переполнены, билет достать трудно. Носильщики, чтобы достать место в вагоне, требуют почти месячное жалованье строевого офицера. Садимся в офицерский вагон без билета. Военному контролю я показал только визу сербской военной миссии.

— Вы сербский офицер? — спрашивает седой полковник с боевыми отличиями. — Тогда можете ехать без билета. Счастливого вам пути!

В Новороссийском порту стоял французский пароход, и я поспешил узнать, нельзя ли нам отправиться с ним. Француз-служащий ответил каким-то хамством. Помощник капитана вообще не удостоил ответом. Пока ходили по инстанциям, пароход отчалил. Следующий должен был уйти через месяц, если не позже.

Мы остановились у знакомых по Екатеринославу. Много у нас побывало народа, рассказывали об эвакуации Крыма, о грубом отношении французов к русским, которых они перевозили на своих судах. Говорили о действиях контрразведки, о разделении России на полуколониальные области, о развороте, о взятках, о беззакониях в тылу...

Счастье, что не уехали: у меня начался сыпной тиф в очень тяжелой форме. Отвезли в инфекционный барак на цементном заводе. Снова бессознательное

состояние, бред. Но рядом неотлучно Зина, самоотверженная, часто полуголодная.

Выздоровел, но был еще слаб. Отправились Черным морем, через Румынию, по Дунаю до Белграда.

На родине

Белград. Для нас, словенцев славянской ориентации, были два города, куда устремлялись наши мысли с раннего детства: Москва, а после 1912 года — Белград. Москва была далекой, сказочной. Белград — реальным, близким, боевым центром, где выковывалась первая ступень славянского единения — Югославия. Ненависть австрийских немцев и мадьяр к Белграду превышала все меры нормальных человеческих чувств и рассуждений. Для нас же Белград и все, что с ним связано, сербский народ и его седой король, были символами освободительного движения. Шесть лет тяжелой борьбы за освобождение окружили сербский народ ореолом славы и мученичества.

Сегодня, когда я пишу эти строки, пришел торгашеский век. Слава, геройство, родина и честь на бирже современного человечества не котируются. В послевоенные годы были забыты великие идеалы тех времен, и из-за могил павших, из-за спин оставшихся в живых выползли люди темного царства, замарав

свободу, добытую кровью лучших людей. Но мое поколение, мои друзья и единомышленники никогда не забудут ни Косово, ни Куманово, ни Белград, ни Шар-планину, ни Црни Врх, ни албанскую Голгофу, ни короля-героя с его престолонаследником, ни воеводу Путника в сбитом из досок гробу.

Любляна. Еще три часа езды, и мы — дома. Но не тут-то было. В 27 километрах от Любляны прошла граница Италии. Казалось бы, итальянцы наши союзники. Впрочем, мне уже в России это слово опротивело до тошноты. Итальянский консул сказал, что выдаст мне визу, если я сниму русскую форму и ордена. Значит, в форме, которую носила армия генерала Брусилова, спасшая Италию от разгрома, грозившего ей в 1916 году, в Италии нельзя показываться. Словенский народ разделен на три части, он в худшем положении, чем до войны. Корутанские словенцы отошли к Австрии. Шестьсот тысяч приморских словенцев, неизвестно почему, отданы разбитой наголову, но оказавшейся в рядах победителей Италии. Итальянцы, сами недавно освободившиеся от чужеземного ига, поступают с нами хуже, чем ненавистная Австрия. Словенские школы закрыты, печать на словенском языке запрещена, словенские фамилии насильно переделываются на итальянский лад. Моей тете Клементине, сестре моего отца, выдали новый паспорт, изменив фамилию на “Трусини”. Переделали фамилию даже на надгробном памятнике моего деда. За малейшее проявление недовольства словенских

интеллигентов ссылают на безводные малярийные острова. И это — в центре Европы!

Не успел я приехать к родным в Горицу, как меня арестовали и продержали месяц, не предъявив обвинения. На карабинеров не могу пожаловаться, они вели себя вежливо и предупредительно. Друзья детства, итальянцы, самоотверженно выступали в мою защиту. Дело ведь не в итальянском народе, а в политике правительства. В родных местах, Триесте и Горице, удалось пробыть не дольше двух недель. Жить здесь словенцу, особенно интеллигентному, стало невмоготу. Отец, мать и сестры будут переселяться, подобно тысячам других, в Королевство сербов, хорватов и словенцев.

У нас с женой появилось новое чувство — тоска по России, и мы решили поспешить с отъездом. Сегодня мне многие говорят: “Если бы ты тогда не вернулся в Россию...” — и начинается перечисление материальных выгод, показывают светящееся на люблянском десятиэтажном “неботычнике”, самом высоком здании города, название фирмы, принадлежащей добровольцу Сербской дивизии, вернувшемуся “вовремя” и открывшему торговлю пушниной. Я не отвечаю. Сидите на своих сундуках и пойте славу, кому хотите.

Нас влек тогда обратно в Россию не только долг, по России затосковали наши души. Подобное я до этого испытал только раз в жизни, в долине посреди Альп.

Перед тем как поступить в Венский университет, я был на медицинском факультете в Инсбруке. Шли непрерывные дожди, горы были окутаны густыми облаками. Я заболел тоской по солнцу, по морю, не находил себе места, не мог ни работать, ни читать, ни спать. Собрал вещи и уехал. Так было и сейчас. Только побывав на Западе, мы почувствовали, как близка нам Россия.

Но оказалось, что “русской болезнью” заболели и многие словенцы, побывавшие в России: “Едешь обратно? Какой счастливый!”

Обратно в Россию

Возвращались через Болгарию. Отношение бывших противников к нам было прекрасное. Очень многое в этой стране напоминало о России. Как все могло быть по-иному!

В Константинополе одиннадцать дней ждали отправки. На “Ксении” ночь простояли в Золотом Роге, а на восходе солнца отправились дальше. В Одессе было уже прохладно. После Феодосии попали в шторм. В Ростове уже шел снежок.

Зина поехала в Ессентуки работать в больнице, я — в Таганрог в штаб Главнокомандующего за направлением в свой полк, которым теперь

командовал есаул Милеев. Его заместителем был Игнатий. Армия сдала Курск и отступала к Обояни. Там в какой-то деревушке я нашел полк и принял одну из пулеметных команд.

Причины катастрофы Белых армий Деникина, Юденича и Колчака сегодня достаточно известны. Постараюсь отметить то, что мне кажется особенно важным.

О Волжско-Сибирском фронте я знаю только по рассказам участников и очевидцев. Скажу лишь, что личность адмирала Колчака была одной из самых светлых и сильных за последнее десятилетие. Это был Корнилов русского Востока. И там, на Востоке, совершались чудеса храбрости, и там десятками тысяч погибла за Россию русская молодежь. И все-таки их, как и нас, постигла катастрофа.

Во время нашего отсутствия положение Вооруженных сил Юга России резко улучшилось. Главная заслуга в этом казачьей конницы и Добровольческого корпуса, команду над которым принял Кутепов. Немалую роль сыграло также вооружение, полученное от англичан, и не последнюю — танки. Вся Украина была очищена от большевиков, взят Харьков, вскоре должно было произойти соединение с армией Колчака.

Но на первом разъезде за Орлом наступление захлебнулось и вся армия, кроме корпуса генерала

Кутепова, состоящего из полков старой Белой гвардии, вдруг покати́лась назад.

В чем причина поражения победоносной и вооруженной лучше красных Добровольческой армии? Исчерпывающий ответ я получил в первой же деревне за Обоянью, где ночевал со своей пулеметной командой. Он заключался в одной фразе, сказанной мне простым мужиком:

— Кабы землю дали крестьянину, да кабы не грабили!

Значит, причина поражения бывшей Белой армии — неразрешенный аграрный вопрос и моральное разложение.

По дороге на фронт я пробыл два дня в Харькове, где стояла хозяйственная часть нашего полка. Остановился в главной гостинице у знакомого офицера. Ночью на этажах шла очередная пьянка, о которой я мог судить на следующий день по состоянию комнат, почти все двери которых были открыты настежь. В полдень зашел к хозяйственному вельможе в надежде, что они уже “соизволили продрать глазки”. Но вельможа еще “изволили почивать”, а на столе я увидел счет за ночной кутеж на пять с чем-то тысяч рублей. На фронте командир роты получал двести пятьдесят рублей в месяц.

В зале гостиницы проходили скандальные вечера с цыганками. И в этой проституированной обстановке

беспрерывно пьяными голосами прославлялась Москва белокаменная.

Начальник хозяйственной части продавал военную добычу. Прибыль делилась между ним, его шайкой и несколькими тыловыми офицерами из начальствующих. В частях мы давно не видели сахара, в тылу его продавали мешками. Прибыв в полк, я надеялся увидеть полковников и генералов. Но как командовали мы, молодые поручики и капитаны, батальонами и полками, так и продолжали командовать. В тылу же, куда ни глянешь, — полковники да генералы. Правда, немало было самозванцев. Были и большевицкие агенты, в чем я удостоверился уже при большевиках. Но все это было возможно лишь при царившем моральном упадке. Разницы между нашими господами тыловиками и товарищами большевиками уже почти не было. В России торжествовало злое начало.

Наше командование включало в свою политическую программу и аграрные реформы. Они должны были осуществиться только после победы законодательным органом, который еще надлежало избрать, и облик которого был далек и туманен. Я к тому же сомневался, что намерения эти были вполне искренними: факты говорили о другом.

Большевики отбирали у крестьян продукты, скот, все, что им требовалось, показывая на практике, что такое социализм и коммуна. И крестьяне встречали нас как

избавителей. Если бы наше командование состояло из людей разумно мыслящих, оно нашло бы правильный путь, тот, по которому шел Столыпин. Аграрный вопрос стоял в центре всей государственной и общественной мысли России не только в последние годы. Он стоял в течение почти целого столетия. Наши начальники, оторванные от общественной мысли и от народа, этого не понимали. Может быть, многие из них и желали добра, но решающим влиянием обладали люди, приведшие Россию к катастрофе.

Тем, кто охотно забывает события и факты недалекого прошлого, полезно вспомнить, что большинство крестьян с радостью приняли революцию только потому, что надеялись на аграрную реформу, и все мысли их были о разделе помещичьей земли. Верно, что к достойным и культурным помещикам крестьяне относились хорошо. Но это были лишь хорошие личные отношения, отнюдь не заменявшие закон об аграрной реформе. Крестьяне учинили много ненужных насилий и грабежей. Но я знал также немало помещиков, в кутежах и диком разгуле разбрасывавших деньги, добытые крестьянским трудом, за взятки устраивавших своих сыновей в тылу, прятавшихся за нашими спинами.

При наступлении в Курской губернии мы заняли селение, в окрестностях которого было два поместья. Во время революции крестьяне воспользовались

помещичьим лесом, и многие построили себе дома. Не успел наш полк отдохнуть, как на другой же день явились два помещика с отрядом жандармов и начали обыскивать крестьян. Один из них нашел у крестьянина свои галоши и велел его выпороть. Дома, построенные из помещичьего леса, приказали сломать. Крестьяне толпами приходили жаловаться к нашим командирам, но помещики показывали какие-то бумаги, и наши не знали, как себя вести. Более решительные прекращали безобразия на свой страх и риск, другие на все смотрели сквозь пальцы.

Через две недели эти крестьяне партизанили у нас в тылу. А большевики, мастера на обман, распространяли слухи, что они теперь переменялись к лучшему.

Если бы был правильно разрешен аграрный вопрос, то даже при содоме и гоморре, которые творились у нас в тылу, мы взяли бы Москву.

Мы шли ночью и остановились в деревушке. Узнав о моем приезде, Игнатий примчался среди ночи. Он был вне себя от радости и, забившись в угол, читал и перечитывал письма и рассматривал фотографии родных и близких, привезенные мной из Загреба.

Ночью мы продолжали отступать. Тихо шел снег, заглушая шум двигавшегося полка. Бои и длительные переходы сказались и на людях, и на снаряжении. Мы

с Игнатием ехали верхом и говорили о пережитом во время нашей разлуки.

— Ну и хорошо, что мы не взяли Москву, нас бы оттуда метлой вымели, — так закончил свой рассказ Игнатий, семь раз раненный первопоходник, оставшийся в строю с ампутированной правой рукой. Все, кто только его знал и видел, глубоко его уважали. Утром ему помогали сесть в седло и вечером — сойти с коня. Поводья были укорочены и связаны, чтобы облегчить управление одной рукой.

— А что же дальше? Крестьянство нас гонит, развал в тылу идет полным ходом и заражает уже строевые части, казаки воевать тоже не хотят. Сколько зла принесли России и Белому движению казаки Шкуро и Покровского! Как можно забыть грабеж Украины?

За что же мы будем дальше воевать? Вождей у нас больше нет, о духе армии и говорить не приходится... Воюем по инерции, без воодушевления. Многие прекрасные и до той поры честные офицеры тоже начали грабить, рассуждая: “Те, там, в тылу убегут с награбленным, а нас бросят на произвол судьбы”.

Кто мы с Игнатием? Ландскнехты, кондотьеры? За что мы воюем? За право грабить Россию? Разве нам некуда уйти? Ведь мы иностранные подданные, иностранный паспорт всегда в нашем распоряжении. Но все же мы держимся России и цепляемся за

соломинку надежды. Мы надеемся, что появится сильная личность и положение изменится.

В армии все чаще упоминается имя генерала Врангеля. Оно стало популярным после славных ставропольских дней и взятия Царицына. Наши взоры устремлены к нему, как к новому вождю. Оскорбленные чувства обманутых людей ищут выхода, инстинкт самосохранения сегодня единственное, что связывает в одно целое силы Юга. Врангеля хочет армия, но он нежелателен для наших верхов, потому что он честен, храбр и сметет их с земли российской, а история их проклянет и предаст забвению.

Отступаем... В полку остается менее семисот штыков. За нами идут лучшие большевицкие части: шестой и седьмой латышские полки. В каждом по две-три тысячи штыков.

В большом селе Верхопенка три дня подряд идут жестокие упорные бои. В первый день боя я принял командование пулеметной ротой из шести пулеметных команд: одной офицерской, одной конной и четырех смешанных.

Бои были жестокие, потери большие, особенно во время уличных боев. На третий день удалось нанести большевикам чувствительный удар. Шедший нам в обход латышский батальон натолкнулся на мою пулеметную роту. Я выстроил в линию батарею из

двенадцати тяжелых пулеметов, и через считанные минуты от батальона осталось несколько десятков человек.

Здесь я должен упомянуть о благородном поступке латышей: при отходе наших частей с улицы не смогли вынести нескольких раненых офицеров. При повторном наступлении я увидел их лежащими так, как мы их оставили. Латыши над ними не издевались и их не добились. В истории русской Гражданской войны это было большой редкостью.

В обход Верхопенки была выслана офицерская рота. Через полчаса за ней последовал верхом командир полка, а им к тому времени стал капитан Франц (мой Игнатий). Дорога, по которой прошла рота, была усеяна офицерскими погонами. И мы поняли: дело серьезное.

За два дня мы потеряли четверть состава. В полку оставалось не более 350 штыков. Число пулеметов мне пришлось сократить с тридцати до двадцати двух. К вечеру третьего дня мы заняли южную половину Верхопенки, большевики — северную.

Утром сообщили, что нам на смену идет какая-то 49-я дивизия. У нас таких формаций до того не было, и мы запросили пояснения. Из штаба ответили, что дивизия сформирована недавно и что вообще начато формирование старых частей. Не поздно ли? Нам

также сообщили, что полки новой дивизии по составу приближаются к частям военного времени.

К вечеру подошла одна из бригад. Мы рассматривали ее с любопытством и недоверием, свойственным много раз обманутым людям. Частями командовали, как полагается: полками — полковники, батальонами — подполковники. Набранные из мобилизованных крестьян солдаты нам не внушали никакого доверия, на этот счет у нас выработалось почти абсолютное чутье.

После первого же совещания с командирами этой бригады мы поняли, что пришла не помощь, а тяжелый гнет на наши плечи. Командир спрашивал: где неприятель, где его фланги, какова его численность? Мы могли сказать только, что вот здесь, в этой деревне, большевики, латышская бригада, шестой и седьмой полки. Ответ их явно смутил. Пришлось дать им проводников, чтобы вывести в тыл противника.

Бригада ушла в ночь, и больше мы ничего о ней не слышали. Через два дня обнаружился их командир и несколько офицеров. Рассказали, что их солдаты без единого выстрела перешли к большевикам, захватив с собой многих офицеров. Командир дивизии, бедняга, с горя заболел психическим расстройством. Так окончилась, еще не начавшись, история 49-й дивизии из мобилизованных крестьян.

Ранним утром мы атаковали большевиков и выбили их из села. Затем продолжали общее отступление на юг. Шли перестрелки и бои, для нас удачные, но безрезультатные, потому что на соседних участках большевики нас обходили, и мы должны были с боями выходить из охватов. Наши части держались еще крепко, но и в них участились переходы к большевикам, даже офицеров.

Тихой ночью мы проходили через Белгород. Я подсел к Игнатию в его сани. Крупными хлопьями шел снег, и сквозь снежный, равномерно движущийся занавес мы молча смотрели на церкви, монастыри, старые дома, встающие в снежной ночи причудливыми видениями.

И опять степь, снега, ветер и бои, бои...

Перед Харьковом мы ночевали у священника. К нему на несколько часов приехал сын, офицер Алексеевского полка. Обреченная на страшную неизвестность семья тихо плакала. Еще ночь, и придут не знающие милосердия и пощады.

Из Харькова мы уходили последними. До нас, как голоса из другого мира, доносились крики с большевицкого митинга.

Старо-Покровская. Одно из самых страшных воспоминаний моей жизни. Не хочу затруднять читателя описанием этого боя, он описан у

большевиков! Наш полк с четырехорудийной батареей не получил от командира полка Скоблина приказа об отступлении и был оставлен на своих позициях, в то время как все другие отошли. Два дня мы держались в отрыве от армии. Ночью справа и слева от нас под тяжестью переправлявшихся красных трещал лед замерзшего Дона. На третье утро, перед рассветом, мы пробились из полного окружения, в котором, кроме латышских частей, участвовало несколько тысяч крестьян-повстанцев. На рассвете вошли в громадные змеевские леса. Сзади доносились крики раненых, добиваемых большевиками. Лесными тропами и по железнодорожной насыпи мы прошли 75 верст с трехчасовым отдыхом и соединились с дивизией только на третий день. Из полка спаслось 56 человек, со знаменем, снятым с древка. Впоследствии многие считали, что Скоблин сознательно утаил от нас приказ об отходе. В это время с ним уже была известная исполнительница романсов Плевицкая — агент большевиков, как потом выяснилось. Игнатий в ярости искал Скоблина и застрелил бы его, но тот куда-то исчез.

Отступаем с боями. Тяжело: большие переходы. Склоны возвышенностей покрыты скользкой ледяной корой. Необходима усиленная осторожность. За нами, кроме латышей, движется конница Буденного. В деревнях ежедневно кто-нибудь отстает. Многие, особенно из нового пополнения, обмораживают ноги.

Пополнение? Но кто же пойдет в безнадежно отступающую армию? И тем не менее, не доходя до Харцызска, мы получили подкрепление: с нами ушло несколько сот харьковских гимназистов. С некоторыми даже их отцы. Что же? Начали с детьми и кончим с детьми? Особенно много этой зеленой молодежи дали мне: я ведь вышел из-под Старо-Покровской с одной офицерской конно-пулеметной командой.

Легко одетые, непривычные к походам, они с трудом переносили тяжести отступления. Мы надеялись, что в Харцызске их оденем как следует. Напрасно надеялись: начальник хозяйственной части успел украсть и распродать все обмундирование.

В Харцызске мы остановились на несколько дней и начали обучать их пулеметному делу. Дети, никогда не державшие в руках даже винтовки, изо всех сил старались постичь эту премудрость. Мы полюбили их как младших братьев. Сердце сжималось при виде этого несчастного молодого поколения. Разве нужна была эта жертва? И кому? Этому отвратительному тылу, который в панике валил перед нами к заграничным ладьям в портах Черного моря? Что ждет их впереди? Нас уже ничем не удивишь, мы себя списали, мы ко всему готовы. А они? Поверили белым идеям, давно преданным. Теперь они участвуют в их похоронах.

Эшелоны со столь необходимым нам военным грузом стоят в открытом поле. Часами идем, а они все стоят с застывшими паровозами. Завтра станут добычей большевиков. Никто не собирается их уничтожать, бессмыслица...

У донских казаков снова переменилось настроение. Они отступали, не оказывая сопротивления, как кубанцы. Но на нижнем Дону до них дошли слухи о расправах и разорениях, чинимых большевиками в занятых станицах. При одном местном контрнаступлении мы вывезли несколько вагонов изувеченных большевиками казачьих трупов и доставили их донцам. После этого донцы стали оказывать отчаянное сопротивление. Кубань же выбыла из строя окончательно.

В армянском селе под Ростовом мы встретили Рождество. Через Нахичевань перешли в Аксай. Здесь переправлялся через Дон на Ольгинскую Мамантов со своими донцами. Конница шла весь вечер. Хотя и отступление, и тяжело на душе, но любо на них смотреть. Люди и кони, слившиеся в одно целое, движутся в однообразном ритме долгого, упорного похода. Все серьезные и угрюмые. Дом и все, что им дорого и близко, остались в руках беспощадного врага.

Я отправил свой обоз через Дон. Мы всю ночь простояли в Аксае. К утру ушли последние донцы. Стало тихо. Мы одни. Совсем недалеко началась

стрельба. Наконец выступили и мы, свернули к станции Александровской. Повсюду были видны разезды наступавших широким фронтом буденновцев. Они уже заняли Ростов. Наш полк переходит по железнодорожной насыпи на замерзший Дон. Мои пулеметы задержались, я их жду.

Мы спустились последними к железнодорожному туннелю. В станицу входят буденновцы. Через пять минут, а то и раньше, они уже будут на насыпи. Навстречу едет мой унтер-офицер. Увидев меня, смутился.

— Куда? — спрашиваю я.

Он бледнеет и молчит. Пожимаю плечами и еду дальше. Выехал на лед Дона. На той стороне штаб полка и Игнатий. Говорю:

— Уходите поскорее, большевики в двухстах шагах!

— И по-хорватски Игнатию:

— Чего вы сидите, они ведь уже здесь!

Игнатий усмехнулся, встал и пошел к коню. Поднялись и остальные. А я поехал, чтобы расставить пулеметы на случай попытки большевиков перейти Дон. Не успел я отъехать рысью шагов двести, как за спиной раздалась пулеметно-ружейная стрельба и на насыпи показалась большевицкая кавалерия. В этот момент меня догоняет мой помощник и кричит:

— Игнатий убит!

Поворачиваю коня и пускаю его в карьер, чтобы забрать Игнатия. Вижу подводу, несколько оседланных коней убегают без седоков, а около подводы верховой. Узнаю младшего адъютанта полка. Кричу:

— Капитан, где Франц?

Капитан Р. поднимает винтовку и стреляет в меня. Снова целится и снова стреляет. Расстояние 30-40 шагов. Изю всей силы поворачиваю коня и гоню назад. За спиной раздается третий выстрел. Я настолько ошеломлен, что сначала растерялся. Намереваясь забрать Игнатия, я застегнул кобуру и забросил карабин за плечи, чтобы иметь свободные руки. Через несколько секунд берет верх чувство злобы и мести. Ищу свои пулеметы, чтобы открыть огонь, но они уже отошли. Да и какая польза? Около подводы уже стоит группа неприятельских всадников.

Бывший при Игнатиин ординарец рассказал, что пуля из буденновского пулемета попала Игнатию в затылок и вызвала мгновенную смерть. Так окончилась жизнь моего друга Игнатия Игнатьевича Франца родом из Загреба, добровольца сербских войск, добровольца русских войск, первопоходника, семь раз раненного, без правой руки командовавшего полком, честного, храброго, любящего Россию. Ушел из жизни один из хорватов, озаренный великим

славянским духом Юрия Крижанича и епископа Штроссмайера. Он боролся и отдал жизнь за свою великую родину, не ограниченную клочком земли вокруг Загреба, а раскинувшуюся от Триглава далеко за Урал...

Лошадь моя шла шагом. Давно не видно всадников и подвод, на которой лежит убитый Игнатий. Наши ушли вперед, их тоже не видно. Из Ростова глухо доносится пушечная стрельба. Окрестность у берегов замерзшего Дона покрылась белым саваном. Снова мы в тех краях, где в 1917 году собирались для спасения России. Без вождей, без веры уходим с русской земли, как французы в 1812-м. Мы тоже, как французы, говорили с русским народом на разных языках; и так же, как они, отступаем... Куда? По-видимому, туда, где говорят по-французски.

А вас, павших, тебя, русская молодежь, лежащая в бесчисленных могилах, кто вас помянет? Пока, кроме нас, — никто. Да и мы не охотники были поминать, хотя только и делали, что поминали. Опять бои. Батайск. Кагальник. Ольгинская. Если потеплеет, удержимся на своих позициях. Донцы дерутся великолепно, под Ольгинской они рубились шашками в пешем строю. Ранен Буденный. Пользы от этого мало, он — фигура декоративная. Красными командуют бывшие царские офицеры.

Мы стали тяжело переносить артиллерийский обстрел: нервы обнажены. Пока они были окутаны

верой и духом, их ничто не брало. Теперь же разрыв тяжелого снаряда — как прикосновение к голой ране.

Нас оттянули в Тимашевскую. Ставка хочет, чтобы мы были поближе, так как всем известно, что в Екатеринодаре действует большевицкая подпольная организация, а леса кишат зелеными. Я послал вольноопределяющегося за Зиной в Ессентуки. Через неделю она приехала. Будем вместе переносить тяжести разгрома и отступления. Снова заболели икры и отяжелела голова. Тиф, возвратный. Приступ продолжался семь дней. Следующий будет не так скоро. Успеем выступить и переехать в Екатеринодар. Тиф косит и армию, и население. На Минеральные Воды отходят целые составы с тифозными. О них говорит вся армия. Больных отправляют без присмотра, мертвые остаются по двое суток в вагонах. Хорошо еще, что зима и что вагоны не топят. Мы видели, как из проходящих эшелонов выгружают мертвых на станции или прямо на линии. В Екатеринодаре говорили, что умерших от тифа бросают в братские могилы и присыпают только снегом. Днем, когда пригреет солнце, некоторые из них оказываются живыми и выползают из могил. Я послал двух офицеров проверить эти страшные слухи. Они оказались правдой. Собираем сведения обо всех творящихся безобразиях, хочу подать докладную записку Главнокомандующему. Все мои офицеры согласны со мною: необходимо что-то предпринимать.

Второй приступ. Опять лежу. Фронт на Дону рухнул, армия отступает. С боями отступает только Добровольческий корпус Кутепова и донцы. Кубанцы сопротивление прекратили. Тыловые учреждения, уже никому не нужные, кишат по-прежнему мародерами и дезертирами.

Наш полк разместили в сырых отвратительных помещениях. Ни город, ни “буржуи” лучших не предлагают. Зина не может достать мне приличной еды: мы, строевые офицеры, буквально нищие. Обеспечены те, кто крал в тылу, брал взятки, спекулировал ворованной мукой, валютой, паспортами, удостоверениями. Среди нас растет возмущение. С бронепоезда на вокзале прислали двух офицеров с посланием: “Пора сместить Деникина и назначить Врангеля!”

Мы с ними согласны, но говорим, что, пока мы в городе, делать это неудобно, польза будет только большевикам. К тому же армия еще не вышла из соприкосновения с неприятелем. Бои идут под Екатеринодаром, эвакуация идет полным ходом, зеленые по пути к Новороссийску нападают на поезда. Деникин ведет переговоры с английским правительством. Нас эти переговоры уже не интересуют.

В тупике

Наш полк получил подписанный Сидориным приказ о выступлении. Но не за Кубань, а по ее правому берегу, вдоль неприятельского фронта. Понять приказ было нетрудно, и мы его поняли: отступающий тыл жертвует для своего спасения целым полком. 18 марта мы выступили в направлении станицы Елизаветинской. Проходили по тем же местам, по которым с боями шли корниловцы в Первом походе, пытаясь овладеть Екатеринодаром.

Первый привал был на хуторе, где пал Корнилов. Через его комнату — поклониться памяти генерала — прошла вереница корниловцев — последняя воинская часть его армии. Когда снова придут сюда, на обрыв над Кубанью, откуда так хорошо виден Екатеринодар, русские люди поклониться памяти героя?

Ночевали в Елизаветинской. Утром двинулись к Марьинской. Там узнали, что Кутепов переправился через Кубань у Крымской, и Крымская уже занята. Повернули назад к Екатеринодару. В Елизаветинской узнали, что и Екатеринодар занят. Разрывы снарядов это убедительно подтвердили.

Наступил вечер. К Елизаветинской подходили большевики. Мы начали бой, чтобы хоть на время их отогнать и получить возможность переправиться через Кубань. У меня начался новый приступ

возвратного тифа и общая слабость, притупление чувств. Сидеть верхом становилось все труднее.

Ночь в Елизаветинской. Часть полка вышла за станицу и вела бой там. Мы метались по берегу и искали переправочные средства. Ничего, кроме двух небольших лодок, не нашли — снова преступной рукой вызванная катастрофа. На этих двух лодках началась переправа полка. Над нами рвалась шрапнель, и это хоть немного возбуждало во мне энергию и волю к жизни. Я уже не мог удержаться в седле и пересел на линейку к Зине.

Недалеко от нас артиллеристы сбрасывали пушки с обрыва в Кубань. Штабные бросали в воду полковой архив. Вода под обрывом всплескивала от сбрасываемых патронных коробок. Несколько офицеров застрелились. Думать можно было только лишь о спасении жизни, да и то было под вопросом: плавни за Кубанью кишели зелеными. Жители станицы притаились в домах. На ее широких улицах не впервые разыгрывалась трагедия. И здесь завтра будут стоны и плач.

Серая, тяжелая печаль когтями въелась в грудь: вся невероятно трудная жизнь последних трех лет, все лучезарные надежды и упования, все лишения, все молодые жертвы, все подвиги, освященные тысячами могил, — все в тупике... Серой, страшной стеной стоял этот тупик передо мною. Мысли свербили мозг до боли. Душа как бы оторвалась от тела и поплыла

над Елизаветинской, над Доном, над всей Россией. Страх исчез совершенно. За станицей шел бой, где-то отчаянно кричали, с грохотом катилась с обрыва пушка — меня все это уже не касалось.

Мысли уперлись в тупик. Что дальше? Что делать? Почему случилось так? Что же думает русский народ, русский крестьянин? Здесь все уже известно: новых песен не споем. Но Россия все-таки остается там. За них же, за тех, кто нас гонит, мы отдавали свои жизни, лучшие дни своих молодых жизней. Но они нас не приняли. Так где же правда? В чем правда? Может быть, в силе? Нет, не в силе, в последнее время сила была на нашей стороне. Уехать домой, окончить медицинский факультет, стать врачом, зарабатывать, построить себе домик. Совсем близко Новороссийск, пароход, буду всем обеспечен, и мученьям конец... Черт знает, что бродит в мозгу! Если в моей больной голове и остались о той ночи изъяны в памяти, одно я знаю: ни Зина, ни я о своем благополучии не думали.

Где же Россия? Здесь, с Сидориным, с нашим бегущим за море тылом? Ясно, что нет. Но не с Бронштейном же, не с Ульяновым, не с подлыми убийцами царской семьи. А может быть, это только судороги и бред тяжелой болезни, а мы мешали медленному выздоровлению? Может быть, Троцкий и Ленин только одни из многочисленных нарывов, которые выходят из тела русского народа? Может

быть, Ленин с Троцким выйдут с гноем, и раны заживут?

Или перейдем в Крым? Главнокомандующим будет, наверное, Врангель. Но что он сможет сделать с остатками армии? И стоит ли вообще? Стоит ли, стоит ли жертвовать последними воинами ради... ради России, которая нас не хочет? Во имя союзников, которые рады бы превратить Россию в свою колонию, во имя тыла и всего, что под этим подразумевается, тыла, который нас обесчестил перед Россией? Да, это самое страшное: русский народ потерял веру в наше движение.

Отступить, чтобы спасти жизнь? Ох, эта жизнь! Сколько раз она балансировала как хрупкий шарик на носу у фокусника — и не разбилась... Авось, и теперь не разобьется.

— Ну как, Зина, останемся?

— Ах, как хочешь. Но боюсь, будем жалеть. Чего от них ожидать?

Я сидел на подводе. Мои офицеры подъехали ко мне:

— Поедем, попробуем верхом.

Я весь сгорбился под тяжестью мыслей, они давили, как свинец, в голове стучало.

— Поедем, — сказала Зина.

— Останемся, — сказал я.

Пусть Бог рассудит, кто был из нас прав в эту ночь в Елизаветинской. Мы приняли крест и всю жизнь несли его вместе, четырнадцать лет поднимались с русским народом на Голгофу. Четырнадцать страшных лет. Мы видели то, чего людям веками не суждено увидеть. Мы искали не спасения, а Россию. Мы не жалеем... “мы былого не жалеем”. Роптать на судьбу, на Бога за все то, что случилось с Россией, смешно и бесполезно. А может быть, так и суждено было?

Мы люди веры и действия. Вера и любовь к России никогда в нас не ослабевали, никогда ни малейшая тень сомнения не легла на святой образ нашей великой родины.

Последний офицер, старый боевой друг, долго стоял в темноте и ждал моего ответа. Потом тихо сказал:

— Ты же болен, мы тебе поможем.

Я не ответил.

— Ехать? — спросил ездовой.

— Езжай!

Проехали по темным улицам квартала два. Ночевали у первых попавшихся казаков, пустивших нас во двор. К нам присоединилось еще пять или шесть

офицеров и две сестры. Никто не мог уснуть. Я же растянулся и укрылся с головой шинелью. Я уже переболел. Следствие внутреннего духовного судьи уже окончилось. Приговор будет завтра. Нет, уже сегодня. Ждать недолго.

Ночью Зина будила несколько раз. Никто, кроме меня, не спал. Под окнами шел бой. И уже доносились голоса: “А-а-а, золотопогонники, мать вашу! Мы за вас больше воевать не будем! Товарищи, мы к вам!”

Кто-то пробежал мимо дома, на улице прострочил пулемет, потом все утихло. Я усмехнулся и сказал:

— Двадцатое марта тысяча девятьсот двадцатого года...

— Ты думаешь, что это напишут на твоём кресте? Ты думаешь, что на наших могилах будут кресты?..

Я хорошо выспался. Ко мне вернулась ясность суждения и бодрость духа. Ночь уходила, стекла в окнах стали светлеть. Все сидели, подавленные неизвестностью. Нужно сговориться, как держаться, что отвечать. С нами был офицер-черногорец. Сербь из большевицкой подпольной организации в Екатеринодаре, лучше нас знавшие, что наш полк будет пожертвован и не соединится с корпусом, сказали ему, чтобы в случае катастрофы мы ссылались на них и всеми силами старались попасть в Екатеринодар, где они нас выручат. Некоторые из них

были солдатами Сербской добровольческой дивизии, один даже бывший унтер-офицер.

Я собрал бывшее у нас оружие. Все напряженно прислушивались к происходившему на улице. Под окном чирикал воробей. Секунды казались минутами, сердце усиленно билось. Ухо уловило ритмический шум. Они... Я вышел во двор. По улице шла стройными рядами конница. Четверо конных отделились от колонны, и один из них забрал у меня оружие. Кавалерийская бригада прошла к реке. Наши вышли во двор. Почти изо всех домов выходили группы корниловцев и сдавались. Мы были в плену.

Нас обыскали, но только поверхностно. Поговорили между собой и отвели на окраину станицы в хату иногороднего. Снова обыскали и отобрали то, что при первом обыске не нашли. Они не были удовлетворены, по-видимому, искали что-то определенное. Затем заперли хату и стали во дворе совещаться. По доносившимся отрывкам фраз вопрос шел обо мне: расстрелять или нет? Один рабочий (как выяснилось, петроградский) настаивал на моем расстреле как старшего. Его поддерживал кубанский иногородний. С ними был мой денщик, хитроватый, но хороший тамбовский мужик, по мобилизации побывавший и у большевиков, и у наших. Слышно было, как к нему обращаются, как после его ответов спор затихает, чтобы затем снова вспыхнуть до выкриков и страстных речей. Несколько раз заходили в хату, чтобы посмотреть на подсудимых и, по-

видимому, чтобы насладиться своей возможностью распоряжаться жизнью и смертью людей.

— Скоро поедem в “штаб Духонина”, — говорил мне кубанец. Я молчал. Значение этих слов мне было слишком хорошо известно.

Судебный митинг продолжался около двух часов. Вдруг все четверо вошли, приказали нам раздеться и еще раз тщательно обыскали. Кто-то из них положил на стол карабин. На нем и сосредоточилось мое внимание. Вчерашнее безволие и апатия исчезли, я снова владел собой, проникнутый одной волей к жизни. Они нас еще основательно пограбили, но велели одеться. Хороший признак. Потом вышли и возле сарая спорили еще с полчаса. Отстоял меня екатеринодарец из рабочих, внушающий доверие русский человек, пользовавшийся, видимо, у них авторитетом.

Митинг кончился. Идут к нам. Кто-то крикнул со двора хозяйке:

— Готовь яишню, да побольше!

Ну, значит, спасены.

Они вошли и пригласили всех за стол. Хозяйка принесла громадную сковороду с яичницей. Наши судьи ели с аппетитом, предлагая и нам не отставать. У наших длительный судебно-революционный

митинг затормозил пищеварительные функции, и еда застревала у них в горле. Я же уплетал за обе щеки, как полагается голодному. Опасность миновала, и слава Богу! В первый, что ли, в последний ли раз?

В красном Екатеринодаре

Нас доставили в Екатеринодар. Но без охраны. Я сразу отыскал знакомых сербов. Все они оказались коммунистами или подпольными работниками, но ко мне отнеслись хорошо. Состряпали мне бумагу, где было сказано, что я, якобы, помогал им скрываться и даже снабжал оружием. Такой же “липой” снабдили всех офицеров моей группы и даже несколько посторонних. Меня эта бумага, по крайней мере, дважды спасала от верной смерти.

В Екатеринодаре воцарилась большевицкая власть. Армия, с которой мы встретились в Елизаветинской, была сравнительно хорошо дисциплинирована и организована. Зверств, к которым мы привыкли, она уже не чинила. Зато ЧК и особые отделы старались наверстать то, что было упущено на фронте. Расстреливали ежедневно. И снова в большинстве жертвами были интеллигенция и крестьянство.

Меня мобилизовали. Назначили в полк имени Третьего интернационала. Жили отвратительно, жалованья, получаемого в полку, хватало на три-

четыре дня. Кое-что мы оставили при отступлении в Екатеринодаре. Это сейчас и продавали. Сперва торговать на базаре самим было стыдно. Потом привыкли. Но хватило нас ненадолго.

Открылись общественные столовые, и мы подолгу стояли в очередях за отвратительным обедом, состоявшим почти исключительно из знаменитой “щрапнели”. Было положено начало тому страшному состоянию, в котором русский народ находится уже столько лет и главный признак которого постоянная необеспеченность, нужда и унижение человеческой личности.

На долю крестьянства снова выпало тяжелое испытание: деревни грабили реквизиционно-карательные отряды, “продотряды”, состоявшие из отбросов русского народа, а при стопятидесятиmillionном населении отбросов можно было набрать немало. Те, кто для разрушения армии провозгласили в 1917 году лозунг “без аннексий и контрибуций”, теперь грабили русский народ жестоко и систематически. Крестьяне остались без запасов, и в случае неурожая им грозил голод. У новых правителей складов для награбленного не хватало, минимум половина продуктов, а скоропортящихся и того больше, гнила, мокла под дождем и расхищалась.

Коммунисты не могли не знать, к чему неминуемо приведет изъятие такого громадного количества

продуктов по всей России. Но даже если в их фанатичных головах угас всякий здравый смысл, то после первого массового опыта они должны были убедиться в безумии своего начинания. Если только это не было сознательным действием, чтобы сломить волю людей к сопротивлению. Во всяком случае, большевики не отступили, ибо они никогда не руководствовались благополучием народа. В этом вся суть дела. Голод 1921-1922 годов был результатом ограбления крестьян государством.

Первый раз в подвале

Арест. По ложному доносу. Сорок пять человек заперли в подвальное помещение без окон, в котором в крайнем случае могло разместиться двенадцать-четырнадцать человек. Дышать было трудно, жара была невыносимая, голые тела обливались потом. Всего в подвале — около двухсот человек. В Екатеринодаре таких подвалов было несколько, не говоря уж о переполненной тюрьме. “Тройки” на ночных заседаниях “заботились” о непрерывной текучести.

Первую ночь я провел у самых дверей. В 11 часов ночи на допрос вызвали подпоручика, одного из “заговорщиков”. Я понял, почему народ в подвалах не спал. Из соседнего помещения простучали: “Взяли полковника”.

— Через час услышим.

Все молчали. Время тянулось медленно. Все чего-то ждали. Наконец где-то заработал мотор, и чье-то опытное ухо уловило в его шуме четыре глухих выстрела.

— Крышка, — сказал кто-то.

— Теперь можно спать, — сказал другой.

Я передвинулся на место расстрелянного и оказался рядом со стариком-полковником, никогда в войне не участвовавшим. Он весь день тихо молился, а к вечеру начал собирать вещи. Их у него было по пальцам перечесть. Мы снова погрузились во тьму. Началось ожидание. Сначала мы пением и рассказами пытались заглушить тревогу. Пение зависело от милости китайцев, несущих охрану. Не понравилось китайцу наше пение — он щелкает затвором и направляет на нас винтовку, издавая непонятные звуки.

К десяти часам разговоры прекращаются, и начинается давящее грудь ожидание. Мне приходит мысль: “Вот бы Метерлинка сюда к нам на курсы усовершенствования для изучения всякого рода мистики! Сразу бы почва нашлась под ногами”.

Полночь. У китайцев смена. Ожидаем каждую минуту. Топот сапог в коридоре:

— Полковник К., выходи на допрос!

Свет от фонаря падает на его дрожащие руки и на лицо, застывшую печальную улыбку, полузакрытые глаза.

Через полчаса он вернулся. Никто ничего не спрашивает. Ждут — начнет собирать вещи или нет. Старик стал возиться с корзинкой, взял чайник. Кто-то зажег спичку, чтобы ему посветить. Спички вспыхивали одна за другой, их слабый свет на миг освещал повернутые в сторону полковника лица и его самого, сгорбившегося над своими вещами. Кто-то не выдержал:

— Ну что, полковник?

— Как что? — тихо, дрожащим голосом ответил старик. — Известно что... — Он долго искал крышку от чайника. Как же, чайник без крышки! Ведь это не просто жестяная кругляшка. Это продление жизни на несколько минут.

— Прощайте, братцы! — И он засеменил к выходу. За дверью еще долго были слышны его шаркающие шаги и топот сапог.

— Ждать долго не придется, сейчас зашумит.

Вскоре заработал мотор. Я лег на место полковника подальше от дверей и закутался в шинель. Гул мотора глухо отдавался по земле. Выстрелов я не слышал.

— Готово! — сказал кто-то, кто расслышал.

Сквозь дверь, открытую в соседнюю камеру, где было окно, забрезжил свет. Значит, день. Оправляться сопровождает китаец. В камере предупреждают:

— Не оборачивайся, пырнет штыком!

Чья сегодня очередь? Подвал ухитрился узнать, что на втором этаже двенадцать казаков и иногородних, оказавших групповое сопротивление при реквизиции хлеба.

Вот оно, где секрет! Хлебушек помирил и сдружил этих заядлых врагов! Чего не смог добиться Деникин, добились, отнимая хлеб, большевики. Их расстреляют, ясно как Божий день. Они уже в соседней камере. К ним сегодня заходил комендант Особого отдела и подозрительно долго на них глядел. Бывший приказчик. Глаза маслянистые, взгляд острый, все время улыбается. Не ему ли посвятил Горький “Безумство храбрых”? Пока его удовлетворяет хорошо заученная улыбка приказчика. Погодите, через год он уже не будет улыбаться, а приобретет осанку покорителя и управителя русского народа.

С крестьянами сидит священник. Они его слушают целый день, он им шепотом что-то говорит. Наверное, про Апокалипсис.

Камеру заперли. Ночь. Сегодня даже не поел. В камере спорят: один мотор заведут или два? Двенадцать человек сразу — не шутка! Часы проходят. Уже сменились китайцы. Тишина, в камере начинают похрапывать, засыпаю и я. Не знаю, долго ли я спал.

Мотор! Два! Да уж больно гудят. Выстрелы. Пять. Восемь. Несколько подряд. Потеряли счет. Во тьме напрягается слух, ощущается возбуждение. Гул стих. Комендант торжествует. Он расстреливал лично.

На третьей неделе по камерам пошел слух, что нас, и меня в том числе, расстреляют. Комиссар произнес перед полком речь, заявив, что гидра контрреволюции, поднявшая голову в полку, носящем славное имя Третьего интернационала, раздавлена. Все участники расстреляны. Кто-то даже как будто видел вывешенный список расстрелянных, где была и моя фамилия.

Зина на свободе и я в камере — оба узнали об этой речи. Новые арестанты принесли это известие из мира, где солнечный свет. Зина отыскала наконец сербов-коммунистов. Они явились в особый отдел и засвидетельствовали, что я им помогал, когда они работали в подполье.

Странное чувство охватывает, когда выходишь из подвала. Все земное невыразимо красиво, в особенности свет солнца. Но выходящий из подвала

должен беречь глаза, сначала надо довольствоваться небольшим пучком его прекрасных, животворных лучей.

Не успел отдышаться от подвала, как прозвучал приказ по Кубанской области: бывшим офицерам, вольноопределяющимся и военным чиновникам, служившим и не служившим в Белой или царской армии, вне зависимости от возраста, явиться в Большой театр в Екатеринодаре.

Когда все явились, чекисты окружили здание. Вечером выпустили только членов партии. Прошел слух, что остальных отправят на Север.

Меня снова спасла бумага, полученная от сербов. Других разместили в алфавитном порядке в двух эшелонах. В первом эшелоне, если память не изменяет, до буквы “м”. Двум офицерам по дороге удалось выброситься из люка. Один из них какое-то время скрывался у наших друзей. Он рассказывал: загнали по 60 человек в товарные вагоны и заперли. Среди них было несколько семидесятилетних стариков, один семидесятивосьмилетний, бывший когда-то вольноопределяющимся и потом никогда не служивший. В их вагоне умер старик-генерал, его труп два дня не убирали. Все нужды отправляли через люк. Жара была невыносимая.

Весь первый эшелон пропал, никто не вернулся. Мать знакомого вольноопределяющегося объездила весь

Север, обила все пороги, обошла всех родных и родственников высланных с этим эшелоном. О них не было ни малейших сведений. Через годы, когда Север стал громадной братской могилой, дошли слухи, что всех их по пути в Соловки перебили холодным оружием. Рыбаки рассказывали о залитых кровью баржах.

К Врангелю

Около станции Приморско-Ахтарской высадился десант генерала Врангеля. Екатеринодар начали спешно эвакуировать. Чтобы не возиться с заключенными, освободили всех уголовников, а 700 арестованных по политическому подозрению расстреляли. В операции участвовал известный мне Шупинович (чех, настоящая фамилия Шупина), унтер-офицер Сербской добровольческой дивизии. Расстрелы продолжались два дня. Говорили, что Шупинович расстреливал в белых брюках и серых парусиновых туфлях.

Десант не удался. Уклонившимся от эвакуации также угрожал расстрел. Вшестером, запасшись незаполненными бланками одного из большевицких полков, мы ночью забрались в товарный состав, уходящий в северном направлении, надеясь пробраться к Врангелю. Ехали под видом

добровольцев, направляющихся на красный фронт, на “барона”.

В Ростове знакомый серб-босниец, член Реввоенсовета Первой конной, дал нам прочесть секретную книгу о Врангеле, составленную большевицкой разведкой. Читали ночь напролет и тут только узнали, какое важное значение придают большевики армии Врангеля. Мы поняли, что впервые после Корнилова Белое дело в надежных руках и что в Крыму аграрный вопрос разрешается правильно и честно.

Отдавая должное доблести белых войск в Крыму и организаторским и военным способностям генерала Врангеля, отмечали также слабые стороны армии: малочисленность, тяжелое наследство, доставшееся от Деникина, затруднения с продовольствием и другое. Большое внимание уделялось также поддержке, которую оказывал генералу Врангелю Махно, пользовавшийся, к сожалению, большой популярностью среди украинского крестьянства. Обсуждались воззвания обоих.

В Ростове двое из нашей группы ночевали в доме, оказавшемся в районе облавы. Их забрали вместе с другими. Поехали дальше вчетвером. Через Днепр переправились у Кичкаса. Ночевали в какой-то деревне у председателя местного совета. Он жаловался на реквизиции и бессмысленную порчу

отобранных продуктов. По секрету, осторожно, после долгого с нами разговора, сказал:

— Ходят слухи, что Врангель землю крестьянам дает. Никаких реквизиций не производит.

Его старик-отец не осторожничал, а прямо ругал большевиков.

По дороге из разговоров с крестьянами мы поняли, что они колеблются. Большевиков все стали ненавидеть. Но относительно Врангеля хотели бы достоверно убедиться: правда ли, что он дает землю? В большом селе Павловском ночевали у крестьянина и слышали, как он и его соседи почему зря ругали большевиков. Попросили переправить нас через Днепр, но большевицкие части сами тут начали переправляться. Решили попробовать счастья в Херсоне. Снова шагали по пыльной дороге, питаясь дынями и арбузами. Денег ни копейки. В Херсоне один из нас по неосторожности чуть было не попался, пришлось спешно уходить. В Одессе знакомые обещали переправить в Крым, но только меня одного. Решили попробовать попасть туда через Румынию. Взяли направление на Овидиополь. Шли по молдавским, немецким и русским селам вдоль Днестра. Питались у крестьян. В богатые хаты не заходили, там давали редко, а иногда и собак натравливали. Бедняки никогда не отказывали.

В Маяке, на краю деревни, попросились на ночлег к рыбаку. Оказался хорошим человеком. Рассказал, что соседние села недавно восстали против большевиков из-за бесчеловечной продразверстки и расстрелов. Многие переправились в Румынию и теперь живут в береговых камышах. Он обещал нас переправить, но предупредил, что румыны могут вернуть назад. Нам эта мысль показалась настолько дикой, что мы не обратили на нее должного внимания. В благодарность я отдал ему матросскую куртку, подаренную мне в Одессе. Шинель была давно продана.

— Как только солнце тронет камыши, вы должны быть на берегу, — предупредил рыбак.

Мы спустились к обрыву, пробрались сквозь камышовые заросли и залегли у берега в ожидании захода солнца. Рыбак свистнул, мы вышли, легли в лодку. Солнце уже зашло, когда мы были на румынском берегу. Сели, стали думать: идти к заставе или пробираться камышами к Аккерману, где, по слухам, был представитель Врангеля и знакомые сербы из Одессы. К нам подошли русские повстанцы и посоветовали явиться на заставу, иначе нас могут расстрелять как шпионов.

На одном берегу стояла палатка румынской заставы, на другом — большевицкой. Начальник заставы говорил по-французски и был с нами вежлив. День мы пролежали в палатке и носа не показывали. С того берега большевики перебрасывали яблоки, обернутые

прокламациями. Румыны яблоки охотно подбирали, читали и прокламации.

Мы просили отправить нас в тыл как австрийских военнопленных, возвращающихся на родину. До получения приказа от командира начальник ничего сделать не мог, а что мы австрийские военнопленные, явно не верил. На вопрос, служили ли мы в русской армии, мы имели неосторожность ответить положительно. Мы как раз собирались на ночлег, когда вернулся солдат от командира пограничной роты. Я уловил смысл сказанных им фраз, и меня обдало холодом: приказано немедленно вернуть нас обратно. Начальник за это время с нами подружился, и нетрудно было его уговорить переправить нас между двумя большевицкими заставами. Утром нам дали немного хлеба, и два солдата неохотно повели нас к берегу. Один из них говорил по-мадьярски, которым владел наш товарищ. Солдат объяснил, что румынская граница закрыта для всех русских, а нас приняли за офицеров деникинской армии.

Показались рыбаки. Солдат подозвал одного. Мы узнали нашего старого знакомого. Греб он изо всех сил и быстро нас переправил. Мы выскочили из лодки и, как зайцы, в кусты.

Ползком добрались до прогалинки. Шагах в двухстах тянулся шлях. Вдали маячили всадники в буденновках. Мы спрятались. Когда они исчезли из вида, вышли на дорогу, зашагали и запели: “Ты не

плачь, не горюй, моя дорогая, коль убьют, позабудь, знать, судьба такая!”

Жаль только, что перед переправой через Днестр мы уничтожили все наши документы.

Часть III. В РОССИИ СОВЕТСКОЙ

Голод 1921-1922 гг.

Мы шли пешком, побираясь у крестьян, по селам, хуторам, поселкам. На Знаменке попали в облаву. Двоим удалось бежать, меня и приятеля забрали. Сидели в мокром, темном подвале. Следователь говорил плохо по-русски, караул — китайцы. Каждый вечер ждали смерти. Как важных преступников нас отправили в Кременчуг. Месяц тюрьмы изнурил нас до крайности. Еле двигались, поддерживая друг друга. Падали от голода. Зубы начали шататься. В Кременчуге держали нас в темном подвале, где ни сидеть, ни стоять невозможно. Повезли в Москву в ВЧК. С транспорта удалось бежать. Скитался по Украине, крестьяне к скрывавшимся от большевиков относились хорошо, редко кто выдавал.

Настала зима. Морозы небывалые, только старики помнили такие. Без пальто, без шинели, без белья, без чулок, в летней рубашке, дырявых ботинках, укрывшись мешком, повязав уши платком, я ехал 400 верст на открытой платформе. Что страшнее: голод или холод? Вопрос этот потом задавали не раз многие, очевидно, ни холода, ни голода не знавшие. Трудно на него ответить. Испытали мы и то и другое. На платформах, на буферах, на крышах, свернувшись

калачиком, ехали такие же, как я. Слезы замерзали на щеках.

Скрывался два месяца у знакомых. При облавах соседи предупреждали — всегда удавалось скрыться. Ночные стуки стали средоточием всей психики. На них выработались условные рефлексy, которые действовали бесперебойно, даже во сне. За все время пребывания под большевиками ночные стуки стали для нас мистическим символом советской власти. Ночной стук наводил ужас на каждого порядочного русского человека. Если ночью с трепетом говорили: “стучат”, то это означало: где-то ворвались, разорили, увели, ограбили, выслали, расстреляли.

Убежище мое стало небезопасным. Снова холод, товарные поезда и страшный вопрос о хлебе и ночлеге. Много может перенести человек, намного больше, чем можно предположить.

Виделся с Зиной. Она работает, не голодает, но мне оставаться там нельзя, могут выдать.

Наступило тепло, и шинель теперь не нужна. Ехать поездами — одна прелесть. Взберешься на крышу вагона, подстелишь под себя мешок и потираешь руки. На крышах полно народу, ко всем у тебя родственное чувство, ко всем этим зайцам, страдальцам, едущим за хлебом, пробирающимся к своим или от своих бегущим, ищущим в громадной

стране уголок, где бы не обобрали, не посадили, не оскорбили.

Гроза надвигается

На Россию надвигалась гроза: природа завершала то, что начали люди. На громадных пространствах Средней и Нижней Волги, на Северном Кавказе — неурожай. Крестьяне, у которых продотряды отобрали все запасы, голодают. Чем ближе к зиме, тем положение безысходней. Кто им поможет? При старом правительстве тоже бывал голод, но далеко не в таких размерах. К тому же присылали запасы из других губерний, никто не запрещал крестьянам ездить за хлебом в районы, не затронутые неурожаем. Оказывали помощь и общественные организации.

На моих глазах крестьян стаскивали с крыш вагонов, с буферов, отбирали последние фунты муки, обмененные на одежду вдалеке от родного села, где голодающая семья ожидала отца с хлебом. Рядом со мной на крыше вагона рыдал крестьянин, оставшийся без шубы и без хлеба. Из-под Саратова он ехал на буферах, на крышах товарных поездов, голодный, измученный, чтобы в Дагестане обменять шубу на два пуда кукурузной муки для семьи из трех малых детей, жены и старика-отца, у которых в день его отъезда оставалось шесть фунтов муки. На станции

Кавказская заградительный отряд отнял у него все и избил за слишком настойчивую мольбу:

— Я перед ними на колени: нешто вы не люди? Родные, детишки голодные! Отдайте... — Они меня ругать и вот как прикладом ахнули! Антихристы! Россия-матушка, что с тобою стало? Хоть бросайся под поезд. На что теперь ехать домой?

И на всех узловых станциях те же самые потрясающие картины. Сидишь на крыше вагона и с ужасом смотришь на неслыханные издевательства над русским народом. Не бред ли наяву все это? Но нет: толчок поезда, грудь сжимается от бессильной ярости. Значит, не бред, а страшная действительность. За Екатеринославом я видел, как заградительный отряд остановил поезд за полверсты от станции, как всех мешочников выгнали в степь, как на них набросились, отбирая абсолютно все продукты, которые те везли с собой. Над степью поднялся стон, плач, дикие крики и причитания. В голоса ограбленных людей врывались гнусные, бессмысленные ругательства державных грабителей. Когда мы подошли, чтобы поближе посмотреть на это зрелище, нас отогнали выстрелами.

В Ростове

Ростов-на-Дону. Нас пятеро “бывших”. Как быть, что делать? Я отпустил бороду, достал документы на чужую фамилию, они в полном порядке. Где я только не искал работу! Хотел использовать знание иностранных языков. Кому они теперь нужны, когда любой интернациональный сброд чувствовал себя здесь лучше, чем у себя на родине, и занимал самые хлебные места? Я искал любую физическую работу, но где ее найти? В промышленности царил разруха, рабочие уходили обменивать на еду части фабричного оборудования в области, где не было голода. Торговля была уничтожена, да и какой из меня торговец? А есть нужно.

Город был полон голодающих. Степень несчастья, постигшего русский народ, можно было увидеть, не выходя из дому. На противоположной стороне улицы стояла церковь Святой Троицы, и к ее ограде ежедневно приходили голодающие крестьяне, зачастую целыми семьями. У ограды они опускались на землю, не в силах протянуть руку за милостыней. И большинство уже не вставало. Хозяйка нашей квартиры и ее знакомые настолько к ним присмотрелись, что могли почти без ошибки определить, когда умрет очередной голодающий.

В центре города стояло сгоревшее здание. Люди, проходя мимо него, с ужасом крестились. Чека? Нет,

здесь был лазарет, в котором при отступлении белых осталось 60 раненых офицеров. Большевики его подожгли, а офицеров, выползавших к выходу, закалывали штыками. В 1922 году еще стояли почерневшие стены, на уцелевших балках висели покоробившиеся железные кровати. Дети, ютившиеся в подвалах лазарета, находили там обуглившиеся остатки скелетов.

Беспризорные

Эти дети были беспризорными, им государство должно было бы оказывать помощь в первую очередь. Но оно ждало, пока половина детей вымрет или разбредется среди населения. Тогда оно определит оставшихся на полуголодный паек в реквизированные дома, снабдив их фальшивыми фамилиями, чтобы они никогда не узнали, кто были их родители и какая их постигла судьба. Оттуда они смогут выходить в поисках добавочного питания. Несколько сотен или тысяч из них государство поместит в колонию ГПУ для показа иностранным делегациям и для вдохновения большевицких гусяров вроде Горького и всяких “путевок в жизнь”. Я видел бесчисленное множество путевок, выданных большевиками русским детям. Среди них “путевок в жизнь” были десятки, а “путевок в смерть” — тысячи.

У этих детей, родители которых умерли от голода, были убиты в подвалах Чека или пропали без вести, была своя организация, свое подполье со своими правилами, жаргоном и условными знаками, своим судом и моралью. Эту организацию детей, названных презрительно “беспризорниками”, следует рассматривать как удивительное проявление самосохранения народа. Дети примерно от шести до десяти лет сопротивлялись гибели с такой энергией, которую не проявляли и взрослые. Русские дети почуяли душой, что их сигналов бедствия никто не услышит, и начали спасать себя сами. Те, кто их не знал, не могут себе представить, сколько эти дети вынесли, какие подвиги для спасения своей жизни совершили! Они преодолевали тысячи верст, привязавшись под вагоном или на укрепленной под вагоном доске, на буферах в поисках хлеба. Как перелетные птицы, они двигались с севера на юг и с юга на север. В лохмотьях, посиневшие от холода, терявшие от голода сознание, они продолжали бороться за свою молодую жизнь, прибегая и к кражам, и к грабежам, к чему угодно, как угодно и когда угодно. Большевики боролись с ними теми же способами, что и со взрослыми. Недаром в одной из песенок, сочиненной беспризорниками, были слова, что их “в Чека свинцовой пулей бьют”.

Наблюдая за советской действительностью, дети играли в расстрелы, в обыски, слово “шлепнуть” произносили с такой же легкостью, как “папа” или “мама”. Большевики, и никто другой, виновны в

моральном и физическом бедствии, в которое они повергли тысячи и тысячи русских детей.

Страшные были времена. Опасность и тяжести на фронте — явления совершенно другого порядка. Сколько было истрачено сил, сколько сожжено нервного вещества, чтобы добыть кусок хлеба, иногда на неделю, иногда на месяц. Сколько огорчений, сколько отчаяния пережили мы в те дни, месяцы, годы. С какими людьми поневоле приходилось иметь дело!

Сын

Зина переехала ко мне в Ростов. Я предполагал, что нам удастся выехать в Югославию. Не удалось. Настала зима, жить становилось все труднее. Целыми днями питались водой с сахарином и кусочком жмыха.

Приближался девятый месяц беременности, необходимо было что-то предпринимать. Вспомнили про Ессентуки, где Зина работала, и врача, которому помогла в тяжелый момент. Туда она и уехала.

Наступили величественные светлые дни Воскресения Христова. Дикими охрипшими голосами высмеивали ораторы христианство, устраивали карнавалы, глумились над Церковью, над верой. Но вся эта

гну́сность ни у кого не находила никакого одобрения, особенно в деревне. Наоборот, толпы народа как никогда наполняли церкви. На Великий четверг реки света залили улицы, тысячи людей бережно несли домой четверговые свечи.

Каждый день я ждал известий от жены. Наконец наступил великий день. Зина написала, что 16-го апреля, на рассвете первого дня Пасхи, когда восходящее солнце озарило Бештау, у нас родился сын, что она самая счастливая в мире женщина, хотя и знает, что грозная реальность скоро постучится в двери.

Во втором письме уже была горечь тревоги о будущем. Знакомые, жившие в достатке, отказали в гостеприимстве, и Зина с сыном на руках искала приют в станице. Нашла комнатку у казаков. Врач и акушерка родильного дома достали ей железную печку и немного топлива, которое она сама перетаскала. Она вынесла на базар все, что можно было продать, и осталась в летнем платье и военной шинели.

Третье письмо было грозным. Сын растет, уже улыбается. Только удастся ли сохранить его и себя? Зина сама едва не падает от голода. Молоко исчезло. Осталось всего три фунта кукурузной муки и больше ничего. Продать уже нечего. Помощи нет ниоткуда: кто мог бы помочь — не хочет, а кто хотел бы — сам голодает.

Ночь после получения этого письма я провел в полубредовом состоянии. Помочь нужно завтра, самое позднее — послезавтра. Окна, выходящие на церковь Святой Троицы, были задернуты занавеской, но детские трупки воскресали, начинали бегать, и за окном я ясно слышал детский голос “папа”. Я начал ходить по комнате и ждать утра. Неужели со мной что-нибудь случится теперь, когда от моей воли и хладнокровия зависят жизни жены и сына?

Я облился холодной водой и вышел во двор. Наступил рассвет, и я пошел к земляку просить денег. Земляк испугался выражения моего лица и с первых же слов, поняв, что деньги для меня имеют жизненное значение, побежал их доставать. Через час принес десять миллионов. Их хватило на три килограмма мелкой копченой рыбы, миллион остался на фунт хлеба. Было еще шестьсот тысяч мелочи. Вдобавок земляк меня накормил, чтобы хватило сил добраться до Ессентуков.

Я взял перронный билет, надеясь как-нибудь примоститься на поезд, отходивший на Баку. Ездить пассажирскими стало чрезвычайно трудно: советская власть снова вводила плату за проезд, “опричники” так и шныряли, и горе тому, кого они ловили на буферах или на ступеньках. Лучшим местом считались буфера у глухой стены вагона. Но они были уже заняты, пришлось сесть на проходные буфера. Не

успели проехать Батайск, как передали: “Улепетывай, идут!”

Двое уже карабкались на крышу. Я от них не отставал. Слава Богу, мы там оказались не одни. Опытные сказали, что лучше всего пробираться в сторону, противоположную направлению контроля. Мы забрались на крышу последнего вагона. Крыши были какие-то неудобные, покатые, скользкие, а у последнего вагона была вдобавок боковая качка, и он злобно пытался нас стряхнуть. Далеко проехать не удалось. На передних вагонах появились фонари, черные тени двигались по крышам. К счастью, поезд как раз замедлял ход перед станцией. Только бы рыбу не потерять, тогда всему конец!

Фонари уже маячили на последнем вагоне, когда я соскочил с буферов ногами вперед и, пробежав шагов десять, остановился. Ощупал корзинку с драгоценным грузом и поплелся вслед за удалявшимися красными огоньками. Ночью проходил товарный. Я забрался на платформу с углем и доехал до узловой станции Армавир.

Здесь поезд задержится до вечера, надо искать другой. Осталось триста верст. К отправке готовился военный эшелон, к составу как раз цепляли два вагона с демобилизованными красноармейцами. Я попросил их подвезти меня. Все были из крестьян. Я протиснулся в самый угол, прижал к себе корзинку и, прикорнув головой на чей-то мешок, заснул мертвым

сном. Когда проснулся, была уже ночь. Дважды проходил военный контроль, но ребята говорили, что я “ихний” и чтобы меня не будили. Какое счастье, что я попал к этим людям!

Ессентукская уже спала крепким сном. По выученному, присланному в письме рисунку я нашел церковь, бывшую невдалеке от дома, но все-таки проблуждал час по темным улочкам, пока не увидел тусклый огонек.

Забилось сердце, замерло дыхание: не иначе как они ждут отца и хлеба. Зина услышала шаги и выбежала. Мы молча обнялись, и я ощутил, как она за это время похудела. Казачья комната, освещенная мигающим светом каганца на блюдечке. Слева у стены кровать, возле кровати на опрокинутой табуретке жестяная ванночка, в ней спит крошка в чепчике, ручки на груди.

— Недавно уснул. Часто плачет. Но теперь будет лучше. Как доехал?

— Неважно, как. Привез немного рыбы, на — ешь поскорее.

Зину уже дважды сильно качнуло, она взялась за голову. Но она ни за что не скажет, что голодна. Лучшая в мире еда эта копченая рыбешка с черным, с макухой хлебом, привезенная за четыреста верст на буферах и на крыше. Как хотелось остаться с ними,

покачать сына на руках! Но что такое три килограмма рыбы, им скоро конец.

А может, и моим конец? На телегу и в яму за станицей? Голод свирепствует, телега с “бригадой смерти” каждое утро вывозит из Ессентуков накрытые рогожей трупы. К тому же оставаться опасно: могу вызвать подозрение. Надо завтра же ехать назад. Увиделись — и слава Богу, легче стало. Дальше посмотрим, еще поборемся. А сорвется, значит, так суждено. Вот только тело все как разбитое, ноги болят и стучит в висках.

Ночь в Минеральных Водах. Так спать хочется! Лицо горит. Наверное, оттого, что я от Ессентуков ехал на паровозе. Поезда на Ростов нет до утра. На вокзале я лег на пол и тут же уснул.

Кто-то основательно пихнул меня ногой:

— Вставай, пошли с нами!

Что может быть привычней этих слов? Усталость сразу прошла, но не испуг и не тревога овладели мной, а горькая печаль разлилась по всему телу. Но уже столько раз проносило, может, и на этот раз пронесет?

Матрос-чекист меня обыскал:

— Не он...

Новая струя по телу, бодрящая, живая, теплая. Но не так, как раньше: глаза наполнились слезами.

— Мы тут ищем горцев, бандитов. Из-за твоей папахи приняли тебя за горца. Забирай свои вещи.

У меня были с собой чудом сохранившиеся перламутровые четки — память матери. Матрос их внимательно рассматривает, чувствую, что без злобы.

— Молишься?

— Да, собственно, нет — это память от матери.

— И веришь в это?

— Нет. Верю вот в это, — показываю на крест.

— Слушай, подари мне эту штуку!

Ошеломленный, я сразу не ответил, да и жаль было.

— Возьми, — говорю через некоторое время. — На добрые дела...

Он все рассматривает. Потом решительно прячет в карман и так же решительно пожимает мне руку.

— Спасибо, братишка! Ты завтра едешь? Билет у тебя есть?

— Какой там билет? Так как-нибудь попробую.

— Я тебя посажу.

И посадил он меня утром в вагон, и наказал проводнику, чтобы меня не трогали.

Не успел я доехать до Невинномысской, как контроль меня арестовал. Проводник испугался чекистов и от всего отказался. Надо было уплатить штраф или отсидеть 14 суток.

Единственное, что можно было еще продать, была шинель. Продал и уплатил штраф. В руках остался пустой мешок и кусок веревки.

К вечеру подошел пассажирский поезд.

На буферах

В темноте, подальше от вокзала, уже стояла цепь людей, готовых вскочить на буфера при первом движении поезда.

Постукивает поезд, бегут под ногами рельсы, бежит между ними темная полоса. Буфера сжались на стрелках и, пройдя их, снова разжались. На мгновение закружилась голова, рука ловит наружную планку стены вагона. Держись! На буферах нет иного счета, как доли секунд. Ноги нашли опору, поезд равномерно стучит. Ночь на дворе. Бежит под ногами темная полоса. Стена вагона покачивается, буфера слегка “в гармонь играют”. Разобрался в темноте: еще по пассажиру на паре буферов. Ехать не так плохо, а Зина, наверное, беспокоится: как он устроился? Не

первый класс, но ничего, устроился. Стена вагона глухая, контроль не снимет, не столкнет на ходу. Холодно. А мешок зачем? Одной рукой мешок за плечи, узел под шеей. Сразу теплей. Стена вагона толкает в спину, забеспокоились буфера, не попасть бы ногой между ними.

Семафор. Станция. Готовься! На станциях буфера осматривают. Как только поезд стал — спрыгивай. Как тронулся — вскакивай. Этим езда на буферах отличается от езды в вагоне.

Цепь опять растянулась вдоль поезда. Приближается фонарь, и цепь отступает в темноту. Фонарь удаляется, и тени возвращаются, каждая поближе к своему буферу. Свисток! Готовься к прыжку, хорошо смотри, за что уцепиться, куда ногу забросить.

Снова под вагоном бежит темная полоса, последние станционные фонари на миг тускло освещают рельсы, и снова ночь. Ничем не заглушенная, отстукивает железная стихия свой галопирующий ритм. На ритме колес сосредоточено все внимание, все чувства напряжены. Как только ритм меняется, люди на буферах раскидывают руки крестом, выпрямляются, прижимаются спиной к стене вагона, напряжение тела удваивается. Ночь темная, без звезд. Ветерок из степи обдает холодом и сыростью. Если бы счет жизни вести на секунды, какой бы бесконечной она казалась...

Узловая станция. Люди в вагонах ей рады, можно будет походить по перрону, размяться, что-нибудь купить и вернуться на свое место. Люди на буферах и на крышах ее проклинаяют. Многие не попадут на буфера, многие отстанут, другие посидят голодные в подвале, а кто-то попытается вскочить на быстром ходу и сорвется. И конец ему: последняя поездка.

— Армавир! — крикнул сосед по буферу. — Держись!

И правда, держись. Фонари с обеих сторон поезда, охрана шныряет, раздаются ругательства. Цепь буферных пассажиров рассыпалась. Многие ушли вперед, будут вскакивать на ускоренном ходу. Тогда человек повиснет, обнявши железо над бегущими рельсами, отчаянным взмахом закинет ногу на буфер и выпрямится, прижавшись к стене вагона раскинутыми крестом руками или вцепившись в угловую планку.

Те же соседи, мы на тех же буферах. Ритм поезда надежный, можно немного ослабить напряжение мышц. Стало холодней, познабливает, что-то не по себе. Икры болят, только сейчас обратил на это внимание. Наверное, от стояния, от напряжения.

Должно быть, за полночь. Небо как будто бледнеет. Или это звезды появились? Хорошо бы сесть, дать ногам отдохнуть. Как будто один из соседей сидит. Как это делается? Нужно повернуться боком, левую

ногу медленно опустить, левой рукой взяться за неподвижную манжетку буфера, на правой ноге присесть, упереться левым бедром в буфер и затем уже опустить правую ногу.

Что-то не так. Неловко. В спине опоры нет, вот в чем дело. Сладкая истома спускается к ногам. Ритм меняется, стена вагона толкает. Весь упор только на правую руку, на планку вдоль стены. Нет, неудобно. Такое напряжение утомляет больше, чем стояние. До станции выдержу, потом буду опять стоять. Хорошо на маленьких станциях. На многих можно и не слезать или взбираться, как только паровоз свистнул.

Снова железный стук наполняет пространство между вагонами, дикий ритм врывается в отдыхающую степь и валит дальше в ночь. Все еще темно, редкие звезды сверкают. А ноги болят, становятся тяжелыми. Размять бы их. Или хотя бы расставить. Сесть на буфер верхом? Нет, слишком опасно.

А когда-то мы по этим местам ходили, и немало. Помню курган под Армавиром. С артиллерийским наблюдателем следили мы в стереотрубу за железнодорожной линией. Мчался тогда по ней большевицкий поезд от Армавира к станции Овечко, а за ним охотился наш самолет. Потом мы лежали в траве целый час. Солнце пригревало, и хорошо было растянуться, повернуться с боку на бок.

По этим же рельсам стучал наш поезд, когда мы мчались в ту прекрасную августовскую ночь к Ставрополю, пели песни, пили портвейн из пулеметных кожухов и закусывали сладкими галетами. Лежали на платформе, растянувшись на шинелях. И можно было спать, спать, сколько захочешь. И я бы сейчас поспал, долго-долго.

Пути раздваиваются, появляются фонари, стена вагона шатается, отталкивает нас, буфера сходятся, расходятся, и снова толчок. Держись, Русь подпольная, обездоленная, едущая на буферах! Мы, городские да военные, к железу привыкли, а вам, крестьяне черносошенные, с непривычки труднее. Или и вы уже привыкли? Привыкли, наверное. Многие из вас привыкли еще на фронте. Многие из вас выталкивали нас из вагонов, а теперь вместе едем на буферах да на крышах. А кто сидит теперь в вагонах?

Кавказская. Пронеси, Господи! Мы влетели меж двух составов. Легче будет прятаться. Двигутся фонари, поднимаются, опускаются. Уходим под вагонами на другую сторону. Свисти же скорее, проклятый паровоз! Кому интересно прятаться под пассажирскими вагонами?

Поезда превратились в жестокие чудовища. Народ кричит, бросается на вагоны, вещи подают в окна, туда же кого-то подсаживают, дети плачут, матери кричат, спрашивают, куда поезд? И никто им не

отвечает. Кто-то взбирается на наши буфера. “Занято!” — кричим. Мы тут как тут, готовы биться за свои места. И человек уходит дальше. Буферов много.

Свистнул. Не зевай! Мы уже на буферах. Поезд трогается, осветило фонарем. Кто-то кричит с платформы: “Слезай, мать твою!” — “Проваливай, сволочь, не догонишь!” Учащайся, ритм, быстрее, быстрее! Вот так, хорошо, наша взяла! Железное созвучие в стремительном ритме постепенно успокаивает живых людей над зыблущейся пропастью между двух стен вагона. Три человеческие фигуры стоят, как свечи на узком подсвечнике, и жизнь их — как пламя свечи.

Ночь посерела, становится видней. Еще холоднее стало. Предутренний ветерок продувает нашу дачу. Странно, лицо горит. От волнения? Но этого раньше никогда не бывало. Сразу, как только опасность миновала, восстанавливалось душевное, а с ним и физиологическое равновесие. А теперь, смотри, горит! Ноги проклятые, еще тяжелее становятся. Болят, да и только. Нет, это не утомление.

Сосед наискосок закурил махорку.

— Издалека?

— Чего-о-о?

— Издале-е-ка?

— С Дербента!

- Все на буферах?
- До Петровска на крыше, потом на буферах. За тысячу перевалило! А тебе сколько осталось?
- Мне недалеко, до Ростова.
- Ростовский?
- Нет, издалека... из Югославии.
- Чехословак?
- Нет, южнее. Там, где Врангель.

Молчу, трудно напрягаться. Сосед опять что-то кричит.

- Что-о-о?
- Они там на буферах не ездют!
- Там не пускают. Или в вагоне, или пешком!
- Революция будет, поездиют!
- А может, не будет?
- Ничего, пускай и они попробуют!
- Которые у нас на буферах не ездят — и там на буферах не будут!
- Не будут, мать их...

Сереет ночь, ветерок насквозь пронизывает. Хоть бы с ноги на ногу переступить! Вдали станицу видно. Наверное, мы ее проходили когда-то.

Скоро Тихорецкая. Как мы ее брали! С налета! Как на крыльях летели, бегом тянули пулеметы. Кто думал о смерти? Разве можно было думать о смерти, когда нас ждала Россия? Ждала, приняла и выбросила. Под корнями беззаветной русской храбрости и

юношеского подвига завелись доморощенные черви. Тут, в Тихорецкой, да, в Тихорецкой, к которой мы сейчас подъезжаем. Здесь впервые проснулась тревога в наших сердцах за наше дело, за наше Белое дело...

Держись! Стена задвигалась, шатает из стороны в сторону, все смешалось на стрелках. И ритм, и направление, и раскат железных масс, и свист паровоза слились в сплошной гул, в кромешный ад. Держись, не рассуждай на буфере о червях, а то будут тебе черви... Вагоны выровнялись в прямую линию, но стена давит, налегает. Дай, Боже, сил!

Станция. Боль и рассуждения к черту, соскакивай скорее, а то будет поздно, “опричников” здесь, должно быть, немало.

Но что с ними? Спят, что ли? Вдоль поезда одни проводники. Но проводники не гонят, кого проводник будет гнать? А может, его брат тоже на крыше или на буферах едет где-то за хлебом для голодной семьи? Чекисты сегодня, наверное, на другой работе усердствуют. На нашу удачу, на чью-то беду.

Дважды свистнул паровоз. Лучшая музыка на свете. Начало Девятой бетховенской не может быть лучше. Там также две ноты, дважды прозвучавшие, возвещают людям радость и мир на земле.

Заскрипели оси и колеса, движение рождает жизнь. Движение для нас спасение. Вскакиваю. Все трое уже на буферах.

Симфония продолжается. Три килограмма копченой рыбы. Немного. Прощай, Тихорецкая, прощай, лазарет в Коммерческом училище! Немного уже осталось, всего сто восемьдесят верст. А русскому человеку — все равно что другому восемнадцать. На Западе проехали бы уже два государства. В газетах бы писали: “Человек, проехавший на буферах два государства!” И хоть бы тебе фунтик хлеба за это!

Заалел восток, птички в лесу защебетали, пастух вышел на лужок, заиграл он во рожок... Так, что ли, полагалось писать поэту? Чушь все это, не ездили те поэты на буферах — поездив, написали бы, как вошло солнце до того, как людям на буферах удалось добраться до Ростова или хотя бы до Батайска, и как его свет помог транспортной Чека ловить зайцев, мешочников, бездокументных.

Небольшая станция. Можно далеко не уходить. Вдоль поезда идут проводник и чекист. Шагаю навстречу не спеша, как будто пассажир из вагона. Вдруг:

— Покажи билет, товарищ!

— Да я не из поезда, я леушковский.

— Ну, давай документ, если ты леушковский.

— Да нет, товарищ, я из Ростова. Вот квитанция, что я уже раз штраф заплатил. Шинель загнал. Теперь ни

копейки в кармане. Жена больная лежит. Нужно доехать. Пешком далеко.

Посмотрели они на квитанцию, потом на меня. Кондуктор что-то шепнул чекисту, тот кивнул:

— Езжай...

Я остолбенел:

— Что вы сказали, товарищ?

— Езжай как знаешь.

И тут я не сумел произнести ничего более разумного, более человеческого, чем идиотское:

— Вот вы сознательные, товарищи...

В тот миг, когда судьба нашей семьи висела на волоске, я перестроился на большевицкий лад, и у меня вырвалось их новое заклинание “сознательный”. Но не это похабное слово, а чувство, с которым оно было произнесено, заставило их еще раз посмотреть на меня и добавить:

— Да вот там где-нибудь примоститесь.

Лучше всего на старый верный буфер. Поезд тронулся. Я один. А где те двое? На станции группа арестованных зайцев, но моих соседей там как будто нет. Может, они на других буферах? Или на крыше?

Стало спокойнее на душе. Зато усилилась усталость. Ноги как свинцом налились. Зеваю. Подходящее место для зевоты... Как бы спалось сейчас. Везет мне все-таки. А что было бы, если бы?.. От одной этой мысли сон прошел, горит лицо. Стучит в висках — совсем непозволительно. Что бы это могло быть?

Какое прекрасное утро, небо заалело... Ох, не надо! Задумаешься, потеряешь долю секунды, и тогда конец. Как под тобою сейчас все отчетливо видно! Блестящие полосы рельс, коричневая лента насыпи. Если падать — надо выбрасываться в сторону. А если не успеешь? Тогда лучше падать плашмя посередине. А если... Дурацкая привычка повторять эти самые “если”. А что если съесть запретное яблоко? Выпороть бы его за эти самые “если”! Кого выпороть — женщину? Фу ты, черт! Это от висков, больно уж в них стучит. Не рассуждай на буферах, вот еще слабости пошли! На крышу бы подняться, там хоть на пять минут прилечь. Но там холодно. Утренний ветер уже и здесь пронизывает насквозь, по всему телу дрожь. Этого еще не хватало!

А что мои там делают? Зина еще спит, наверное, самые хорошие часы для сна. И маленький наш сынок, наверное, спит сладким сном. Если не плачет от... От того, от чего вся Россия плачет. А может, не плачет; рыбки у них должно еще хватить дня на три. А может, на четыре. Хоть бы на четыре...

Ох, если бы ничего этого не было! Спать бы там, возле них, так, на полу, безо всего, растянувшись. А может, хозяйка одеяло бы пожертвовала? О, тогда было бы совсем хорошо!

Сильно пошатнуло. Или поезд шалит, или в голове много дум? О чем бы думать, чтобы поменьше думать? Лучше всего о колесах, как бы захрустели кости. Вот дурак! Такой грохот, столько железа движется, ничего бы даже не хрустнуло. А помнишь, как хрустело вокруг, когда тяжелая артиллерия била?

А если снова сесть? У меня же веревка. Между буфером и планкой железная перекладинка специально для этого. Сяду, привяжусь, немного подремлю... Вот дурак, дурак самый настоящий! Может, гамак устроишь? Но что же делать, если веки опускаются и все время зеваешь? Биться головой о стену вагона надо, вот и вся премудрость! Вот так, еще раз и еще раз! Еще сильнее! Нет, это уж слишком... Голова и без того болит. Сяду, привяжусь. Но спать не буду.

Снова спускаюсь по уставу буферной езды. Сел. Теперь так: правой рукой держись за планку, а левой привязывай веревку к железной перекладинке. Есть и это. А теперь за что? Лучше всего за пояс или под мышки. А за что теперь? Не за что. Стена гладкая. Ну и нечего раздумывать, довольно. Только бы не уснуть. Ритм правильный.

О чем это я говорил? Или думал? О каких-то двух нотах. Кто это играл? Где могли играть? На станции, что ли? Ах, это на станции, на Леушковской: “Примоститесь где-нибудь”... Прекрасные ноты, только не две, а три. Все равно, неохота разбираться в нотах.

Сейчас сын уже в ванночке потягивается. Ведь утро уже. Светлое утро. Солнечное утро. Молоко теперь есть. Сколько молока будет от трех килограммов копченой рыбы?

Всюду на свете мир. Теперь бы учиться где-нибудь. В Праге, например. Жена с сынком рядом, а я бы повторял: *nervus trige-minus*. Артерия эта, как ее? Височная, *temporalis*, очень важная. А потом бы играл с сынком: ладушки, ладушки, где были? У бабушки! Смеялся бы сынок...

Рельсы, смерть! Три пальца успели уцепиться за планку. Не отпускай! Назад, только назад! Пальцы немеют. Веревка проклятая мешает. Голову подальше назад откинуть, подальше от блестящей полосы! Небольшой бы толчок! Еще! Налегай, стена, толкай! Вот уже всей ладонью держусь. Надолго ли силы хватит? Рука деревенеет, в глазах рябит. Стрелки, стрелки, спасительницы! Толкай, стена! Еще раз толкни! Есть!

Пронесло... Господи, пронесло и на этот раз! Добрался. Уже в брюшнотифозном бреду, шатаюсь, из последних сил.

Каша Папы Римского

С того времени прошел год. Длинный, страшный год! Теперь мы вместе, все трое. Мы остались в живых — не спрашивайте, какой ценой. Живем на Кубани, в станице Пашковской, возле Екатеринодара, который с 1921 стал Краснодаром. Все, что доставалось с невероятным трудом, прожито.

Устроился пастухом. Пасли скот, отнятый у казаков. Один из пастухов в совершенстве владел французским, преподавал язык в гимназии. Большевикам не подошел. Уже третий месяц работает “по зоологии”:

— Молока сколько хочешь. Иногда и теленка домой пригонишь.

Но через месяц пастухи советской власти больше не потребовались: начался падеж от бескормицы. На пастбищах корма уже не было, а что можно заготовлять впрок, таких указаний товарищи, очевидно, ни у Маркса, ни у Ленина не обнаружили. Уцелевшую половину стада куда-то угнали. Опять мы без хлеба.

Мне друзья уже несколько раз советовали обратиться в миссию Папы Римского в Краснодаре: “Они тебя устроят, ты им по-итальянски что-нибудь спой!” Но Папе Римскому я не хотел, да и не умел “петь”. У католической миссии было задание использовать в целях Ватикана голод и беспорядки в русской православной Церкви. Об этом можно многое рассказать. Пока оставим на будущее. Когда-нибудь они снова к нам явятся с теми же целями.

Но случилось так, что мы двое суток были без хлеба и надежд не было никаких. В таком состоянии я пошел в миссию. Ксендз, начальник миссии, устроил меня чернорабочим в студенческую столовую. Давали ежедневно хлеб и кашу. “Каша Папы Римского” — называли ее студенты. Столовая кормила этой кашей тысячи студентов. Я рубил дрова, таскал из пекарни мешки с хлебом, резал хлеб. Питались тем, что удавалось приносить домой. Пашковская была в девяти верстах от города, и, пока туда не пошел трамвай, я возвращался домой пешком уже в темноте.

Иногда мы получали пайки из миссии. Половина пайков шла “по специальному назначению”. Но без большого успеха. Начальник миссии, которому не с кем было говорить по-итальянски, кроме меня, рассказал, что на Украине им удалось перевести в католичество не более 600 человек. Да и те потом вернулись в православие.

ВУЗ

Миссия уехала из Краснодара. Но я остался при столовой. Стало легче. Познакомился со студентами, с их жизнью. Надеяться на изменение положения в России было трудно. За разговоры о “весеннем походе” против большевиков многих пересажали. Я решил поступить на медицинский факультет. В полученном через родных свидетельстве о том, что я был студентом Венского университета, смыл настоящую фамилию и вписал девичью фамилию матери, под которой мы жили. Она была урожденной Gostisa, что советским служащим было прочтено как Гостыша. Под этой фамилией мы и жили до отъезда из СССР и, думаю, не без ее помощи (и не без помощи свыше) выбрались за границу. Возьми я другую фамилию, моя мать в Югославии не смогла бы доказать, что я ее сын, и просить содействия югославских властей. Достал через знакомого из Ростова даже воинский билет. Так что документы были в порядке.

На вступительном экзамене почти все вопросы задавал политкомиссар. Узнав, откуда я, он пожелал блеснуть знаниями и долго рассуждал о Муссолини. Муссолини помог мне быстро и успешно сдать экзамен и записаться на третий семестр.

ВУЗ. Высшее учебное заведение. Так назывались теперь университеты. В Краснодаре усилиями профессора Мельникова-Разведенкова был основан медицинский институт. Профессуры было достаточно, были и превосходные силы. Большинство из них спасалось от революции на юге России. Некоторые за границу уезжать не захотели. Других, как тогда было принято говорить об оставшейся в России интеллигенции, “море не пустило”. Старая профессура образовала остов, вокруг которого собрались более пожилые и способные врачи. Так, по крайней мере, было вначале. Тяга к учению у молодежи была необычайная.

Сегодня мне приходится нередко слышать, что старая Россия не давала возможности рабочим и крестьянам отдавать своих детей в университет. Много о старой России приходится слышать, в том числе и о белых медведях, бродящих по окраинам Москвы... Были некоторые ограничения, но в последние годы перед войной свелись до минимума. И почему приписывать все только России? Детям рабочих, крестьян и других небогатых людей добиться высшего образования было трудно и на Западе.

Большевики заявили о полном уравнении физического и умственного труда, что логически вытекало из их мировоззрения и системы. Однако на этом их идеологи не остановились, а разработали теорию о моральном превосходстве физического труда над умственным. И поскольку умственные,

интеллигентные профессии стали одним из видов уравнинного труда, не требующего общей культурной подготовки, то и медицину стали считать таким же ремеслом, как слесарное или портняжное.

Культура создает интеллигенцию, а следовательно, и черту между обладающими и не обладающими культурным образованием. Коммунистическая власть, строившая “бесклассовое” общество, допустить этой черты не могла. Альтернативой было или поднять рабочий класс, диктаторский, правящий, до уровня средней трудовой интеллигенции, или понизить общий культурный уровень образовательной системы. Большевики с самого начала пошли по второму пути и всеми силами стремились опустить всю образовательную систему до уровня бездушного практицизма. Этого они достигли понижением требований при поступлении в ВУЗ и упрощением общеобразовательной программы.

“Фельдшеризм”

В 1920 году, при первом приеме студентов на медфак, была еще примерно сорокапроцентная прослойка интеллигенции, окончившей старые средние учебные заведения. Все фельдшера тоже получили право на поступление в ВУЗ, и в первые годы число их доходило до тридцати процентов, если не больше.

Фельдшер, получивший четырехлетнее техническое медицинское образование, должен был, казалось, стать хорошим практическим врачом. Однако здесь мы столкнулись с еще малоизученным в истории русской общественности явлением “полуинтеллигенции” или, как мы его тогда называли, “фельдшеризма”. У людей, оторвавшихся от земли или ремесла и достигших не общекультурного уровня, а получивших только “технические знания”, создалось особое мировоззрение, проникнутое материалистическими узкоутилитарными понятиями о жизненных ценностях. О них говорили, что они “отставшие и не приставшие”. Вся советская система была создана на базе “фельдшеризма”.

Фельдшера держались надменно, образовав свою касту среди студенчества. Они с презрением относились ко всем областям медицины, кроме хирургии. Экзамены сдавали средне, выдающихся врачей из них не выходило. Многие из коллег говорили мне, что пятилетнее пребывание на факультете им почти ничего не дало. Общебиологическое и философское понимание медицины, которое, кроме прочего, отличает врача от фельдшера, их не коснулось. Как поступили фельдшерами, так фельдшерами и вышли: их ум был направлен только в практическую сторону. Никому в голову не пришло бы сравнивать их со старыми земскими врачами. Были, конечно, и подтверждающие правило исключения.

Половину из этих новых врачей составляли бывшие ротные фельдшера, то есть санитары из солдат, в отличие от настоящих фельдшеров прошедшие только курсы оказания первой помощи и ухода за ранеными. Здесь уже ни о культуре, ни об образовании говорить не приходилось. Они были не вполне грамотными и проникнуть в суть медицины были не способны. На моем курсе их было не то двенадцать, не то четырнадцать. Нас они сторонились.

Была группа санитаров, желающих получить дипломы. Они считались рабочими и были хозяевами положения. Один из них, поступивший в двадцатом и окончивший в двадцать восьмом году, служил мальчиком в аптекарском магазине, а потом санитаром. В годы революции он был старшим врачом госпиталя. Коммунист, естественно.

Почти вся эта полуинтеллигенция — медицинская, техническая, канцелярская — приняла революцию, которая немедленно произвела их во все чины. Почти у всех были “заслуги перед революцией”, и они еще долго пользовались у большевиков доверием как люди, “обиженные в прошлом”. Стоит вспомнить как культурно-исторический факт производство фельдшера во врач на митинге в поволжской деревне, резолюция которого заканчивалась словами “потому что как народ теперь все может”.

Упомянутый мальчик из аптекарского магазина нетвердо знал арифметические действия. Я сам в этом убедился. И если бы в институте не было нескольких авторитетных и нетрусливых профессоров, он бы стал врачом наравне с другими. Но большинство профессуры, терроризированное ячейкой и студкомом, пропускало коммунистов, комсомольцев, агентов ГПУ и им подобных почти без экзамена. И только некоторые профессора не подчинялись воздействию коммунистов. Так, аптекарский мальчик сдавал общую патологию семнадцать раз, и каждый раз профессор Савченко гнал его после первых же фраз. Не буду приводить его ответы, так как знаю их в пересказе. Но ответы бывшего слушателя анатомического факультета Харьковского университета я слышал сам. На третьем семестре я был с ним в одной группе. Все кости скелета он знал превосходно, но анатомии мозга постичь не мог. По физиологии проваливался шесть раз.

Возмущенный таким “контрреволюционным” поступком профессора, он нахамил ему на улице, обратившись на “ты”, и нажаловался на него в ячейку. Ячейка вызвала профессора, который описал скандальные ответы и полную неспособность студента к дальнейшему обучению. Ячейка настойчиво, но вежливо попросила повторить экзамен, который тоже окончился провалом. Ячейка уже невежливо объявила профессору о решении назначить экзаменационную комиссию. В комиссию входило двое от студкома и ячейки, и декан, или

помощник ректора по учебной части, как их называли.

— Во что превращается жир при нагревании?

Студент долго думал и не смог ответить.

— Ну, какой вид принимает жир? Сохраняется ли он в таком виде, какой имел до нагревания?

— Нет.

— Так во что же он превращается?

— В шкварки...

Ответ протоколируется.

— Что такое микрон?

— Это ведь по физике, вы меня по физиологии спрашиваете.

— Но вы ведь видели, что в физиологической лаборатории стоит микротом. Значит, он нужен и в физиологии.

Думает, не отвечает.

— Ну, большой он или маленький? Больше аршина или меньше? Или это весовая единица?

— Весовая...

— В таком случае, сколько он весит?

— Меньше четверти фунта, но точно не знаю.

Дальше экзаменовывать профессор отказался. Но декан, боявшийся за свое политическое прошлое и за судьбу семьи, принял экзамен.

Подобных примеров я мог бы привести немало. Некоторые такого же уровня, но без партбилета, постепенно отставали и уходили.

На моем курсе было несколько человек, поступивших с рабфака. Там понижение культурного уровня проводилось путем приема малограмотных студентов и замены общеобразовательных предметов политическими. Принимали по социальному отбору почти только рабочих от станка и батраков. По большевицкой программе в ВУЗ предполагалось в будущем принимать только с рабфаков. Один окончивший рабфак студент, человек разумный, не раз жаловался:

— Разве я могу здесь понимать так, как другие? Я же знаю, чему учили в старой школе и чему учат на рабфаках. Мне бы лет пять проучиться в гимназии, тогда я смог бы учиться и в университете.

А ему, как рабфаковцу, шли навстречу, профессора опасались упреков в жестком обращении с воспитанниками этой пролетарской кузницы новой красной интеллигенции.

Но нужно сказать, что многие из рабфаковцев понимали недостатки советского образования и,

обладая природными дарованиями, неутомимо над собой работали, с успехом заканчивая институт.

На моем курсе соотношение уровня образованности и культуры было примерно такое же, как на двух предыдущих. Впоследствии студентов, окончивших старые школы, уже не было: в ВУЗы поступали только из школ второй ступени, медтехникумов и рабфаков. Тяга к учению продолжалась. Но узаконенный большевиками упрощенный метод постижения всех наук, имеющий целью заменить “буржуазную интеллигенцию” новой, советской, привлекал кроме желающих учиться и людей, в смутное время отвыкших от физического труда и надеявшихся с помощью образования занять командные должности и вести легкую и приятную жизнь. Появились “командированные”, посланные обучаться партией, профсоюзом и иными советскими учреждениями.

В 1920 году у мединститута в Екатеринодаре не было собственной анатомички. Обучение на трупах происходило на лужайке за войсковой больницей. Студенты сами вываривали трупы и составляли скелеты. Сами выносили трупы на траву и потрошили под открытым небом. Трупов было так много, что студенты стали выбирать: одному нравились рыжие, другие предпочитали мужчин... Надо отдать справедливость советской власти: трупы она поставляла всегда в большом количестве.

Материальное положение студентов было тяжелым. В первые годы немногие получали стипендии, на которые можно было влачить полуголодное существование. Почти все работали. Были студенческие артели грузчиков, землекопов. Женщины стирали и шили. Ночные сторожа считались аристократами. Идешь по улице и видишь: под тусклым фонарем сидит ночной сторож с учебником общей патологии или акушерства.

Я был таким “аристократом” примерно два года. Получал десять рублей и обеды. Зато была возможность посещать лекции и клиники, которой не было у работающих днем.

Чтобы свести концы с концами, Зина начала работать сестрой в краснодарском туберкулезном диспансере. Ежедневно ездила из Пашковской, куда через Дубинку стал ходить трамвай. В диспансере она заразилась, и через год у нее открылось кровохарканье. Пришлось ей оставить работу, и процесс в легких зарубцевался без лечения при несколько улучшенном питании. Еще одно чудо, ниспосланное нашей семье.

На последних двух курсах наше материальное положение немного улучшилось: профессора завалили меня переводами своих научных работ для публикации в иностранных медицинских журналах, главным образом немецких. Кроме того, я давал

уроки немецкого языка, реже итальянского и французского.

Моральный уровень студенчества до некоторой степени отражал общий моральный уровень страны. Коммунисты и комсомольцы обоих полов составляли примерно пятую часть общего количества студентов. Они, за редкими исключениями, считали мораль буржуазным предрассудком, и среди них процветали половая распущенность, доносы и провокации.

Около половины учащихся были девушки: коммунистки, комсомолки, немало интеллигентных. Мужчин в войнах гибнет намного больше, чем женщин, а в Гражданской потери интеллигентных мужчин были особенно велики. Большинство женщин вышли из ВУЗа честными труженицами и несли нелегкий крест врача, для женщин по ряду причин более тяжелый, чем для мужчин.

Одним из самых отвратительных явлений в истории советского студенчества в первые годы после революции был способ приема в ВУЗ женщин, не имевших командировочных удостоверений или связей и социальное происхождение которых, с большевицкой точки зрения, было сомнительным. Прием зависел от отбросов человеческого общества, которые плату за прием в ВУЗ требовали от женщин “натурой”. В здании мединститута, напротив Белого собора, у этой шайки были две специальные комнаты для “свиданий”. Женщины из-за этого уходили и

пробовали поступить в ВУЗ через год или же оставляли попытки в него попасть. Некоторым удавалось найти защитников. На условия шайки соглашались немногие.

Чистка

Советская действительность подвергала моральную устойчивость студентов непрерывным жестоким испытаниям, достигшим своего апогея во время чистки весной 1924 года, когда я был на четвертом семестре.

Чистка должна была выявить и удалить из ВУЗа политически неблагонадежных и социально чуждых. Согласно большевицкому учению все отрасли духовной и материальной жизни народа и государства должны подчиняться классовому принципу и служить только ему, даже если это в ущерб народному благу. Поэтому дети и внуки бывших офицеров, священников, торговцев, помещиков, дворян, членов небольшевицких партий, не говоря уже об участниках Белого движения, а также все, вызвавшие своими высказываниями и действиями в ВУЗе подозрение или неудовольствие ячеек, с волнением ожидали чистку, которая могла их лишить единственного для них пути в жизнь.

Чистке предшествовала основательная подготовительная работа. “Работа” в большевицком значении слова всегда означала доносы и провокации. Моего друга вызывали в комиссию по чистке и сказали, что он останется в ВУЗе, если даст обвинительный материал на пять человек, указанных поименно. В течение недели набралось громадное количество доносов. Работник ГПУ, руководивший чисткой, говорил коммунисту, бравшему у меня уроки немецкого языка:

— Мы никогда не думали, что образованные люди могут в такой мере заниматься этим грязным делом. Мы привыкли, что прислуга доносила, но что студенчество пойдет по этому пути... Это черт знает что!

Это было не “черт знает что”, а плоды системы, для которой доносы — одно из условий ее существования. Чекист, скорее всего, преувеличивал количество доносчиков и, изображая возмущение, запугивал. Продажных было меньшинство.

Учеба прекратилась почти совершенно, все говорили только о чистке, бегали по городу, по станицам и деревням доставать бумаги, документальные подтверждения об отказе от отца и матери... Кто-то, переступив границу порядочности, писал донос.

Коммунисты чувствовали себя как рыба в воде. Помилуй Бог, такой праздник доносов и морального

падения даже большевикам не так часто удавалось устраивать! Они вдруг сделались центром внимания взволнованной беспартийной черни и взирали на нее со снисходительной улыбкой олимпийцев.

В комиссию входил представитель от ГПУ студент Васильковский, по слухам, сын инженера, опустившийся тип, кокаинист, член революционной ячейки, имеющий на совести не один десяток расстрелов, вдобавок занимавшийся воровством в студенческой среде: “Васильковский пришел, смотри в оба”. Другой был студент от ячейки, чистейшее дитя большевизма, лишенный какого бы то ни было понятия о морали и этике.

Третьего не помню. От профессуры входил ректор, а иногда и кто-нибудь из профессоров, присутствие которого было чисто формальным. Он проверял только академическую успеваемость, что якобы также входило в обязанности комиссии. Я знал студентов-коммунистов, к моменту чистки не сдавших ни одного зачета, но благополучно ее прошедших.

Я ждал свой черед. Шансов на благополучное прохождение чистки было мало. Документов, что я не служил у белых, у меня не было. Подложную бумагу, выданную сербами в 1920 году, я уничтожил при переправе через Днестр. Да и была она на настоящую фамилию.

Один студент, симпатичный “хохол”, как мы его звали, большой шутник, говорил:

— Меня, безусловно, пропустят, я — столбовой дворянин: мать прачка, отец — двое рабочих... Ты что, тоже из рабочих?

— Естественно, — отвечал я.

— Смотри не говори это комиссии, а то она со смеху подохнет.

— Хорошо же ты успокаиваешь!

— А один черт, что плакать, что смеяться...

Очень тяжело переносила пытки ожидания на редкость способная студентка, дочь деревенского учителя, уже окончившая один факультет во время войны, потерявшая мужа-офицера на фронте и единственного сына во время отступления. Пробивалась она с трудом, где-то работала днем и вдобавок кому-то помогала. Она знала, что на нее донесли. Как вдову офицера, ее вычистили из ВУЗа, уволили с работы, и она куда-то уехала.

Наступила моя очередь. Профессор Струнников, проверив мою зачетную книжку, сказал, что все в порядке. Допрашивал Васильковский:

— Вы поступили в ВУЗ без командировки?

— Без.

— Ваше социальное происхождение?

— Отец — железнодорожный рабочий.

— Как же вы учились в университете, если ваш отец рабочий?

— Пробивался, давал уроки...

— Что вы делали в 1918-1920 годах? В какой армии служили?

— Ни в какой армии я не служил.

— У белых никогда?

— Никогда...

— Офицером не были?

— Нет, студент-медик не может стать офицером.

— Говорят, что в 1919 году вы были у себя дома.

Кто же об этом донес? — думаю.

— Был, — говорю, — но меня, как революционера, арестовали, а потом я вернулся обратно.

— С какими документами вы уехали и как могли белые вас выпустить? Значит, вы для них были благонадежным?

— Я же был австрийским военнопленным, уехал с эшелоном, как австрийца меня особенно не проверяли.

— А на какую территорию вы вернулись? Занятую белыми?

— Да...

Чувствую: засыпался.

— Можете идти.

Через день вывесили результаты чистки: “Считать прошедшим чистку по второй категории. Срок предъявления дополнительных документов трехдневный”. Объяснили: за три дня я должен достать свидетельство, что не служил в Белой армии. Достать я его, конечно, нигде не мог, а фальшивое могло оказаться роковым, так как их подбрасывало само ГПУ, а потом арестовывало. Положение было отчаянное. Если не предоставлю удостоверения, то меня не только исключат, а начнут копаться в моем недавнем прошлом, и тогда расстрела не избежать.

Не оставалось ничего другого, как плюнуть на все и искать помощи у упомянутого уже чекиста Шупиновича, чеха, служившего в Сербской добровольческой дивизии, который меня смутно помнил и на улице всегда здоровался. В Чека он больше не работал, спился окончательно, страдал зрительными и слуховыми галлюцинациями и числился за каким-то учреждением, продолжая быть агентом ГПУ. Года через два он мне в пьяном виде, пересыпая речь отборными ругательствами, рассказал, с каких пор у него такое состояние:

— Была у нас свадьба... Ты знаешь, что такое свадьба? Шлепка! Ну например, тебя или кого другого нужно шлепнуть. Комендант заходит в команду и говорит: “Ну, мать вашу, ребята, мне нужны три туза для свадьбы!” Дают им, понимаешь, хорошую шамовку и нюхары (кокаин. — А. Т.), еще чего, если захотят, и айда, наших нет, к... Ну и,

понимаешь, мне пришлось их шлепнуть штук пятнадцать. А последний, русский, штабс-капитан, говорит: “Ах ты сволочь, а еще чех, славянин, и расстреливаешь русских людей!”... Понимаешь, как нож в сердце, руки задрожали... но я его все-таки к... матери. Но больше не мог. Не могу и не хочу. Ну его к...

Значит, пришлось, хочешь не хочешь, искать помощи у убийцы:

— Слушай, Жора, меня вычистили!

— Откуда?

— Из ВУЗа.

— Кто?

— Да Васильковский вопросы задавал.

— Васильковский? Хромой, патлатый такой?

— Да, да, он!

— Ах ты, мать его!..

— Ты его знаешь?

— Как же, вместе в тройке работали. Такими делами заворачивали, душа вон! Пошли, я ему морду набью!

— Слушай, ты же помнишь мою фамилию, не перепутай.

— Не беспокойся, все будет на ять, как по маслу!

Зашли в канцелярию, народу порядочно. Останусь, думаю, лучше у дверей, а то он как начнет разворачивать свой лексикон!

— Здорово, Васильковский! Как живешь? Что же ты, мать твою, моего друга и товарища вычистил? Я его давно знаю и ручаюсь. Чтоб ты его сразу восстановил!

— Я же не знал. Если ручаешься, сделаем. Но напиши поручительство.

— Ну, готово! Видишь, как это у нас на ять делается? Как по маслу! Приходи ко мне, напишем.

Я пришел вечером: “Жора где-то пьет, раньше утра не жди”. На следующий день утром: “Жора не пришел”. Вечером: “Пришел как свинья пьяный и опять ушел”.

Уже третий день, срок кончается! Всех знакомых на улице спрашиваю, не видали ли Жору? Один, наконец, видел: “Он, наверное, на Красной сейчас”. Догнал его на Красной:

— Жора, я же тебя всюду ищу! Напиши, а то поздно будет!

— Ну давай бумагу!

Я заскочил в ближайший магазин (уже начинался НЭП):

— Ради Бога, дайте бумагу и чернил! У меня чистка!

Подробнее объяснять не надо было. Сразу все дали, а сами вышли на улицу, полюбоваться картинкой советской действительности.

— Где же писать?

— Да вот тут и пиши, сядем.

Сели мы на тротуар, ноги на мостовую. Час дня, вокруг народ.

— Что же писать?

— Пиши в комиссию по чистке, что меня знаешь и за меня ручаешься.

— Черт, неудобно писать!

— Пиши на моей спине.

Он начал писать, но потом заругался, неудобно... Я снял фуражку, сложил ее вдвое, положил на нее бумагу. Текст ручательства я забыл, помню лишь, что оканчивалось оно словами “чтобы его не вычистить”.

Вот так с помощью фашиста Муссолини я попал в ВУЗ, с помощью чекиста Шупиной его окончил...

Правда, за мной еще какое-то время следили, я даже знал в лицо нескольких ходивших за мной “топтунов”. Но конечно, следили как за иностранцем, участника Белого движения во мне, слава Богу, не подозревали.

Профессура Краснодарского мединститута

Преподавательский состав мединститута был довольно пестрым. Были превосходные профессора, были на некоторых кафедрах неплохие врачи с большим практическим стажем. Были и никчемные выскочки с разными заслугами перед революцией.

Ректор, профессор Мельников-Разведенков, обладал тонкими дипломатическими способностями. Он был специалистом по патологической анатомии, у него был значительный вес в научном мире и немало учеников в России. Его жизнь до известной степени была примером ученого, оставшегося у большевиков и считавшего своим долгом сохранять преемственность русской научной мысли при коммунистической власти. Многие обвиняли его в шкурничестве, измене и других грехах. Я знал его довольно близко и не могу с этим согласиться. Он мог бы, отдавая известную дань социалистическим идеям, без особых волнений доживать свой век, не особенно сталкиваясь с советской действительностью, тем более что патологическая анатомия по сравнению с другими областями науки довольно отвлеченное поле деятельности.

Он не пошел по этому пути. Считая, что русскому народу нужны врачи, причем врачи хорошие, он, пользуясь своим авторитетом, долго противостоял разрушительной работе ячейки, по заданию центра

проводившей целый ряд изменений, начиная с дальтон-плана, понижающих образовательный уровень студента. Большую славу у большевиков он приобрел благодаря участию в бальзамировании трупа Ленина. Первоначальное бальзамирование производилось под руководством харьковского профессора анатомии Воробьева. Через некоторое время на лице Ленина появились пятна. Мельникова-Разведенкова, еще до войны открывшего хороший метод консервирования патологоанатомических препаратов, вызвали в Москву, и ему посчастливилось удалить эти пятна на несколько лет.

Тогда и появилась его статья о мозге Ленина. Ему, опытному специалисту, были, разумеется, известны причины смерти Ленина, и, что еще важнее для русского народа, психопатология “вождя”. Статья Мельникова-Разведенкова — образец мастерски в большевицких условиях написанного труда о “величайшем гении всех времен и народов”. Ее следует читать с пониманием.

Деятельность его как ректора проходила в постоянной борьбе за сохранение института, который несколько раз пытались закрыть; в постоянных распрях с комсомольцами и коммунистами ячейки, контролирующими его ректорскую работу; в спорах о преимуществе старой русской системы преподавания; в отстаивании лучших и способнейших студентов при чистках; в улаживании конфликтов со старшими врачами больниц, где происходили занятия со

студентами. Все это в атмосфере, насыщенной агентами ГПУ и доносчиками. Помню скандал, разразившийся после того, как, выступая, он произнес эсеровский лозунг “В борьбе обретешь ты право свое!”, думая, что он большевицкий. Помню дискуссию по поводу предполагаемого метода групповых занятий без лекций. Коммунист, малокультурный, неуспевающий 24-летний студент развязно и временами дерзко упрекал ректора в консерватизме и дореволюционных взглядах на образовательную систему, в которую советская власть вносит новый пролетарский дух.

Профессор Савченко был совсем другого покроя. Ученый с мировым именем, национально мыслящий русский человек несокрушимой воли, ни разу не поступившийся своим мировоззрением в угоду большевицкому давлению. До конца жизни он неустанно работал над новыми открытиями. Многие из его работ остались малозамеченными, и славу его открытий присвоили иностранные авторы, как это нередко бывало с русскими учеными.

— Иван Григорьевич, сколько у вас научных работ?

— Откуда я могу знать?

Он говорил горячо и отрывисто, немного шепелявя и брызгая слюной.

— А вы бы их как-нибудь собрали.

— А где их искать? В шкафах или на столах где-нибудь валяются. Что осталось, конечно...

— Иван Григорьевич, а может, под шкафами?

— Может быть, — усмехается Иван Григорьевич.

Нас в восторг, а коммунистов в отчаяние приводили его “перлы”:

— Завтра, кажется, какой-то советский праздник? Значит, лекция будет послезавтра.

Ячейка приходила в бешенство, бегала в партком, но ничего не помогало. Такие ученые, как он, находились под защитой центра, самочинных расправ над ними еще не допускавшего.

Замечательно было чествование его по поводу вручения грамоты “заслуженного деятеля науки”. Приехали коммунисты из края, выступал секретарь облкома, и все восхваляли Ивана Григорьевича как общественного деятеля, прославившего советскую науку. Ответное слово профессора одни ожидали с тревогой, большинство же с затаенной радостью:

— Вот тут говорят, что я общественный работник. Чепуха, конечно (его любимое выражение). Именно потому, что я болтовней не занимался, я чего-то достиг. Я работаю. И всю жизнь работал.

В таком тоне была вся его речь. По окончании чествования предложили отвезти его домой на казенном извозчике.

— Не нужно, пешком дойду. Всю жизнь пешком ходил.

Через несколько лет он скоропостижно скончался. Утром был здоров, жизнерадостен, говорил о своих работах. Вечером его не стало.

Часть профессуры из так называемой красной, то есть людей, получивших это звание не за научные заслуги, а за прислуживание советской власти, выражавшееся в подделывании под вкусы коммунистов, угодничестве, иногда в доносах, вела себя отвратительно: якшалась и браталась с членами студкома, бюро и ячейки, подписывала им зачеты без экзамена или задавала самые легкие, зачастую заранее подсказанные вопросы.

Особенно отличался профессор А., сын почтенного харьковского профессора. Я работал студентом-практикантом в его клинике и однажды невольно слышал его разговор с работником ГПУ. Он бесстыдно, как последний сексот, доносил на врача, которого почему-то ненавидел:

— Контрреволюционер, он выражается так-то и так-то о советской власти, недоброжелательно относится

к пациентам-коммунистам, лечит их хуже, чем других...

Один душевнобольной в психиатрическом отделении оказался бывшим офицером. ГПУ во что бы то ни стало хотело его расстрелять. Для создания видимых формальностей заседала врачебная комиссия, председателем которой был назначен профессор А., получивший от ГПУ соответствующие указания. Авторитетный лечащий врач и другой член комиссии выразили мнение, не соответствующее желанию ГПУ. Профессор А. пригрозил:

— Я вас заставлю подписаться под моим заключением!

Один из членов комиссии, зная, что может за этим последовать, подписал. Душевнобольного расстреляли.

Многие, не обладавшие известностью и не желавшие подвергаться репрессиям, служили и работали тихо и сторонились всяких искушений.

“Двигатели науки”

В каком положении была научная мысль института? Старые профессора, за исключением одного или двух, продолжали работать и творить, как и раньше. Но

вдруг повеял еще один советский дух. Советскую науку объявили “самой передовой в мире”, и началось поветрие на “научные работы”. “Писать работы” превратилось в нарицательное понятие. На митингах, в постановлениях профсоюзных собраний — повсюду кричали о необходимости “двигать науку”: к такому-то числу или по плану на следующий год написать столько-то научных работ. О качестве медицинского работника стали судить по количеству его “научных работ”. Такие “работы” должен был иметь каждый мало-мальски уважающий себя ординатор и ассистент, не говоря уже о профессорах.

К этому психозу прибавилась еще мания печатать работы в иностранных, главным образом немецких, журналах. Большинство работ краснодарской красной профессуры в течение ряда лет переводил я. Сплошные фальсификаты, списывание, компиляция... Например, при определенной заразной болезни появляются известные патологические изменения в кровеносных сосудах — явление, давно и не раз исчерпывающе описанное. О происхождении его есть два противоположных мнения. Наш корифей описал один случай и вынес о происхождении явления “заключение”: “Некоторые авторы по этому поводу придерживаются такого мнения, а другие — противоположного. А я считаю, что это может происходить и так, и так”. Мы прозвали его “профессор Итакитак”.

Другой написал работу по поводу одной операции. Полученный для перевода текст показался мне знакомым. Отыскав в библиотеке первоисточники, я увидел, что его “изобретение” укладывалось в 10-15 строк.

Профессор Б. просил помочь ему в переводе нескольких глав из полученных заграничных книг. Он делал выписки. Затем сказал, потирая руки:

— Чем мы хуже других? Н. написал за год шесть работ, а я только три. Я знаю, откуда он их почти полностью переписал. Придется и мне так.

Рекорд в советской науке побили притащившие Маркса в клинику. До тех пор мы не знали, что успехи в науке стали возможны только после введения диалектического метода мышления. Психиатр О-ий, кстати, весьма одаренный и талантливый профессор, разъяснил нам это, опубликовав книгу “Марксизм и психиатрия”.

Советский врач

Под звуки Интернационала я в 1927 году получил диплом врача. Молодые врачи разбрелись по всему СССР. Стипендиаты должны были “стипендиальные годы” отслужить в Кубанской области. Устроиться в клиниках беспартийным было почти нельзя, а через

год-два и вовсе невозможно. Большевики задались целью создать свою красную профессуру. Поэтому была организована красная аспирантура из коммунистов и комсомольцев. Если и проскальзывали в нее беспартийные, то только тщательно проверенные, с заслугами перед революцией. Стало быть, и наука стала служанкой классового принципа.

В октябре 1927 года я занял должность второго врача районной больницы в Приморско-Ахтарской, большой станице, полугороде-полудеревне, до войны насчитывавшей до двенадцати тысяч жителей. Переехал туда с женой и сыном.

Расположенная на плодородной земле, еще с греческих времен славившаяся превосходной экспортной пшеницей, на берегу Азовского моря, в двух верстах от лимана, куда приходила знаменитая красная рыба с черной икрой, станица до войны богатела и приобретала все большее торговое значение. В ней было также несколько заводов. Это было самой природой созданное опытное поле для наблюдения за экспериментами, проводившимися большевиками в обществе и разных областях хозяйства.

Закат НЭПа

Я окончил мединститут на закате НЭПа. Это был период советской власти между военным коммунизмом и первой пятилеткой. Еще правильнее было бы назвать его передышкой между двумя голодовками.

В области аграрных отношений НЭП в коммунистической политике — это шаг назад к земельной частной собственности, это возврат земли крестьянам. Крестьянство поразительно быстро оправилось, зажило довольно хорошо и успокоилось, не думая о том, что советскую власть необходимо устранить и избрать другую. Неудовольствия остались главным образом на религиозной и национальной почве. Средние и мелкие предприятия были переданы в аренду частным лицам, торговля и промышленность были восстановлены. Часть крупных предприятий сдана в аренду иностранным концессионерам.

Необходимость введения НЭПа вытекала из боязни всеобщего восстания, особенно опасного в то время, когда орудия физического воздействия, сосредоточенные в государственных руках, еще не были такими надежными, как впоследствии. А также из рассуждения, что голодную корову нельзя без конца доить, в особенности если ей предстоят пятилетние эксперименты.

И в то время как большевики непрерывно вели подкоп под моральные и духовные устои русского народа, крестьяне копили богатства, не догадываясь, что в самом близком будущем им грозит гибель.

В районе насчитывалось 30 000 жителей, среди которых преобладали земледельцы, а в некоторых хуторах — животноводы. Население было русское, половина казаки, половина иногородние, пришлые и казачьих прав не имевшие. В 1913 году из порта Приморско-Ахтарской было отправлено за границу 12 миллионов пудов хлеба. Ко времени нашего приезда станица, по словам жителей, была уже в запущенном состоянии. Общественные здания давно не ремонтировались, из многочисленных громадных амбаров для ссыпки зерна осталось два. Другие были разобраны “по винтику, по кирпичику”, как пелось тогда в популярной уличной песенке. Коммерческое училище, которое начал строить один из удивительных русских купцов, сделавших так много для науки и искусства, большевики не закончили.

Много еще было теневых сторон, о которых можно было бы рассказать, если бы впереди не было черной ночи коллективизации и первой пятилетки.

Интеллигенция

В последующие годы я познакомился в районе с несколькими людьми, скрывшими свою первоначальную профессию и ставшими рабочими на заводах, рыбаками, земледельцами. Это были два учителя, присяжный поверенный, преподаватель истории и географии, агроном и два бывших судьи.

Одни из них скрыли свою специальность в самом начале революции, другие позже, увидев, что работа, которую требовали от них большевики, бессмысленна и вредна. Советскую власть они ненавидели. Одни из них были всегда готовы взяться за оружие и ждали “весны”, когда начинались разговоры об интервенции или десанте врангелевской армии. Двое потеряли всякую надежду и спились. Самыми несчастными из этих людей были старики, неспособные работать и жившие милостыней.

Среди учителей немногие продали душу большевикам. У нас в районе был только один тайный агент ГПУ и две агентши-учительницы, жены коммунистов. Один из преподавателей школы второй ступени, из левой дореволюционной интеллигенции, выступал на антирелигиозные темы. Он и до большевиков был атеистом, и выступления эти, очевидно, больших угрызений совести у него не вызывали.

Среди так называемых спецов — инженеров, техников, агрономов, врачей и бухгалтеров — коммунистов в 1927 году в районе было, по моим подсчетам, двое. В беспартийную гущу интеллигенции, основательно ее разжижая, новая красная интеллигенция стала проникать уже после 1930 года. Остатки старой интеллигенции, среди которой были и люди, в 1917 году с радостью встретившие революцию, сегодня объединяла ненависть к советской власти.

Однажды мы, человек десять, праздновали день рождения. Среди нас был старый красный партизан, агент ГПУ. Когда было уже немало выпито, мы вызвали его на откровенность. Он сказал:

— Мы очень хорошо знаем, чем вы дышите и что все вы контрреволюционеры. Нам только надо знать, кто из вас послабее, а кто способен на что-нибудь такое-сякое...

И он жестами и обрывками пьяных фраз объяснил: на вредительство, на создание организации, на агитацию.

— Мы вас терпим, пока вы нам нужны. А как только наши спецы вас заменят, тогда мы вас... Только вы, братва, не того...

— Не беспокойся, молчим как рыба.

Моральный уровень был не у всех одинаков. Одни шли на компромиссы с властью иногда больше, чем

от них требовали. Другие держались в тени и делали только свое дело. Многого зависело, как всегда у людей, от характера, от культурного уровня, от национального чувства, от обремененности семьей, от личного прошлого, от людей, знавших об этом прошлом, от рода занятий и возможности держаться подальше от большевицких экспериментов, от умения ладить с коммунистами, что, главным образом, сводилось к умению с ними жить.

К интеллигенции причисляли и счетных работников. Часть из них относилась к категории специалистов. А мы все были в рубрике новой касты “служащих”, что на одну ступень выше лишенцев. Понятие “интеллигенция” в дореволюционном смысле все больше пролетаризировалось. Рабочих и служащих разделяли экономические и политические выгоды в пользу рабочих. Приходит на амбулаторный прием почище одетый пациент, спрашиваешь:

— Служащий?

И следует испуганный или слегка возмущенный ответ:

— Я рабочий!

На курортных, инвалидных и других, связанных с материальной выгодой, комиссиях всегда бравировали словом “рабочий”. Рабочих всюду были

обязаны обслуживать в первую очередь: “Сначала рабочие, потом служащие”.

В гуще бесчисленных служащих, бывших мелких и средних чиновников были самые различные люди. С одной стороны, опустившиеся, спившиеся, агенты, предатели, провокаторы. С другой — честные, скрывавшие свое прошлое и довольные, что их никто не трогает.

Были ли интеллигенты, от души преданные советской власти? Были, но по пальцам перечесть. Да и не всегда можно было точно определить, в действительности ли он предан или умело симулирует.

При любой власти есть оппортунисты, становящиеся опорой режима. Но мне приходилось неоднократно беседовать и с людьми, искренне преданными советской власти. Их доводы сводились к тому, что большевики якобы спасли Россию от колонизации иностранцами, разрешили национальный и аграрный вопросы и что только они способны управлять страной. После побоища, устроенного большевиками в стране, большинство из них, вероятно, изменило свое мнение.

В 1929 году в наш район приехал Белоусов, бывший екатеринодарский адвокат и эсер, наживший в свое время немалое богатство на помощи голодающим, видный антирелигиозный деятель, постоянный

общественный обвинитель на судебных процессах против духовенства и интеллигенции. На общепрофсоюзном собрании в зале кино он говорил о начинающейся пятилетке и часть доклада посвятил советской интеллигенции. Поводом послужило следующее. Умерла наша акушерка, пожилая, всю свою жизнь проработавшая на этом поприще. Она завещала похоронить себя по церковному обряду. Возникли затруднения: союз Медсантруд в этом случае не мог присутствовать на похоронах, не говоря уже о выдаче мужу пособия на погребение. Мы решили пойти на компромисс: во время отпевания все врачи и медицинские работники ждали с красным флагом за углом, а затем проводили ее без священника на кладбище. Вдобавок мы в знак траура вывесили на больнице красный флаг с траурной лентой. Неприятностей у нас за это было немало:

— Вас, товарищи, надо еще учить и учить политграмоте, что бы вы могли понять пролетарскую постановку!

— Какую еще “постановку”?

— Революция никак не пострадала оттого, что умерла ваша акушерка, к тому же оказавшаяся чуждым элементом.

Нам разъяснили, что красный флаг с траурной лентой вывешивается только по поводу смерти революционных вождей. Это, действительно, была ошибка, ибо заслуги вождей измеряются количеством отправленных на тот свет, акушерка же двадцать пять

или тридцать лет помогала появляться на этот свет! И вдруг обоим одинаковая честь!

Белоусов обрушился на нас, как на очаг гнилой интеллигенции, которая служит и Богу, и черту. А затем дал характеристику советским интеллигентам, разделив их на три категории: энтузиастов, примазавшихся, тайных и явных контрреволюционеров, саботажников и вредителей:

— Энтузиасты — это часть интеллигенции, добросовестно служащая советской власти, старающаяся ей помочь во всех ее мероприятиях.

Примазавшиеся — те, кто под видом активизма, выступлений на собраниях, нередко путем доносов стараются втереть очки. Они служат нам только ради собственного благополучия и сохранения собственной жизни. Самое уважаемое ими учреждение — ГПУ. Если бы ГПУ не стало, они бы обратились против нас.

К третьей категории относится та часть старой интеллигенции, которую мы еще не вывели в расход и терпим только потому, что она нам временно нужна.

Сильна ли первая категория и преобладает ли она численно по сравнению с двумя другими? На сегодняшний день (специфическое советское заклинание, в одном из докладов повторенное 56 раз) мы должны констатировать, что их меньшинство”.

Это меньшинство, “энтузиасты”, тогда в 1929 году верили в эволюцию советской власти. Кроме того, часть из них была поставлена большевиками в сносные, по сравнению с другими слоями общества, условия. В качестве ученых, музейных работников и других специалистов они сузили свое поле зрения до микроба в микроскопе или древней статуэтки из кургана и забыли про Россию. Бывшим революционерам и либералам под красным флагом и не надо было ее забывать: им, с детства воспитанным безнационально, Россия была всегда безразлична.

В категории “примазавшихся”, кроме людей, которым некуда было деваться, скрывавшихся офицеров или интеллигентов с ненужными сегодня профессиями, вдов убитых и умерших на войне, скопилось все темное наследие российского прошлого. Из среды “примазавшихся” вышла целая армия доносчиков. Она была нужна советской власти для провокаций, инсценировки вредительских процессов, вскрытия подпольных организаций. От пьяных или больных чекистов и коммунистов мне случалось слышать слова презрения к этим людям, продавшим душу за хлебную карточку, отрез мануфактуры. Когда во время коллективизации им пришлось голодать, то и они начали роптать на советскую власть. Не открыто, конечно. Большевики их вылавливали и уничтожали беспощадно.

Третья категория — национально мыслящая русская интеллигенция. Новая, возрождающаяся, но до 1914 года еще не окрепшая, освободившаяся от пут антинациональных и антигосударственных идей и ставшая на национальный эволюционный путь, ищущая единения государственных и общественных начал.

Мы встречались с этими людьми в первые годы после революции, как с носителями Белой идеи. “Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля”. Но тот, кто вернулся, Белой идее не изменил. Шестерых таких людей я знал в нашей станице. А скольких встречал во время студенческих лет и позже в далеком Таджикистане! В плохой крестьянской или рабочей одежде они выполняли любую работу, переходили границы, участвовали в восстаниях, всегда ко всему готовые, с вечной надеждой на освобождение Родины. А те, кто был на службе, не продавали своей совести, помогали людям, где только могли, часто в ущерб себе, были моральной опорой для слабых духом, светочами религиозно-национальной русской мысли. В страшные годы пятилетки количество их резко увеличилось. Люди изменились, стали национально мыслить. Многие погибли в тюремных подвалах, в ссылках, в лагерях Севера. Те же, кто пользовался всемирной известностью, были в постоянной полуоткрытой оппозиции к власти. Большевики всеми силами, но тщетно, старались привлечь их на свою сторону.

Один из них, великий русский ученый посвятил книгу сыну, написав “Святой памяти сына моего М.” В Госиздате испугались слова “святой”, предложили изменить на “светлой”. Ученый пригрозил, что опубликует свой труд за границей. В другой книге он поставил эпиграф: “И взял Он крест на плечи свои”. Крест привел большевиков в панику, и они предложили заменить его на “знамя”. Непоколебимость ученого заставила их пойти на уступки. “Антихристы, креста боятся”, — гневно говорил ученый друзьям.

Все это сразу становилось известным, радовало и укрепляло дух.

Партийная чистка

Перед самым началом коллективизации коммунистическое руководство провело чистку партии, чтобы исключить тех, кого считало малопригодными для участия в еще одних предстоящих насилиях над народом, а других запугать и привести к беспрекословному повиновению.

Комиссии по чистке назначались по иерархической лестнице: районные — облкомом или крайкомом, а те — центром. Чистка проходила в клубе или по ячейкам. Порядок был такой: председатель комиссии

вызывает члена партии на эстраду и тот называет место своей работы, сообщает стаж своего физического труда, партийный стаж и номер партийного билета, который обязан знать наизусть. Затем излагает биографию. После этого присутствующие могут задавать, устно или письменно, вопросы через председателя, который их разрешает или отвергает. Допускаются выступления, характеризующие человека как партийного и советского работника.

Первыми, за неимением в нашем районе отдельной комиссии, чистили военных. Вместе с ними “чистили” и начальника ГПУ, за что комиссия потом получила нагоняй: работников ГПУ в то время чистили уже совсем иным порядком.

Итак, на эстраде начальник ГПУ, бывший работник мануфактурной лавки. Ему даже предложили сесть. После рассказа о себе можно было задавать вопросы. Но никто не решается. Потом несколько вопросов задал бывший красный партизан. Комиссия пояснила, что начальник ГПУ отвечать не обязан, на что он одобрительно кивнул головой. Затем кто-то из задних рядов крикнул:

— А почему ваша жена красит губы?

— Губная помада продается в советских магазинах, поэтому ею можно пользоваться. Советская власть знает, что делает.

Ясно, против советской власти “не попрешь”, но все понимают, почему задан вопрос: жена начальника ГПУ “социально чуждый элемент”, ее отец бывший торговец — лишенец.

Следующий вопрос уже ближе к делу:

— Какого социального происхождения ваша жена?

Все поворачиваются в сторону смельчака. Отвечает председатель:

— Мы чистим товарища Х., а не его жену. Задавайте вопросы по партийной и советской работе.

Молчание.

— Считать прошедшим чистку.

Выходит “комэск”, командир эскадрона, размещенного в районном центре. Донской казак, окончил новочеркасское юнкерское училище, участвовал в Гражданской войне на стороне красных. Несколько человек высказываются в его пользу.

Затем выступает его подчиненный, младший командир:

— А что с оставшимся сахаром? После того как вы его роздали, оставался еще пуд.

Комэск смущается, и между ними идет спор и пересчет сахара. Председатель комиссии:

— А все-таки пуда не хватает. Может быть, вы оставили его себе?

— Да, товарищ председатель, полпуда я оставил себе, а полпуда роздал.

— Кому?

— Позвольте не отвечать.

Председатель позволяет. Он понимает, куда ушла вторая половина. Однако представление только начинается:

— Правда ли, что эскадронам командуете не вы, а ваша жена?

— Правда ли, что ваша жена пользуется красноармейцами для личных услуг?

— Правда ли, что ваша жена в ваше отсутствие устраивает вечеринки с гитарой и водкой?

Председатель комиссии призывает к порядку, публика шумит, смеется. Поднимается “партейка с портфелем”:

— Товарищи, это пример мелкобуржуазного элемента и разложившегося типа!..

Комэск и предкомиссии протестуют. Но большинство хохочет и подзадоривает “партейку”. Она продолжает:

— Для работы среди женщин-батрачек под моим председательством была назначена комиссия, членом которой была жена товарища комэска. Товарищ комэск дал нам тачанку. Я хотела сесть, а жена комэска меня как толканет! И говорит: сяду первая, я жена комэска! А ведь я была председателем комиссии! Этот случай характеризует жену...

Дальше в хохоте ничего не разобрать.

— Принимая во внимание заслуги комэска в Гражданскую войну, хорошую постановку дела в эскадроне, считать прошедшим чистку с обязательством исправить ошибки.

Следующим проходит чистку его командир взвода. Изложение биографии характерно для всех проходящих чистку коммунистов. В частной жизни власть предержащие старались создать впечатление, что они тоже “из бывших”. Лгали, что учились, но по тем или иным причинам не окончили. Или окончили, но документы пропали в годы Гражданской войны. На чистке же каждый из них доказывал свое сугубо пролетарское происхождение, подчеркивая это упрощенной речью и жестикуляцией. Присутствовавшим в зале “гражданочкам” командир взвода рассказывал, что окончил четыре класса гимназии и что его мамаша незаконная дочь офицера, может быть, даже генерала. На чистке же он утверждал:

— Товарищи, я сын самих что ни на есть пролетариев... Мой отец всю жизнь батрачил, а мать работала прачкой. С шести лет я уже был пастухом. Вы знаете, что это за труд: дождь, холод. Да еще отец избивал.

Тут он спохватился, что батраку-отцу стадо и пастух вроде бы не по чину, и поправился:

— Собственно говоря, настоящим пастухом я стал через год у хозяина.

Никто не замечает, что и в семилетнем возрасте он не мог быть “настоящим пастухом”. Речь, подделываясь под народный лад, он сопровождает жестикуляцией, изображая, не то как навоз кидал, не то как корову за хвост дергал. Его девицы, сидевшие передо мной, покатывались со смеху.

Секретарь райкома — самая большая “шишка” в районе. Коммунист-политэмигрант. Жена — дочь богатого нотариуса из Петрограда. В автобиографии иностранные фамилии, европейские города, Швейцария, нелегальные переходы границ, подпольная литература... После революции работа в карательных органах. О боевых заслугах в Гражданскую войну ни слова. Он относился к своим подчиненным, выполнявшим его директивы, похамски и был диктатором, как и подобало секретарю райкома партии, назначенному обкомом. Его

ненавидели сами коммунисты, но выступать боялись. Зато несколько натравленных ими рабочих, а также комсомольцев-идеалистов за него взялись. За неделю до чистки он выгнал из своего кабинета секретаря комсомольской ячейки: “Вон отсюда, мать твою, знай, с кем разговариваешь!”

— Вот, товарищи, какой пример пролетарской идеологии подает нам наш товарищ Х. Его жена приходит в кооператив после закрытия и берет любое в любом количестве, но сама не несет, куда такой барыне? Все в закрытой корзине несет прислуга. Прислуга ей и ночные горшки выносит!

За прислугу и за горшки ему попало дважды:

— Теперь, когда даже среди беспартийных спецов ни у кого нет больше прислуги, товарищ Х. не может без нее. Товарищ секретарь говорит, что его отец был служащим. А может, фабрикантом или золотом торговал? Его барыне в сортир, видите ли, слишком далеко. Его барыня кричит на прислугу так, что слышно в райкоме и на улице на радость беспартийных масс.

Чистили его больше двух часов. Последними выступили назначенные заранее райкомом партийцы, которые и произнесли речи в его защиту:

— Считать прошедшим чистку.

Предрыбкоопа (председатель рыбацкого кооператива) начал свою карьеру конюхом, затем стал служащим какого-то учреждения, потом в течение года был судьей в Приморско-Ахтарской, после чего партия его благословила управлять рыбаками. Под видом кооператива подготавливалась почва для рыбколхоза, что вызвало недовольство рыбаков. Они должны были сдавать всю рыбу по грошовой цене. Та же рыба продавалась в потребкоопе в пять-шесть раз дороже, а лучшая шла для рабочего снабжения или на экспорт. Заведующий рыбкоопа снабжал весь райком и исполком краденными балыками и икрой, устраивал постоянные пьянки. Вопросы сыпались:

— Какая зарплата у товарища Л., что он может каждый день устраивать пьянки? Одна такая гулянка стоит двух месячных зарплат!

— А куда товарищ Л. и товарищ Б. такого-то числа несли четыре больших балыка? Откуда они их взяли?

Председатель комиссии пытался отводить такие вопросы, призывал публику задавать вопросы “по существу” и сам их задавал:

— Расскажите, товарищ Л., как вы провели кампанию по распространению займа?

Товарищ Л. долго говорит о мобилизации и расстановке сил. Но снова врываются вопросы о грубом отношении к женам рыбаков, обращавшихся за пособиями и продуктами. А предком спрашивает:

— Как вы провели кампанию по борьбе с утечкой рыбы?

На вопросы рыбаков Л. отвечает вызывающе, зная, что серая беспартийная скотина ему не опасна.

— А помните, когда комиссия проверяла вашу бухгалтерию, была установлена недостача в 35 000 рублей? И вы отказались сообщить, куда эта сумма делась... Может, теперь скажете?

— На этот вопрос я могу ответить только в бюро обкома.

Все знали, что 25% местных доходов шло на нужды райкома, который в этих суммах отчитывался только перед высшими партийными органами. Такие вопросы можно было задавать только до начала коллективизации. Предрыбкоопа чистку прошел благополучно.

Завмельницей в партию вступил, работая конюхом райисполкома. Малограмотный. Директором мельницы, то есть ответработником стал “по линии выдвижения”. Повысившись чином, бросил жену с малым ребенком, заразив ее предварительно гонореей. Лечил я и его, и ее.

Белой муки для населения уже несколько лет не было, завмельницей же снабжал ею всех высоких партийцев. Видели, как он вечером вез два мешка в

райком. Выступали, возмущались. Он же был спокоен и почти не отвечал. Комиссия отложила результат чистки до получения “дополнительных данных”. Через несколько дней сообщили, что чистку он прошел.

Предстансовета одной из станиц района упрекали в том, что у него нет необходимого “нюха” (то есть качеств легавой собаки) при вылавливании кулаков, что он с ними спокойно разговаривает и даже выпивает:

— Вообще уже не раз отмечалось, что он якшается с беспартийными, и это ему уже ставилось на вид райкомом.

— Сможет ли партия терпеть в своих рядах партийца, который самые важные мероприятия партии и советской власти не может выполнять на 100 процентов?

Возмущались тем, что он проглядел кулака, успевшего распродать имущество и уехать, что другого кулака раскулачили только по указу районных органов. Последние два обвинения были самыми тяжелыми. Ввиду прежних заслуг его не вычистили, а оставили в партии условно сроком на один год.

Был еще один партиец, не помню, где служивший. На него посыпались обвинения из-за его 14-летнего сына, попавшего под влияние своей религиозной тетки.

Отец не уследил: активный коммунист дома бывает редко. Его жена, общественная работница, тоже не могла уделять время такому мелкобуржуазному делу, как семья. И произошло нечто ужасное: его сына не только заметили в церкви, но даже выследили, как он носил святить куличи.

Мы с друзьями сделали выводы, подтверждавшие то, что уже знали. При чистке моральные качества человека роли не играли. Для партии важнее всего, чтобы он был беспрекословным ее орудием. Чистка еще раз проиллюстрировала, что все виды советской власти, включая суд, — функции коммунистической партии. Все органы советской власти от низовых до всесоюзных назначаются и устраняются партией. Партия жалуется, партия и казнит.

Чистка должна была показать, что в партии существует строгая иерархическая лестница и конспирация, секретность, сквозь которую не проникнуть рядовому коммунисту, что партийцам надо забыть мечты о внутрипартийной демократии, не говоря уже о “воле народа”. Времена, когда деревенский митинг мог объявить фельдшера врачом, “потому как народ теперь все может”, бесследно отошли в прошлое. Чистка понадобилась не для выявления контрреволюционеров или чуждых элементов. Их выявляет ГПУ, накапливающее агентурные сведения о каждом советском гражданине. Она была нужна для усиления среди членов партии атмосферы неуверенности,

сервильности и страха, для поощрения системы сыска и доноса, осознания полной своей зависимости от засекреченного бесконтрольного верховодства. Она показала, что партия никогда не даст своим членам ни минуты на отдых и размышления, будет их постоянно дергать, нередко сознательно загружая впустую. Характерными были также обвинения в “якшании с беспартийными”. Руководство панически боялось дружеских, человеческих отношений партийцев с народом. Дело члена партии — приказывать, обязанность беспартийной рабсилы — подчиняться. Чистка выявила нравы правящего класса, и за отсутствием иных развлечений люди ее приняли почти только с этой стороны. Полосканье грязного белья на глазах честного народа свойственно социальному дну, из которого произошла диктатура. Холопская покорность и взаимная жестокость, отсутствие даже следов культуры, забота только о своем материальном благополучии, хотя бы на трупах отца и матери. Отвратительная смесь кабака, каторги и Растеряевой улицы!

Советский суд

Чрезвычайно характерной для коммунистического режима была чистка одной “судьихи”. Она была дочерью мелкого торговца из Ейска, то есть происхождения “подмоченного”. Выступавшие партийцы обвиняли ее в мягкотелости при вынесении

приговоров социально чуждым элементам, в частности одному кулаку, что считалось “правым уклоном”, поскольку советский суд — революционно-политический орган.

Она оправдывалась тем, что всегда работает по директивам партии, но признавала, что в последнем случае, действительно, приговор был слишком мягким: она не учла политическую обстановку данного этапа и обязуется впредь таких ошибок не делать.

С судьей Вениаминовым я познакомился в первые же дни моей врачебной деятельности в Приморско-Ахтарской. Играли в карты у новых знакомых. С нами был человек, к которому хозяин, бывший судебный деятель, обращался с некоторым страхопочитанием, но внешний вид и поведение которого производили странное впечатление. Правда, к таким фигурам мы уже привыкли: какой-нибудь коммунист, думаю. Во время игры я заметил спрятанную у него в рукаве карту. Хозяин, поймав мой недоуменный взгляд, сделал знак, чтобы я молчал. Это был вновь назначенный судья.

Через какое-то время мне во время работы в больнице передали записку с приглашением немедленно явиться в суд. Это не ГПУ, в суд меня вызывали только как лечащего врача или эксперта. Принял меня судья:

— Знаете, доктор, у меня и у моей семьи всю ночь были упражнения. И мы так больны сегодня, что черт знает как.

Сперва я подумал, что он говорит о каких-то незнакомых мне обрядах. Но выяснилось, что дело было не в упражнениях, а в испражнениях.

Однажды я получил от него служебную записку в двадцать строк, по которой нетрудно было установить, насколько он малограмотен.

Как-то мне пришлось производить судебно-медицинское вскрытие. Ввиду важности дела присутствовал Вениаминов. Но не как судья, а как следователь, должность которого он по совместительству исполнял полтора месяца. В самом начале большевики допускали подобное совмещение на короткий срок. Затем маскировку отбросили и функции судьи и следователя в руках одного и того же человека стали объединять на несколько месяцев. На мои разъяснения во время вскрытия он реагировал глубокомысленными кивками, а затем объявил, что “эту чепуху” (судебную медицину) он тоже изучал: “На курсах ее читали целых шесть часов”. При этом он мне популярно разъяснил, что работа судей теперь намного легче, чем до революции:

— В старое время судьи должны были знать разные параграфы и всякую чепуху. А теперь я посмотрю на графу социального происхождения и на морду. Если

вижу, что наш брат, сужу его со всякими “принимая во внимание”. А если чуждый элемент, то душа с него вон! Кроме того, мы же каждую неделю получаем директивы и, если от них ни на шаг, то все в порядке.

Через год партия отозвала Вениаминова и назначила председателем не то хлебсоюза, не то зернотреста, точно не помню. Это был еще один пример примитивности и безысходности советской действительности.

Дело “народного лекаря”

После Вениаминова судьей к нам был назначен бывший столяр, неплохой человек. С ним мы жили довольно дружно, и в конце его деятельности мне пришлось выступать общественным обвинителем на процессе, о котором стоит рассказать.

В Приморско-Ахтарской жил слесарь, занимавшийся также лечением. Во время войны он подал в военное ведомство проекты, в число которых входил безотказный способ уничтожения немецких подводных лодок. Проекты, о чем вспоминал один наш старый врач, были переданы врачебной комиссии, определившей, что они составлены психически ненормальным, но неопасным для окружающих человеком из так называемых

“пограничных” (по-видимому, шизоидов). Тогда на этом дело и закончилось.

Во время революции его больная фантазия вышла из берегов законного ограничения, о чем свидетельствовали имевшиеся при деле документы: безграмотные, напечатанные золотым шрифтом объявления 1917-1918 годов, где утверждалось, что народный лекарь Х. безошибочно определяет и с гарантией излечивает болезни, которые врачи лечить не умеют. Следовал перечень болезней. В других объявлениях, рассылаемых в разные города, говорилось об аппарате, изобретенном им, народным лекарем, для излечения гонореи, и о приборе, измеряющем внутреннее давление человека. Имелась целая кипа благодарственных грамот, где в заранее напечатанный текст вписывалась фамилия “благодарного”. Из дела следовало, что он посылал проекты своих изобретений в Москву, где они путешествовали из одного учреждения в другое.

Драматический оборот дело приняло в 1925 году, когда областной здравотдел подал в суд на Х. за публичное оскорбление и дискредитацию больницы и врачей, а также за знахарство, запрещенное как не соответствующее советской медицинской науке. Судьей оказался его пациент по части “аппаратов”, который только под нажимом райкома осудил Х. на короткий срок условно. В это время и началась переписка с Москвой, которая несколько раз возвращала его жалобы.

Тогда Х. написал длинное письмо “самому” Калинин, где говорил о своих изобретениях, таланте, превосходстве его народной медицины над буржуазной, о его мученичестве за народное дело. Калинин немедленно учуял в нем родную душу, что и запечатлел в гневной, с восклицательными знаками, приложенной к делу резолюции: “Таким людям нужно открыть дорогу! Дать возможность приобрести звание врача!”

С резолюцией Калинина бумаги пошли в облздравотдел, проделали этот путь несколько раз, все увеличиваясь в объеме, пока в 1929 году не попали в руки одного из организаторов советского здравоохранения Н.А. Семашко, который все понял и написал: “Отдать под суд!” Я должен был в этом суде участвовать как врач и представитель нашей больницы. Дело толщиной в четверть метра на какое-то время попало мне в руки, и я немало наслаждался изучением примера советской действительности.

Знахарь, вдобавок ко всему, судился и за неправильное и незаконное лечение одного рыбака от сифилиса, результатом которого были третичные явления болезни с западением носа. Выявилось также, что “народный лекарь” беспрерывно вымогал у больных деньги и продукты.

На суде я спросил знахаря, почему он не воспользовался предложением товарища Калинина присвоить ему звание врача? Он ответил:

— Такого позорного звания я носить не желаю!

Его сослали на пять лет с запрещением после этого в течение трех лет возвращаться в Кубанскую область.

В порядке “выдвижения” какое-то время судьей была у нас упоминавшаяся уже “партейка с портфелем”, “женорганизаторша”. Она постоянно у нас лечилась. С ней я охотно беседовал: больничная обстановка располагала ее к некоторой откровенности. Она, например, объяснила мне, что такое “революционная совесть”:

— Если вы помните, я выезжала на прошлой неделе. Проходила мобилизация тары, и я судила одного кулака, обвиненного в укрывательстве двух мешков. Учитывая политический момент — начатую советской властью борьбу с зажиточным крестьянством, подкулачниками — я осудила его на два года с поражением прав на три года. В тот же день и в той же станице я вынесла совсем другой приговор батраку, который судился за кражу общественного имущества со взломом. Он получил два месяца тюрьмы и год условно. Когда выйду из больницы, у меня будет дело по обвинению маломочного середняка в укрывательстве тары: он спрятал

несколько мешков. Кроме того, он и другим помогал прятать!

— Сколько же вы ему дадите?

— Еще не знаю, какая будет политическая обстановка и какие получу директивы. Сегодня я дала бы ему примерно полгода и два года условно.

На судебных заседаниях мне приходилось бывать нередко и я познакомился с большим количеством материала, из которого следовало, что советское судопроизводство особой специализации не требует — на эту должность может быть назначен почти любой партиец, даже неграмотный.

Подобно тому как законодательная и исполнительная власть, до революции строго разделенные, сегодня находились в одних руках, в одних руках находилось и расследование, и обвинение, и суд. Все это — функции коммунистической партии. Вопрос, может ли быть в СССР прокурором или судьей беспартийный, у советского гражданина вызовет лишь улыбку. В СССР нет звания судьи, есть только его должность.

Все “нарсудьи”, то есть громадное большинство судей, выносивших приговоры народу, в первую очередь крестьянству, — люди необразованные, малокультурные, лишённые моральных устоев. Судью, который вздумал бы проявить какие-то человеческие чувства и допустить хоть малейшее

послабление советской карательной системы, партия немедленно бы сняла и не раз снимала с должности.

Хулиганство

Нет ничего удивительного, что в государстве, где правящий класс лишен любых религиозно-моральных принципов, вспыхивали настоящие эпидемии хулиганства. Борьба с хулиганством серьезно не велась, и уголовные преступники, в отличие от “политических”, чувствовали себя в тюрьме чуть ли не как в доме отдыха. Хулиганство тоже рассматривалось с политической и классовой точки зрения. Если хулиган принадлежал к “социально чуждому элементу”, то в приговоре преобладали фразы: “вылазка классового врага”, “разложившийся социально чуждый элемент”, “плесень пережитков буржуазного строя”.

Врачи и медицинский персонал могли бы написать тома о “хамодержавии”, будучи или его жертвами, или свидетелями. Приведу лишь несколько характерных примеров.

Молодые врачи и студенты моего курса были на практике в Анапе. Там в санатории лечился видный коммунист, заведующий “коммунхоза” Ленинградского горсовета. Он был заядлый “шутник”. Любимой его шуткой было подойти к

врачу или сестре сзади, поддать коленом пониже спины и одновременно хлопнуть по затылку. И ни у кого не хватало смелости воспротивиться, пока студент нашего вуза, коммунист, за такую “шутку” его не избил. Дело разбиралось в конфликтной комиссии Анапского райкома партии, которая вынесла студенту выговор с занесением в личное дело за то, что он “не понял пролетарской шутки, оскорбил товарища и тем выявил свое отчуждение от пролетарской среды”.

Бывший красный партизан приехал за 32 версты за нашей акушеркой. Просидев ночь у роженицы, акушерка к утру приняла роды и попросила отвезти ее назад. Бывший красный воин ответил: “Пешком дойдешь, а приставать будешь — получишь по шее”.

В 1926 году я работал студентом-практикантом в сельской больнице. Как-то я перевязывал ребенка одного члена совета, у которого были заслуги перед революцией. Меня предупредили, что он всех матерно ругает. Подневольный советский человек знает, какие моральные мучения приходится переносить при таких повторяющихся ежедневно сценах. Если он не позволит себя унижить — угрожает увольнение, под него начнут подкапываться, могут донести в ГПУ, в особенности если его прошлое, с коммунистической точки зрения, политически неблагонадежно. А у какого порядочного русского человека прошлое “политически благонадежно”?

Я перевязывал мальчика и вдруг услышал: “Поскорей перевязывай!” — и ругательство вполголоса. Я промолчал, но решил произвести опыт и перевязывал нарочно медленно, а когда он снова собрался хамить, рывкнул:

— Чего пасть разинул? Сейчас табуреткой по башке дам!

От неожиданности он остолбенел и во время моего дежурства больше не показывался. Очевидно, решил, что и у меня “заслуги перед революцией”, если и я позволяю себе хамство. Но “опыт” мог окончиться для меня печально, как минимум — исключением из ВУЗа.

Во время моей практики в больницу еженедельно поступало по несколько человек, избитых хулиганами. Пожилого учителя избили до бессознательного состояния железными прутьями. На перевязку приходил старик-крестьянин с колотыми и резаными ранами, полученными от хулиганов. Группы молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет терроризировали всю деревню.

После того как увеселительные, культурные и полукультурные учреждения стали государственными, то есть попали в управление партии и перешли к агитпропу райкома, центром советской жизни стали клубы, с первого же дня превратившиеся в рассадник грязи и хулиганства, где

полы были покрыты слоем подсолнечной шелухи, где было невыносимо от ругательств, рева громкоговорителей, передающих агитки.

Зимой, после какого-то представления, народ темным вечером выходил из клуба под хохот стоявших снаружи парней. Оказалось, что ступеньки обмерзли, многие падали и ушибались, приводя в восторг эту молодежь. Вечером меня вызвали в больницу: у упавшей со ступенек женщины начались преждевременные роды.

Культурный уровень пролеткульта как нельзя лучше был у нас проиллюстрирован в 1931 году. В клубе землехозрабочих стоял дорогой рояль, отобраный у наших знакомых. Каждый, кому не лень, барабанил по клавишам, и инструмент приходил в негодность, что не слишком огорчало завклубом. Но когда завелась мода садиться на клавиши и играть задом, он решил, что это некультурно, и велел кузнецу проделать дыры в крышках рояля, продеть в них цепь и навесить амбарный замок. На этот культурно-исторический экспонат мы и другие ходили специально смотреть.

На основании всего лично пережитого, услышанного и прочитанного за первые 14 лет коммунистической власти мы сделали вывод, что хулиганство вызвано, в первую очередь, сознательным разрушением государственной властью религиозно-нравственных устоев народа. Диктатура пролетариата привела к

материальному и культурному обнищанию. Она навязала свой “культурный уровень” всем российским народам в той же степени, в какой она распространила на них свою физическую власть.

Иногда раздавались голоса, что в задачи советской власти должно войти поднятие культуры правящего класса чуть не до уровня дореволюционного трудового интеллигента. Однако тип “нового человека” должен был обладать совершенно другими качествами, порожденными антирелигиозной пропагандой, доносами, убийствами, бесчеловечным отношением к целым народам. Хулиганство и дикие нравы воспитывались на личном примере власть имущих.

Вопрос брака и пола

Своей конечной целью большевики объявили бессемейное общество. Мужчина или женщина, состоящие в браке, могли его расторгнуть в любое время. Процедура записи в ЗАГСе была тождественна временному торговому договору без взаимных гарантий. А поскольку согласно большевицкому лозунгу тех лет каждый человек обязан работать, то вопрос о компенсации при разводе отпал. За ребенка, который чаще всего оставался у матери, отец должен был платить алименты в размере 10% основной зарплаты.

В первые годы революции, а также во время НЭПа разразилась настоящая эпидемия разводов. Бывало, что люди, счастливо прожившие 30 лет в браке, после издания декрета вдруг выясняли, что “не сошлись характерами”, и разводились.

Идея свободного брака находит немало приверженцев и на Западе, в особенности среди интеллигенции, обитающей в сфере иллюзий. Несомненно, есть браки, которые правильней было бы расторгнуть. Но возвести это в закон — значит бессознательно или сознательно ослаблять народ и толкать его на путь дегенерации.

Каковы же были последствия этой эпидемии? Страдания и слезы жен с детьми оставим в стороне, ибо слезы в советском словаре существуют только тогда, когда ими обливаются “узники МОПРа” (Международная организация помощи борцам революции.)*.

Коммунист, помощник директора одного из трестов, снова пришел к нам за справкой о состоянии здоровья для предъявления в ЗАГС по поводу вступления в одиннадцатый брак. Этот тип “женился” уже в Краснодаре, Ростове и в других городах. Знакомый в ЗАГСе показал мне длинный список людей, расписывавшихся по три, четыре и больше раз.

Я лечил пожилую крестьянку.

— Ну что мне делать, доктор? Сын привел четвертую жену. Первая была хорошая и работающая, четыре года жили дружно. А как пошла эта кутерьма, словно бес на него напал!

На крестьянских хозяйствах до коллективизации этот разврат отразился губительно. На абортных комиссиях на вопрос “Почему хотите делать аборт?” наиболее частым был ответ “муж бросил”.

После декрета увеличилось количество браков по расчету. В первую очередь это касалось студенток, выходявших замуж за рабочих, чтобы скрыть свое социальное происхождение и приобрести преимущества, начиная с рабочего пайка и поступления в ВУЗ с освобождением от платы за обучение и кончая получением стипендии. Окончив ВУЗ, они обычно прекращали этот советский мезальянс. Одна наша студентка на курс старше меня очень нуждалась и решила выйти замуж за сапожника. После окончания ВУЗа она захотела от него отделаться. И тогда он зарезал ее сапожным ножом. Был судим, но через полгода вышел из тюрьмы. И это был не единственный подобный случай. Народ не считал обязательную запись в ЗАГСе подлинным браком. После записи обычно венчались в церкви. Тайно венчались и многие коммунисты. Если это становилось известно, вычищали из партии.

После коллективизации и разгрома церкви все, в принципе, осталось так же, хотя многое усложнилось. Конечно, и церковный брак не был гарантией, но разводов среди венчавшихся в церкви было несравненно меньше, чем среди “расписавшихся”. Бывало, отпрашиваются со службы: “Мы только на пять минут, расписаться, сразу же вернемся!”

Мы с женой, естественно, не могли сослаться на брак, заключенный в 1918 году в Новочеркасске, и нам в связи с подачей прошения на выезд в Югославию пришлось тоже проделать эту процедуру.

В комнате стансовета, полной народа, в углу стоял столик, за которым сидела заведующая ЗАГСом. Мы с женой тоже “выбежали на пять минут” из больницы, захватив одного медика как свидетеля. Второго свидетеля я нашел не то в стансовете, не то на улице. За свидетельством “заскочил” на следующий день.

В.В. Вересаев в одной из статей говорит о художественной стороне советских обрядов. Надеюсь, что пятилетка выбила у него эту дурь из головы.

Эпидемия аборт

У закона об исключительном праве женщины распоряжаться своей беременностью, кроме морально-этической стороны, была и другая —

ослабление русского народа. Процент его прироста, как и прироста южных и восточных славянских народов, был намного выше, чем у народов Запада. Всероссийская эпидемия абортов оказала враждебным России силам немалую помощь.

Остановлюсь на цифрах, которыми располагаю, поскольку правдивой статистики при большевиках не существовало. Цифры, приводящие в восторг наивных интеллигентов и политиков на Западе, — подделка, служащая агитации, или подгонка под речи вождей, называвших фальшивые цифры. Читая эти данные, мы говорили: “Вот будут смеяться на Западе! Наши умники, очевидно, уверены, что там дураки сидят”. К сожалению, ошибались мы, а в выигрыше оказывались “наши умники”. На Западе коммунистической лжи очень многие верили.

Я уверен, что знаю условия, по крайней мере, в десяти районах СССР, где бывал, работал или о которых рассказывали коллеги-врачи. Но ограничусь собственной практикой в Приморско-Ахтарском районе, население которого в 1927-1930 годах составляло не более 30 000 человек.

Производство абортов разрешалось только в больничной обстановке после прохождения абортной комиссии. Комиссию не проходили те, кто был в состоянии внести определенную плату. В годы коллективизации такая возможность была в основном у жен ответработников (они обычно от платы

уклонялись), так что большинство женщин проходило комиссию. На ней председательствовала представительница женотдела райкома. Представительницы сель- или стансовета проверяли женщин с социальной и имущественной точек зрения. Врач входил в комиссию как эксперт: он должен был определить беременность и установить медицинские противопоказания.

Беднякам и работницам разрешался бесплатный аборт. Другие платили в зависимости от своей зарплаты. С крестьян, пока они обладали собственностью, — с окладного листа. С жен лишенцев, кулаков и высланных, то есть людей ограбленных и нищих, брали самую высокую плату.

Жен материально обеспеченных, бездетных или имеющих только одного ребенка комиссия старалась от аборта отговорить, но почти всегда безуспешно: женщины хорошо знали, что по закону им отказать не могут. Можно было только ставить техническое препятствие, сказать, что в больнице сейчас нет мест, или указать на несуществующие на самом деле противопоказания. Но все это было пустой затеей: женщины уходили к акушеркам, делавшим аборт нелегально, или к знахаркам, или сама вызывала кровотечение.

Какие мотивы преобладали у женщин, не желавших иметь детей? До начала коллективизации можно было услышать:

- Муж не желает...
- Муж бросил...
- На что мне дети? Я работаю, кто будет с ними возиться?
- Нет мужа.
- Не захотел жениться.
- Сегодня он здесь, а завтра его след простыл!

Эти молодые женщины, в особенности работницы, мелкие служащие, батрачки, зарегистрированные в ЗАГСе, даже не производили впечатления замужних — таким ничтожным казался советский брак. Даже у коммунисток или активисток, членов комиссии, невольно вырывалась фраза:

- Как же, говорите, бросил? Ведь вы же в церкви венчались?

После того как началась коллективизация, причиной стали нужда, голод, неуверенность в завтрашнем дне. Отказов в абортах больше не было. Люди едва держались на ногах. А сколько их лежало на земле, истощенных голодом до предела, ожидая очереди в комиссию?! Немало женщин умирало после аборт...

Сколько же было аборт в нашем районе за четыре года? С октября 1927 по сентябрь 1931 года я, согласно записям в операционном журнале, произвел 714 аборт. Второй врач — больше девятисот (одно время я по совместительству работал санитарным

врачом и аборт не делал). Довольно часто мы давали возможность “набить руку” врачам амбулатории, довольные, что кто-то хотя бы на время освобождает нас от этой отвратительной работы. Каждый год к нам на практику приезжало по четыре студента, каждый делал не менее десяти аборт, которые записывались на его имя.

В станице были две пожилые опытные акушерки, делавшие большое количество аборт нелегально. Мы об их практике имели точные сведения, но ничего против этого не предпринимали, поскольку работали они не хуже врачей. К ним обращалось немало женщин, не желавших, чтобы об абрте стало известно “всему свету”, боявшихся пропустить сроки, поскольку места в больнице надо было ожидать долго.

Об одной из акушерок, жившей исключительно за счет аборт, у меня были довольно точные сведения. Она делала как минимум один аборт в день, хотя вернее было бы назвать большую цифру. У второй акушерки пациенток было еще больше. Исключим выходные дни и ограничимся тремя сотнями аборт в год на каждую. В районе нелегально производили аборт фельдшера, акушерки, амбулаторные врачи. Не менее пятисот аборт делали знахарки и сами забеременевшие женщины, но и здесь точных данных у меня нет. Однако общую, повторяю, самую минимальную, цифру подсчитать нетрудно.

На эту тему врачами собран огромный материал. Почти во всех областях, а в особенности областных больницах, есть музеи “инструментов”, которыми пользовались знахари и сами женщины для произведения абортов. Корешки, предварительно смоченные в йодной настойке, вязальные спицы, рыбные кости... Эти массовые, истинно подпольные абортывы были подлинным бичом больниц. В день иногда привозили трех женщин с кровотечением. Сколько мы их ни допрашивали, кем произведена “операция”, они всегда брали вину на себя, зная, что отвечать за это не будут. Выдавали виновных только в исключительных случаях.

Был страшный случай. Амбулаторный врач прислал к нам больную с диагнозом сепсиса. Мать одиннадцати детей пролежала восемь дней дома, не желая вызывать врача. Муж не знал причины ее болезни. Когда мы ей сказали, что она умирает, она созналась, что ей “сделала” бабка химическим карандашом, но назвать бабку, и умирая, отказалась.

Характерно также взаимоотношение между материальным обеспечением народа и количеством абортов. В операционной нашей областной больницы в 1926 году произведено (округленно) 2500 абортов; в 1927 году — 3300; в 1928 году — 4200; в 1929 — 5000. Чем ближе коллективизация, тем больше абортов. Люди постоянно недоедали, стали ходить как тени, о детях не могли и думать.

Коммунистическая эротика

С самого начала советской власти атмосфера была насыщена грубой, пошлой эротикой. Дно городских трущоб, уголовные преступники, всякий сброд, начавший управлять страной, принесли с собой привычные им понятия о морали. Правящий класс и его карательные органы жили по принципу свободной любви, не прикрытой никакими масками.

Несколько наших студентов, побывавших в Питере на Путиловском заводе, расспрашивали рабочих, помнят ли они “всесоюзного старосту” товарища Калинина?

— Мишку? Как же не помнить? Пьяница, бывало и под станком пьяный валялся. Вечно бутылка из кармана торчала. Он мне пять рублей должен остался, в Москву приеду — морду набью. Да только он, проклятый, в Кремле забаррикадировался, разжирел, с комсомолками балуется...

У этого Мишки Калинина было множество “мадамочек”, а одну из них мы имели счастье лицезреть и слушать в начале 1934 года в московской консерватории. Когда она стала исполнять какой-то романс, по залу пронесся шепот: “Любовь Калинина”.

Половая распущенность у большинства людей вызывала скорее отвращение. Поэтому развращать начали другими способами.

В 1922 году я несколько раз присутствовал на выступлениях общества “Долой стыд”. Совершенно голый, украшенный только лентой с надписью “Долой стыд”, оратор на площади Краснодара кричал с трибуны:

— Долой мещанство! Долой поповский обман! Мы, коммунары, не нуждаемся в одежде, прикрывающей красоту тела! Мы дети солнца и воздуха!

Проходя там вечером, я увидел поваленную трибуну, “сына солнца и воздуха” избили. В другой раз мы с женой видели, как из трамвая, ругаясь и отплевываясь, выскакивает публика. В вагон ввалилась группа голых “детей солнца и воздуха”, и возмущенные люди спасались от них бегством. Опыт не удался, выступления апостолов советской морали вызвали такое возмущение, что властям пришлось прекратить это бесстыдство.

Распространение половой распущенности приняли на себя школы, художественная и научно-популярная литература. В школах преподавание полового вопроса без религиозно-нравственных начал развращало. К тому же у учителей не было возможности применять к ученикам меры воздействия, они должны были терпеть дефективных и морально распущенных детей,

развращавших других. От ругательств, пошлых рассказов и анекдотов на сексуальные темы, которые учащиеся употребляли в своем обиходе, становилось жутко.

В том, что разложение народа было запланировано сверху, сомневаться не приходится. Возьмем хотя бы писательницу и представительницу советской власти за границей члена ЦК партии А. Коллонтай. Первая в мире женщина-посол агитировала за “свободную любовь” и проповедовала идею “стакана воды” (совершить половой акт — все равно что выпить стакан воды). Разве могла бы она без одобрения или указания сверху проповедовать эти гнусные идеи?

Разрушать семью большевики старались и иными способами. Под лозунгом раскрепощения женщин закрепощали их по-иному, заманивая в клубы, обязывая присутствовать на разных собраниях, приглашая на увеселения, создавая для них целый ряд должностных мест председательниц, делегатов, депутаток, женорганизаторш разных степеней, уполномоченных, выборных, просто состоящих в комиссиях, тройках — всего не перечесть. Жаль, что женский митинг в начале революции невозможно было увековечить в кинокартине. Как-то в президиум притащили горшки, которые в знак “раскрепощения” под визг, вой и крики “Долой горшки!” разбила исступленная женская толпа. Кто из этих активисток мог предполагать, что горшки останутся горшками, но варить в них будет нечего? Из-за перегрузок

“общественными нагрузками” женщин в семьях возникали ссоры. Мужей, протестовавших против постоянного отсутствия жен, вызывали в совет, в комитет, где им делали внушения, упрекали их в консерватизме и собственничестве.

Некоторое отрезвление властей наступило еще в предшествовавшие коллективизации годы. Начался подлинный матриархат, когда фамилия отца была неизвестна и юридическим лицом становилась мать. Немалый страх нагнало широкое распространение венерических заболеваний.

Наступило и отрезвление народа. Начался религиозный подъем, люди постепенно стали возвращаться к моральным устоям.

Часть IV. ЗАКРЕПОЩЕННАЯ РОССИЯ

Коллективизация

Началу коллективизации предшествовал год, в течение которого одно за другим разоряли и ликвидировали хозяйства богатых крестьян. Их в Приморско-Ахтарской насчитывалось не менее восемнадцати. Ткаченко, у которого мы снимали две комнаты (почти половину дома), был одним из них. Имел он двух сыновей и дочь.

До войны он был на самом деле состоятельным: в степи у него был табун, вблизи моря — небольшой рыбный завод. Работал не покладая рук, был предприимчив, дело свое знал, ростовщицеством не занимался. После революции у него отобрали все, кроме нескольких десятин земли и молотилки, которую он сдавал в пользование. Наемным трудом (официальный признак кулачества) он пользовался: нанимал старика-дворника.

В 1928 году ввели индивидуальный налог на кулацкие хозяйства, размеры которых определялись на местах, а целью было явное уничтожение трудолюбивых хозяев. Я присутствовал на заседании стансовета и представителей станичной бедноты, на котором определяли этот налог. Предстансовета спрашивает:

— Ну, сколько мы на него наложим?

Один говорит:

— Пятьсот.

Другой:

— Почему пятьсот? У него, наверное, еще всего полно, он богатый, у него было и то, и это, и еще многое. Давайте тысячу!

Все знают, что он и пятисот не соберет. Выслушав “глас народа”, выступает кто-нибудь из коммунистов и называет две тысячи, цифру, заранее определенную ячейкой. Мотивировка всегда политическая. Ее единогласно утверждают, назначая, разумеется, невыполнимый срок уплаты.

Нашему хозяину дали несколько дней. Сначала он бегал по инстанциям и просил помощи у знакомых коммунистов, однако убедившись, что все напрасно, спрятал у нас и у друзей наиболее ценные вещи и ждал неминуемого. Пришли, распродали за несколько сот рублей его имущество стоимостью в двенадцать тысяч, а семье приказали освободить дом. Все хозяйство перешло в руки совета.

Хотя вся эта трагикомедия и была полнейшим беззаконием, ее все-таки облекли в некоторые формы правопорядка. Тут был и налог, и постановление, и

распродажа, и срок передачи дома стансовету. Но эти ограбленные люди могли считать себя еще счастливыми по сравнению с теми, кого вышвыривали из домов в 1929 году.

Итак, мы подходим к единственным в истории цивилизованного мира событиям, которым нет равных по своеобразию, глубине действия, размаху и губительным последствиям для всего народа. Освобожденная Россия откроет “закулисы”, предшествовавшее пятилетке и коллективизации. Пока скажем о том, что знаем и чему были свидетелями.

Коммунистическая власть — власть воинствующая. Ее конечная цель — всемирная революция и коммунистический интернационал. Россия — только первый плацдарм, откуда должен начаться захват мира, а русский народ — не люди, а материал для достижения конечной цели. Само слово “Россия” вычеркнуто из официальных наименований и заменено свистящим буквосочетанием.

Русский народ, лишенный свободы, обязан работать за кусок хлеба, а созданные им ценности должны идти на армию коммунистического интернационала во всех странах мира. С народом перестали считаться, маска была сброшена. К цели, ни от кого в мире ее не пряча, шагали открыто, цинично, по горам трупов. Народ, хотя и поздно, но распознал сущность коммунизма и в большинстве своем мечтал, чтобы где-нибудь “пушка

вдарила”, чтобы помочь ему свергнуть угнетателей. Но желанные пушки молчали, а стреляли только те, которыми коммунисты подавляли восставших крестьян.

В члены сель- или стансоветов назначали и представителей трудовой интеллигенции: врача, агронома и учителя. Благодаря моей популярности среди населения, а может быть, еще и для того, чтобы подчеркнуть свой интернационализм, поскольку я был иностранным подданным, выбрали и меня. В начале коллективизации я был этим даже доволен: видел происходившее собственными глазами, мог лучше изучить и запомнить практику коммунизма.

Был дождливый осенний день. Я получил повестку явиться в обязательном порядке в совет. Когда все собрались, предсовета объявил, что в помещении клуба состоится заседание совместно с комитетом бедноты и красными партизанами. Мы пошли туда вместе с предстансовета, бывшим фельдшером.

— Да, сегодня исторический день... С сегодняшнего дня только и начинается по-настоящему строительство социализма!

На улице стояли большие лужи, которые приходилось обходить. Было тяжело на душе. Что еще будет?

В помещении, рассчитанном на 500 человек, собрались все члены стансовета, беднота, активисты,

несколько десятков красных партизан — всего человек двести. Руководил собранием присланный из “края” коммунист, рабочий, уполномоченный по проведению коллективизации нашего района.

Нам раздали брошюры, в которых был напечатан Устав сельскохозяйственной артели. Так назывались вначале колхозы. Там было сказано, что это переходная стадия между частной собственностью и конечной формой социалистического общества — коммуной, что крестьяне входят в артель со всем своим имуществом, которое оценивается и записывается в приход новому члену. Урожай поступает производителю после предварительных отчислений в указанные проценты: в инвалидный фонд, в неприкосновенный запас колхоза, в культфонд, в фонд обороны, на страхование и целый ряд других отчислений, в общей сложности 35%. Члены сельхозартели выбирают совет, который выделяет из своей среды правление, ведающее всеми делами. Правление имеет право исключать из артели за проступки общественного характера с последующими санкциями совета. Все члены сельхозартели делятся на бригады, возглавляемые бригадиром. Все межи уничтожаются, из всей земли создается единый массив.

После оглашения Устава выступил присланный из Москвы в качестве председателя правления вновь образованного колхоза-гиганта “двадцатипятитысячник” — рабочий, коммунист из

Донбасса. Для проведения коллективизации на посты председателей правлений партия выбрала 25 000 испытанных коммунистов, разослав их по всему СССР.

Сначала он рассказал свою биографию, подчеркнув, что с группой демобилизованных красноармейцев трижды пытался создавать небольшие показательные коммуны на Украине и в Белоруссии, но неудачно. Потом он говорил об обязательствах колхозника. Никогда не забуду жуткого, леденящего впечатления от его слов:

— Кого исключат из колхоза, тот нигде не сможет найти работу, потому что другой колхоз без справки о причине ухода из колхоза не примет его. И ни один завод не примет его. Торговать он не сможет, потому что частная торговля упразднена, на железной дороге его арестуют, если у него не будет командировочной справки от колхоза. Значит, судьба колхозника в руках колхоза.

Впечатление от его речи было большое. Всем, даже “авангарду” станицы, стало ясно, в чьих руках судьба колхозника. И название колхоза-гиганта было уже предрешено в райкоме: “колхоз имени Фридриха Энгельса”.

Народ в недоумении. “Это что за чудило?” — шепчут позади меня.

Выступил пожилой матрос Микита, вечно больной, завсегда́тай врачебных комиссий, один из множества появившихся в те годы “советских юродивых”, под видом чудаков критиковавших деятельность власти, а то и саму власть. Ему, как бывшему красному партизану, с ворохом справок от невропатологов, из которых он больше всего любил справку с диагнозом “психастения” — “псих” ни за что не отвечает — сходили с рук выступления, за которые другим пришлось бы плохо. Он спрашивает на смеси русского с украинским, бывшей в обиходе в станице:

— Як вы казали? Генгельс? Чи Генцес? Хвердинанд?
А хто вин такий?

Председатель, снисходительно улыбаясь, в нескольких словах объясняет значение этого имени для коммуниста.

— Я так и думав, шо це якись важный, зробивший дуже богато за совицку власть. Но нам буде дуже тяжко выговаривать то слово, бо хвамилия якась навроде германска, иностранная. Дайте нам шо-нибудь наше, там красное чи червоное, шоб народу понятно.

Народ одобрительно смеется, многие кричат: “Правильно!” Тут с огненной речью выступает двадцатипятитысячник:

— Стыдно советскому гражданину не знать имени человека, являющегося одним из основоположников коммунизма!.. Разве вы не видели его на картинах вместе с Карлом Марксом?.. Мы должны знать наших вождей! Странно слушать от красного партизана “дайте нам что-нибудь русское”!.. Мы нерусские, у нас нет отечества, мы являемся интернационалистами, мы являемся гражданами всемирной революции и всемирного Союза Советских Социалистических Республик! А товарищ Энгельс — один из вождей нашего Интернационала!

Затем выступил секретарь райкома, знакомый нам по чистке. Он также отрицал отечество:

— Вы должны быть благодарны судьбе, что она дала вам возможность стать организаторами колхозов, которые скоро покроют собою весь мир!

Задававшиеся затем вопросы были совсем не всемирных масштабов:

— А блины дома печь можно будет без разрешения правления?

— А в город можно будет ездить без командировочной бумажки?

— А курей дома можно будет держать?

Выступил другой красный партизан:

— Вот вы говорите, что мы будем получать по трудодням. Сколько дней проработал, столько и получай в натуре. Денег, значит, никаких?

— Нет, конечно.

— А доктора, хвельпера, бугалтера и другие будут получать деньгами?

— Пока своих колхозников не выучим, должны будем им платить. Ведь не мы платили за их учение.

— Все равно, они за наши кровные народные деньги учились, если нам трудодни, то и всем трудодни!

— И райкомам и обкомам тоже! — подают негромко голоса из задних рядов.

— Конечно, вы правы, это все в проекте. Но пока, временно, советская власть этого еще не предусматривает.

На следующий день было назначено общестаничное собрание хлеборобов. Помещение клуба было полным-полно, оттуда слышались отрывки речей ораторов. Около клуба стояла большая толпа. Я опоздал и остался снаружи. Знакомые крестьяне меня подозвали:

— А, доктор, что делается? Не пойдем ни за что!

В течение следующих трех дней из двух тысяч хозяев в колхоз записалось около пятидесяти человек. Характерно, что большинство из них были зажиточные крестьяне. Уже ограбленные, испытавшие на себе беззакония этой власти, они лучше других понимали, что судьбы не избежать, и

вели себя тише воды, ниже травы. Больше всего волновались те, у кого была одна лошаденка и корова, многодетные, со стариками на иждивении. А часть бедняков все еще считала власть своей или как минимум надеялась, что “бедняка не тронут”.

Запись в колхоз удара от зажиточных не отвела: приезжий коммунист разразился громовой речью против кулаков и контрреволюционеров, которые якобы занимаются агитацией против записи в колхоз и саботажем. Война была объявлена.

Утром мы узнали, что всю ночь шли аресты и что арестованных, ожидающих высылки, охраняют местные коммунисты. Знакомые коммунисты рассказали мне, что их вечером собрали, не сообщив причины вызова. Заперли в помещении, объявили задание на ночь, огласили список подлежащих аресту и разбили на группы с ответственными членами партии во главе. Остальным приказали перекрыть выходы из станицы. У арестованных конфисковали все имущество, кроме ручного багажа.

Многие, в том числе и дети, остались в одной летней одежде. Конфискация шла не по “твердому заданию”, судьба имущества зависела от руководителей групп, среди которых одни были помягче и зимнюю одежду не отбирали. Другие вели себя как закоренелые грабители.

В тот же день меня вызвали к арестованной женщине, матери четырех малых детей: у нее был нервный припадок. Я увидел две деревянные кровати, расколотые коммунистами, разбитые иконы, выбитое оконное стекло, перерытые шкафы и комоды. В хате было холодно, плачущие дети пытались укутаться в единственное оставшееся после погрома одеяло.

На следующий день в нашей больнице перевязывали руки бывшему красному партизану и чекисту, порезавшему их о стекла киота, который он разбил, утверждая, что там могли быть спрятаны драгоценности.

Это были первые облавы на жертв коллективизации. В этот раз еще исходили из имущественного положения и арестов было не так много. В нашей станице разгромили около тридцати семей и по столыку же в соседних. Но коллективизация проводилась одновременно по всему СССР, и на узловых станциях скопились тысячи людей. Мужчин отправляли в ссылку в первую очередь, женщин и детей несколькими днями позже.

Выпал снег, начались холода. В нашей станице к милиции пригнали подводы и начали усаживать в них женщин и детей. Стоявшая вокруг толпа смотрела в немом ужасе, женщины плакали. Плакали дети арестованных. Один из милиционеров крикнул:

— Чего плачете? Если ихние белые придут, будет вам всем!

— Нам ничего не будет, это вам будет! — крикнули из толпы.

Я хотел увидеть все своими глазами и, сказав, что поеду в район, отправился в станицу Тимашевскую на узловую станцию.

По дороге тянулись обозы с семьями арестованных. Я понял, что наши коммунисты были еще милосердными людьми. В одном обозе из тридцати подвод половина людей была легко одета. На некоторых детях были только платица. Несколько тысяч людей согнали в амбары. Стоял стон и плач. Никто их не кормил, питались тем, что взяли с собой.

После арестов больше половины хлебобобов записалось в колхоз. Единоличников — такой кличкой теперь наградили крестьян-неколхозников — осталось около 30%.

Началась сдача крестьянского имущества в колхоз. Конфискованные у сосланных крестьян дома и дворы были превращены в колхозные конюшни, коровники, свинарники. Обобраз миллион крестьянских хозяйств, власти ничего не подготовили, впрочем, это было бы сверх человеческих сил. Кони стояли под навесами или в тесноте в конюшнях. Крестьяне были как потерянные. В первые дни они приходили к своим лошадям, поили их, кормили, чистили. Вскоре им и

это запретили, “чтобы не потакать собственническим инстинктам”. Конюхами назначили не хозяев, а преимущественно бывших батраков.

Посещая больных, я всюду видел крестьян, выглядывавших из-за заборов на улицу:

— Вон, доктор, новые хозяева катаются...

И действительно, на подводе, запряженной четвериком, проезжали какие-то парни. Местным коммунистам теперь стало раздолье: все кони — общественные, пиши в колхоз требование для поездки по делу и катайся. А дел сколько угодно. И не проверишь, у них все засекречено, потому что “враг не дремлет”.

После первой высылки было собрание, на котором около ста “социально близких” назначили на двухмесячные курсы бригадиров. Двадцать — крестьяне, остальные батраки и рабочие. Было и несколько комсомолок. Колхоз разделили на бригады по военному образцу. Бригадиром был всегда член партии, красный партизан или батрак. Если женщина, то из активисток, комсомолок или коммунисток.

Вскоре начался падеж “обобществленного” скота, и крестьяне стали насильно разбирать своих лошадей и коров. Разграбление имущества высланных крестьян вызывало всеобщее возмущение. Коллективизация прошла повсюду против воли крестьян. У нас в

Приморско-Ахтарской до бунта не дошло, но в Кубанской области, на Украине, в России были бунты, восстания, народные возмущения. В станице Троицкой, например, толпа женщин разгромила квартиры предстансовета и секретаря ячейки, накрывших несколько сундуков крестьянского добра. Разгром разросся до открытого бунта всей станицы, вооружившейся вилами, топорами и охотничьими ружьями, против хорошо вооруженной милиции, отряда коммунистов и подоспевших частей ГПУ.

Волна бунтов прокатилась и по центральным губерниям, где крестьяне и раньше жили небогато. Летом 1930 года крестьяне из Тамбовской и Рязанской губерний рассказывали мне, что коллективизацию у них проводили так же насильно, как на юге, и что бунтов и бесконечного числа одиночных сопротивлений было там не меньше, чем у нас.

На Кавказе поднялось большое восстание. Кисловодск, где в те дни лечился знакомый врач, в течение двух часов был занят повстанцами.

Бунты подавлялись со всей жестокостью, на которую способна советская власть. Против крестьян в Западной Сибири, на Кавказе, на границе Кубанской и Донской областей применяли даже полевую артиллерию и самолеты.

Причина неуспеха крестьянских восстаний — в отсутствии единения крестьян и, конечно, в усовершенствованных методах порабощения, не только технических. Большевики использовали неприязнь бедных к богатым, а в казачьих областях — вражду казаков и иногородних. Насилие применяли сначала к зажиточному крестьянству, утверждая, что действуют в интересах бедняков. Часть бедняков злорадствовала, участвовала в присвоении награбленного. Очень многие верили, что новая власть их не тронет, и насилия их не коснутся.

Сломив сопротивление самых крепких слоев крестьянства, большевики принялись истреблять менее зажиточных, придумав для них кличку “подкулачники”. Подкулачником мог оказаться и рабочий, и батрак, если только он был против коллективизации.

Многие пытались отсидеться в своих норах по принципу “моя хата с краю”. Но большевики придерживались ленинского принципа “кто не с нами, тот против нас”, из чего следовало, что тот, кто в “хате с краю” — тоже враг. Крестьяне разгадали большевицкие методы лишь к 1932 году, когда о бунтах думать было трудно. Можно было лишь мечтать, чтобы где-то “пушка вдарила”.

За эволюцией крестьянской психологии я наблюдал на моих пациентах и знакомых. Так, один небогатый крестьянин в начале коллективизации собрался было

с рыбаками на Каспий. Потом передумал: “Я тут родился, тут вырос, я бедняк. Советская власть меня не тронет”.

Между тем в станице шли аресты и грабежи, именуемые “раскулачиванием”. Имущественный ценз, определявший кулака, угрожающе падал и подошел уже к уровню малоимущих середняков.

Тут мой пациент задумался:

— Неужели советская власть может и нас тронуть? Доктор, а может, поступить мне в колхоз?

— Поздно, теперь и колхоз не спасет.

— Но куда же мне жену и двоих детей девать? Куда стариков девать? Так я знаю: корова у меня, мы за ней смотрим лучше, чем за собою, и детям молоко. А в колхозе она сразу пропадет.

Вскоре пришла лечиться его жена: сердечные припадки.

— Забрали корову...

Через день я проходил мимо их хаты и спросил:

— Ну, теперь вы на Каспий?

— Куда теперь ехать? Тут домишко, хоть плохонький, да свой.

Через месяц его домишко и двор соединили с соседними и превратили в бригадный двор, а их переселили. В эти “бригадные дворы” было собрано все имущество крестьян, ставших теперь колхозниками, работниками сельскохозяйственной фабрики. Здесь стояли телеги, молотилки, бороны, была бригадная конюшня, как в казарме, с той только разницей, что здесь все мокло под дождем, и то, что у хозяина оберегалось и находило применение, здесь пропадало и растаскивалось. Наша станица была разделена на шесть бригад. У каждой бригады был свой штаб, по возможности при бригадном дворе. Там была канцелярия с бухгалтерией, клуб или “красный уголок” для собраний и чтения вслух газет, с портретами вождей, лозунгами, громкоговорителем, с утра до вечера агитировавшим за колхоз.

Дом Ткаченко, где мы жили, тоже был занят под бригаду. После того как выгнали и выслали хозяев, уже на следующий день, в шесть часов вечера, было назначено собрание. За два часа до его начала во дворе появились мальчишки. Сначала они робели, но видя, что никого нет, стали виснуть на ветках абрикосового дерева и их ломать, тащили все, что попадало под руку, завладели кольцами, на которых мы с сыном занимались гимнастикой. Я вышел и сказал:

— Слезайте, кольца мои.

Они ответили: “Теперь все общее, все колхозное”. Однако слезли. Как только я ушел, они снова начали валять дурака на кольцах. Пришлось их снять.

Во дворе у Ткаченко был бассейн с чистой дождевой водой. В первые же дни вода была загрязнена и стала пригодной разве что для тушения пожара. В пристройке дома поселили семью рабочих. Забор возле пристройки тут же пошел на дрова. Через две недели на дрова одно за другим пошли абрикосовое и другие фруктовые деревья, которые распиливали во дворе, а кололи в квартире.

Собрание бригады происходило в соседней комнате за тонкой стенкой. Выступали больше коммунисты и их приближенные. Постановили открыть красный уголок в нашей комнате.

— Так там же доктор, — сказал кто-то.

— Доктора выкинем, какие могут быть разговоры!

Эти слова точно выражали их отношение к человеческой личности. Говорить о ее значении, ее правах, ее положении, когда у власти коммунистическая партия, бессмысленно: человеческая личность для них не существует, есть безликие массы, над которыми партия производит свои операции.

Нас выкинули не так бесцеремонно, как выбрасывали крестьян: я был врачом и был им нужен. Стансовет

подыскал мне квартиру, похожую на голубятню и для жилья непригодную. Вскоре моя пациентка, коммунистка Буряк, одинокая женщина с ребенком, выхлопотала для нас квартиру с видом на базарную площадь в бывшем доме Чернявских. Ее Игорек дружил с нашим сыном, жена нередко кормила его ужином и укладывала у нас спать. Партийные собрания часто длились до ночи, и мать, унося спящего мальчика, как-то сказала:

— Мы, коммунистки, плохие матери.

Квартира была довольно просторная, и мы взяли к себе семидесятилетнего Василия Елисеевича Литьевского, лишенца, бывшего сенатора из Витебска. Он распродал все свои вещи и голодал. (Потом, когда я вечерами играл на скрипке, он все жалел, что незадолго до знакомства с нами отдал за мешок муки свою Гварнери). Его жена, итальянка, оперная певица, жила в Генуе, и я при поездке в Москву сообщил о нем в итальянском посольстве. У жены были влиятельные родственники, начавшие готовить вызов его в Италию.

.

Кампании, кампании...

Посевов больше не было, были посевные кампании. Понятие “кампания”, почти что равнозначное

понятию “война”, стало ужасом как для рабов, так и для рабовладельцев и погонщиков.

До этого многие горожане и не знали, что крестьянин вышел в поле сеять. Это было нормально, тихо, спокойно, продуктивно, и никто не вопил о трудовых победах, когда осенью появлялась новая мука. Крестьяне говорили: “Бог дал”, другие — “природа дала”. Но как бы то ни было, кто-то давал и всего было, за редкими исключениями, вдоволь.

Теперь же волновались буквально все: от Москвы до ученика третьей группы. Погонщиков, чиновников и сыщиков нередко бывало больше, чем хлеборобов. Даже вид природы изменился. Во-первых, перетаскали в поле со всех базаров деревянные ларьки, с крестьянских дворов — амбары. Каждая бригада образовала на поле свой табор, состоявший из нескольких амбаров и ларьков, в которых разместились канцелярия, артельщики с продуктами, санитарка с бригадной аптекой, бригадная кухня и бригадные детские ясли.

Во-вторых, поля исчезли. Многоцветный ковер русского чернозема превратился в однообразные массивы. Три-четыре версты в длину и столько же в ширину шла пшеница, потом, сколько видел глаз, желтели подсолнухи. Тоже красиво. Приверженец искусства для искусства с этой точки зрения мог защищать колхозы. Когда я ездил по бригадам, то

иногда встречал знакомого коммуниста, который в защиту колхоза всегда призывал эстетику:

— Вот, доктор, это я понимаю, красота!.. Гиганты какие! Не то что раньше — латки одни.

— Это тебе крестьяне говорили?

— А ну их к черту! Они все свое трубят. Натрубятся и отстанут.

Крестьяне теперь уже не жили своим умом, трудились в поле не самостоятельно, а по приказу, за пустые “трудодни”. Задачей новоявленного колхозника было утром встать и явиться в бригадный двор на перекличку. По команде “айда!” или “пошли!” зашагать за бригадиром в поле и коллективно двигаться по массиву, вокруг которого колесят надсмотрщики и начальники.

Крестьянин перестал быть хлеборобом, не он решал, что, когда и где сеять и сажать. Распоряжения отдавали “агроуполномоченные”, бригадиры, правление колхоза, колхозный агроном, получивший “задание” из исполкома, где районный агроном, которому “спустили” общий план из области или края, разрабатывал планы для района, а после санкции райкома и исполкома передавал их каждому колхозу. Правления колхоза с партячейкой и своим агрономом разрабатывали задания для каждой бригады. Генеральный план на весь СССР придумывали в Москве.

Вначале крестьяне должны были брать с собой еду на весь день. Как будто выгода и экономия для начальства? Однако нет, это в план большевиков не входило. Им нужна была полная зависимость человека от куска хлеба, которым, кроме них, никто не мог бы распоряжаться и который они могли дать, а могли и не дать. План этот начали осуществлять в 1930 и почти полностью провели в 1931 году.

Недели через три после организации колхоза у всех рабочих и служащих начали отбирать (с обысками, естественно) “излишки” для бригадных кухонь. Что большевики подразумевали под “излишками”, никому не было и не будет известно. Я знаю только, что у жившего рядом с нами мастерового Калашникова, которого мы лечили, отняли пять фунтов “излишков сала”. Хотели дать расписку. “Я отказался ее брать, чтобы воробьи надо мной не смеялись”, — сказал он нам с женой.

Первый год после коллективизации прошел под знаком скрытого сопротивления. Крестьяне под разными предлогами старались не выходить на работу или опаздывать, или же искали помощи у медиков, переполняя амбулатории и больницы.

Большевики забили тревогу, и началась кампания “за стопроцентный выход в поле”. Мобилизовали членов союзов, то есть всех служащих и часть рабочих. И вот мы вставали в пять, а то и в четыре часа утра, являлись в свой участок, а затем ходили по станице,

стучали в заборы и ворота и кричали: “Выходите на работу! Все на сборный пункт!” или “Все на бригадный двор!” На нас натравливали собак. У нас в больнице лечилась пожилая учительница с искусанным собакой лицом.

В конце концов большинство крестьян решило работать, надеясь прокормить семью и себя. Но и тут возникли препятствия. Агрономы ускоренных советских выпусков часто понимали в земледелии меньше крестьян, и те их срамили, где только могли:

— Никак не разберемся, товарищ агроном, что это за зерно?

Бедный агроном отвечает невпопад.

— Это, может, так по-вашему, по-научному. По-нашему — это овес.

Между крестьянами и новыми начальниками создалась напряженная атмосфера недоверия. Крестьяне были уверены, что начальники ничего не понимают или сознательно ведут к катастрофе. Начальники же во всех крестьянах видели лентяев, саботажников и врагов.

Райхлопсоюз

В Приазовье издавна выращивали прекрасный сорт гарновки — пшеницы, которую особенно охотно приобретала Италия для макаронных изделий. Однако большевики, готовясь к войне и мировой революции, нуждались в хлопчатобумажных изделиях для армии. Был брошен лозунг о хлопковой независимости и принято решение вместо пшеницы посеять хлопок на трех массивах площадью в 15 000 гектаров. Крестьяне предупреждали коммунистов, что уже до войны здесь несколько раз пытались выращивать хлопок, но без успеха. Некоторые даже говорили об этом на бригадных собраниях. (С начала коллективизации, а в особенности после бунтов и восстаний, общеколхозные собрания отменили.)

Местному начальству доводы крестьян, может быть, были понятны, но оно и подумать не смело с ними согласиться. Ведь задание спущено самой Москвой, которая “никогда не ошибается”. Выступления крестьян подвели под “вылазки классового врага, пытающегося ослабить мощь пролетарского отечества”. Десятки крестьян в нашей области были схвачены и сосланы.

Хлопок еще и посеять не успели, как уже составили контрольные цифры сбора и организовали “Райхлопсоюз” с председателем, старшим

бухгалтером, его помощником, делопроизводителем, хлопководами, хлопкоинженерами.

Пошли дожди, хлопок вырос “как трава”, большинство посевов погибло, со всего гигантского массива сняли какое-то количество мелких незрелых коробочек. Культура хлопка трудоемка, требует четыре прополки. Колхозных рук не хватило, мобилизовали всех служащих и учащихся. Медработников гнали на прополку в выходные дни. Возвращались они с исцарапанными руками, что, при отсутствии резиновых перчаток, было опасно для медиков, имеющих дело с ранами.

Тут впервые в нашем крае сказался принцип куска хлеба в руках властей предержащих: большевики выдавали хлеб только взамен сданного хлопка. За погибшие посевы не отпустили ни одного килограмма. Люди с тревогой ожидали зимы, надеясь только на скудные припрятанные остатки от прошлых лет.

Осенью получилась полная неразбериха с трудоднями. Записи были неправильные, неразборчивые, сделанные иногда на “подручном материале”, некоторые бригадиры были малограмотны. Недовольство было всеобщее, никто не считал себя удовлетворенным, в особенности тот, кто работал добросовестно, больше других. Урожай в первый год распределяли “на едока”, то есть на всех

членов крестьянской семьи. Это вызвало протесты малосемейных и одиночек.

“Головокружение от успехов”

Итоги первого года коллективизации показали, что продуктивность труда из-под палки незначительна; что люди, поставленные руководить гигантским хозяйством, не справились бы и с малым, поскольку даже небольшого хозяйства у них никогда не было; что порядка в колхозах нет; что никакой подготовки для концентрации в государственных руках более чем десяти миллионов крестьянских хозяйств не проводилось; что большевики своими бесчеловечными опытами и теоретическими выводами губили народ и хозяйство; что скот погибал от неумелого с ним обращения; что запланированная техника не поступала в срок, а имевшаяся не оправдывала ожиданий. И что, наконец, ненависть к колхозному хозяйству объединила все общественные слои и силы, до этого между собой враждовавшие.

Осенью началось движение за выход из колхоза. Ежедневно в правление поступали заявления, преимущественно от бедняков. Очевидно, это движение распространилось по всей стране и большевиков охватила паника, ибо только этим можно объяснить известную статью Сталина “Головокружение от успехов”. Статья стала известна

крестьянству и послужила предлогом для выхода из колхоза.

Однако большевики быстро спохватились и с удвоенной энергией возобновили террор и насилия. В этот момент они действительно играли, рискуя всем. Весь юг России, Средняя и Нижняя Волга, Западная Сибирь и Северный Кавказ были объявлены областями сплошной коллективизации.

Проснувшись одним зимним морозным утром, мы узнали, что станица (в который раз!) оцеплена и что всю ночь шли аресты. К полудню аресты были закончены, а к вечеру в Приморско-Ахтарскую верховые милиционеры и чекисты начали пригонять арестованных крестьян со всего района. Всего забрали человек шестьсот. Среди них уже не было ни кулаков, ни подкулачников даже в советском толковании этого слова. Это было настоящее черносотенное крестьянство, казаки и иногородние.

Я замещал санитарного врача. Меня вызвали в райком и поручили проверить помещения для арестованных. Я вошел и застыл на пороге, вспомнив подвалы Чека. В два помещения большого, пришедшего в негодность дома, где с трудом могло бы уместиться человек двести, загнали втрое больше. Все окна были открыты настежь, несмотря на мороз, — иначе люди задохнулись бы. В одном из помещений были двухэтажные нары. На нарах и под нарами на грязном

полу лежали вповалку люди. Ночью поочередно одни спали, другие стоя ожидали очереди.

Никто их, конечно, не кормил, и питались они тем, что приносили родственники и знакомые. Каждое утро я с ужасом думал, что надо идти к арестованным. После посещения посылал к ним фельдшера с медикаментами. Направлять заболевших в больницу было строго запрещено. Дом усиленно охранялся, прохожих заставляли обходить, делать большой круг. Примерно в ста шагах толпой стояли близкие и родные. Родственники арестованных стали приходить ко мне, умоляя что-нибудь предпринять, хотя бы добиться их перевода в другое помещение. Я и сам об этом все время думал.

Хорошо зная, что пытаться воздействовать на большевиков человеческими чувствами бесполезно, я написал докладную записку начальнику ГПУ, изложив “опасность, грозящую всему трудящемуся населению станицы и района от такого скопления людей в одном месте и пользования малопригодной для питья водой из одного колодца. Может вспыхнуть эпидемия брюшного тифа с возможными смертельными исходами, тем более что в станице уже отмечались случаи заболевания этой опасной и тяжелой болезнью”.

Начальник ГПУ соизволил говорить со мной лично. Для нового размещения ждавших отправки на Север крестьян определили один из оставшихся в станице

громадных амбаров. Потеплело, промерзший чернозем оттаял, и грязь на улицах доходила до колен. Арестованных окружили конные милиционеры и, крича до хрипоты, разгоняли жителей, угрожая нагайками и наганами. Улица, по которой по грязи гнали арестованных, опустела, но в переулках стояли в бессильной злобе толпы народа, смотревшего, как “татарва гонит полоненных христиан”.

Арестованным стало легче, но ненадолго. Отправка затягивалась, а через три дня снова ударил мороз, выпал снег и в амбаре стало чуть ли не холоднее, чем на улице, люди не спали всю ночь. Снова плач и стоны. Но как помочь? По-видимому, никак. Больных стало больше. Несколько человек с обострившимся суставным ревматизмом лежали со вспухшими, как колоды, суставами. Двое заболели воспалением легких.

Однажды утром в больницу приехал на линейке начальник ГПУ, чтобы вместе со мной осмотреть больных в амбаре, не симулируют ли? Я сказал, что мне надо заехать домой за стетоскопом. На самом же деле я хотел взять с собой сына, чтобы он увидел и навсегда запомнил.

В открытые ворота амбара было видно, как арестованные ходят, трут замерзшие уши, хлопывают себя руками. Меня все знали, и я знал многих. Сын отворачивался, чтобы начальник ГПУ не заметил его слез. Осмотрев больных, я сказал, что

больных воспалением легких и суставным ревматизмом — всего восемь человек — следовало бы поместить в больницу.

— А кто их там будет караулить? У нас больше нет свободных людей!

Действительно, свободных вооруженных людей не было тогда не только в районных центрах. Всю милицию из городов мобилизовали на аресты крестьян, заменив ее самоохраной из преданных рабочих.

Тут мне пришла счастливая мысль: я предложил начальнику ГПУ освободить в милиции камеру с уголовниками и поместить туда больных. Камеру отапливали и арестованных хоть плохо, но кормили. Начальник ГПУ принял мое предложение, и больным стало немного легче.

Через месяц арестованных загнали в эшелоны: одних с семьями, других без, и отправили на лесозаготовки, на Беломорканал и на другие “фараоновы” стройки.

“Выявить и отобрать излишки”

После этой массовой высылки крестьяне снова стали возвращаться в колхозы, и их сопротивление под ударами большевицкого террора начало постепенно

угасать. Но эти удары предшествовали еще более грозным событиям.

Вскоре я как член стансовета получил повестку: в обязательном порядке в таком-то часу явиться в помещение клуба. Там собралось несколько сот коммунистов, станичный актив и красные партизаны.

Заведующий финотделом коммунист, месяца четыре тому назад присланный из края, объяснил собравшимся предстоящие цели и задачи. Из присутствующих создается хозяйственный полк по чисто военному принципу: командиром полка назначен он, заврайфо, комиссаром полка — завапо (заведующий агитационно-пропагандистским отделом). Полк делится на роты, роты — на взводы. Задача полка — выявить и отобрать все излишки, поскольку они нужны государству. Колхозникам же теперь “излишки” не требуются, они перешли на положение рабочих, и о них будет заботиться государство.

Затем пошла речь о пятилетке, о гигантах промышленности, о колоссальных капиталовложениях, о независимости СССР от капиталистических стран и о создании мощной Красной армии.

После речи была переключка, и каждый был зачислен в роту и взвод. Нашим командиром был коммунист-матрос из порта, взводным — коммунист-

железнодорожник. Взвод состоял из трех комсомольцев, одного коммуниста, трех красных партизан, нескольких рабочих — членов союза, двух членов стансовета, одного портного и меня. В наш участок входило примерно тридцать домов.

Вошли мы в первый дом. Способ вхождения теперь изменился: коммунисты считали себя в каждом доме начальниками, поскольку дом стал собственностью колхоза. Стучать, не говоря уже о разрешении войти или извинении за беспокойство, никому из них даже в голову не приходило.

Хозяин и двое его сыновей сидели в комнате, и их поведение мне сразу напомнило поведение арестантов при входе надзирателя. Ни один из них не смутился, не сдвинулся с места, на лицах их можно было прочесть: “Теперь ваша власть, можете делать что хотите. Мы вас постараемся обмануть, это единственное, что у нас осталось”.

Заговорил командир взвода:

— Ну, хозяин, знаете, за чем мы пришли?

— А откуда нам знать? — ответил старик медленно, деланно-равнодушным тоном, в котором чувствовалось: “Не за добром, конечно”.

— Мы пришли за хлебом. Государство нуждается в хлебе. А вам он теперь не нужен. Вас теперь будет кормить колхоз.

— Оно-то известно, как он будет кормить... А хлеба, товарищи, нет, — таким же невозмутимым, усталым от вечных приходов коммунистов голосом отвечал хозяин.

— Вы середняк?

— Да, говорят. Вам лучше знать...

— Средняк, зажиточный.

— Был когда-то. Недаром у меня три сына. Все работающие, работали всю жизнь, не пропивали. Теперь на других работаем, да и то не дают.

— Покажите окладной лист. Ого, хозяин, что-то много на вас наложено! У вас хлеб должен быть. Подумайте, хозяин, лучше вам будет.

— Я сказал: хлеба нет. Ищите, сколько хотите.

Начался обыск. Сначала по сундукам и под кроватями, потом полезли на чердак, в пустую конюшню. Вилами и щупами тыкали в землю. При обысках больше всего руководствовались доносами — так называемой “работой бедняцких групп”, то есть тесной связью коммунистов с наиболее опустившимися из батраков. В первый день у этих крестьян ничего не нашли, но на следующий день, получив более подробные доносы, стали копать в указанном “шпионами” месте и нашли два мешка зерна, весь запас семьи в десять человек. За утайку государственной собственности (зерна) у них конфисковали имущество, а самих сослали.

Миновав хату-развалюху, вошли мы во второй дом, где жила почтенная семья крестьян-старообрядцев, не

пивших, не кутивших, не злословивших. Отец, дочь, сын с женой всю жизнь работали не покладая рук.

Раньше у них было пятнадцать десятин, теперь — шесть. Пара лошадей, две коровы, много птицы. Дом небольшой, но чистый, любо смотреть. В светлой комнате со старыми иконами, в углу и на стенах, со снежно-белыми занавесками на окнах, чистым, покрытым простыми дорожками полом была в сборе вся семья. Вся станица уже знала, что ходят по домам и отбирают хлеб.

— Здравствуйте, хозяин. Знаете, за чем мы пришли?

— Да, слышали, за хлебом, говорят, — ответил высокий, широкоплечий старик с длинной седой бородой.

— Ну так как, отец, сами дадите или искать будем?

— Хлеба нет, делайте что хотите. Сами знаете, какой летошний год урожай был.

— А как ты, хозяин, думаешь, — сдвинув фуражку на затылок, спросил комсомолец лет двадцати, — неурожай был потому, что Бог не дал?

Старик посмотрел на него и сказал спокойно и уверенно:

— Да, сынок, если Бог не даст, то урожаю не будет.

Другой комсомолец весело, поучительным тоном воскликнул:

— Ничего, хозяин, вот увидишь, на этот год все тракторами вспашем, без вашего Бога управимся.

Старик на него глянул и промолчал.

— Ну так нет хлеба, говорите? — начал снова взводный.

— Я сказал, что нет. Если бы вы были христиане, я бы перекрестился и вы бы поверили. А так, ищите.

— Ну, хозяин, плохо тебе будет, если найдем!

Были еще в двух домах. В одном сами отдали два мешка зерна, в другом комсомольцы вырыли три мешка зерна и мешок муки.

После обеда зашли в хату, где за корытом стояла пожилая крепкая женщина. Муж — тоже пожилой, хилый, болезненный — сидел в углу возле печи. В углу была икона, лампада, стены увешаны революционными картинками, вроде крейсера “Марата”, “Первой конной”, и фотографиями молодых людей в красногвардейских формах.

— Что, за хлебом пришли? А вам его много нужно?

— шутливым, неискренним тоном спросила хозяйка.

— Нам много не нужно, пудов десять дадите, уйдем.

— А у меня его пудов двести.

— Где же, мамаша?

— А вон, гляньте, под печкой...

— Ну, мамаша, вы все шутите, давайте делом поговорим. Сколько у вас хлеба?

— Да вон же, говорю вам...

— А мы знаем, что он у вас припрятан.

Женщину как хлыстом ударили. Она оставила корыто, стала посреди комнаты, подбоченилась и закричала:

— Припрятан? Мой собственный хлеб припрятан?! А кушать чего будем? Вы нам дадите? Знаем, как вы дадите! Все, что вы забрали, все пропало. И кони пропали, и коровы пропали, и поля пропадают, и дома разваливаются, и заборов не стало... Вы дадите! А моих четырех сыновей, погибших в Красной армии, тоже дадите? Первыми они пошли с Ахтарским полком Таманской дивизии. Да что вам говорить, вы еще без штанов бегали, а теперь по домам ходите хлеб отбирать! За что только они погибли? Говорили: за землю, за свободу! А теперь в сто раз хуже стало, чем раньше. Есть у меня хлеб, шесть пудов. Спрятан, и не отдам! Четырех сынов отдала советской власти, а этого хлеба не отдам. Хоть убейте, вилами отбиваться буду, а не отдам!

Она вышла, хлопнув дверью так, что затряслась вся хата. Взводный пошептался с комсомольцами и сказал:

— Пошли!

Мы и пошли. Но начальники были недовольны: они считали, что в подводе, за нами следовавшей, мало хлеба. В двух комнатухах было много детей.

— Хлеб есть?

— Откуда у нас хлеб?

— Все так говорят, а мы потом находим!

— Да разве вы не видите, какие мы зажиточные? Все детишки голые. Боже мой, хлеб! Где его взять?

Но взвод уже начал шарить по скрыням. Из другой комнаты раздался крик:

— Нашли!

— Да Боже мой, это же ячмень для детишек! Не забирайте, это у нас последнее!

— Приходите в совет или колхоз, вам выдадут.

Один из взвода поднял мешок на плечо и направился к выходу. Дети бросились к нему, вцепились в мешок, подняли крик:

— Дяденька, не забирайте, мы голодные, больше у нас нет хлеба!

Двое комсомольцев оттолкнули детей, третий выскочил с добычей. На улице стояли соседи, ожидавшие своей очереди.

Что было с ними дальше, не знаю. Я видел достаточно. И боялся, что могу сорваться. Я вышел со двора и отправился домой.

Что делать? При “проклятом царском режиме” легко было восклицать “Что делать?” или, для разнообразия, “Что же делать?” В худшем случае человек рисковал прокатиться в Сибирь, где в глуши и тиши мог заняться самообразованием. А теперь? Уйти в лес? Поздно... Сейчас надо думать о другом. Большевиков начинает люто ненавидеть большинство народа, даже те, кто им верил. Мать четырех погибших за большевиков сыновей, старик, дети, нищие и голодные! Что творится в их душах? Тут может произойти взрыв народного негодования.

Я пошел к заврайздравом просить освободить меня от участия в грабежах, но он сам уже это сделал: врач был необходим в больнице.

Вечером я пошел на собрание полка “бойцов хлебного фронта”. В президиуме сидел военком, командир полка и ротные командиры. На стенах были красные флаги и лозунги на длинных бумажных полосах. Все партизаны почему-то оказались на задних скамьях.

Военком, подводя итоги двухдневной работы полка, заявил, что задания выполнены только на 18% и что полк будет продолжать работу, пока не осуществит директиву партии и советской власти “на все сто”.

Хлеб должен быть, кулаки его прячут. Вопрос о чересчур мягкотелых коммунистах придется поставить на бюро райкома. Для успешного выполнения пятилетки необходимы громадные усилия. Наш Советский Союз со всех сторон окружен врагами, которые не дремлют и ежечасно готовы на нас напасть, чтобы уничтожить первое и единственное в мире пролетарское государство. Мы должны добиться полнейшей независимости от капиталистов и создать мощную Красную армию для выполнения задач, стоящих перед мировым пролетариатом и мировой революцией.

Эта революционная патетика, ежедневно повторявшаяся на всех углах громкоговорителями (на одной только базарной площади орало четыре), красных партизан совершенно не тронула. Они начали выступать один за другим:

— Кого, товарищи, мы считаем теперь кулаками? До бедняков добрались!

Стали перечислять, у кого взяли последнее, вспомнили и изъятие мешка ячменя, при котором я присутствовал. Там кого-то избили. Там женщина вилами продырявила кому-то пальто... Партизаны кричали:

— Молодец баба! Надо было в пузо ткнуть!

Шум и крики с задних скамей заглушали ответные речи, военкому никак не удавалось восстановить тишину. Я не верил своим ушам: и у красных партизан, значит, упала повязка с глаз? Президиум выпустил против них двух своих “тузов” — коммунистов из красных партизан — слепое орудие партии.

Предстансовета соседней станицы начал рассказывать, как они находили хлеб, как по ночам рассылали по станице и по полям своих людей следить, куда крестьяне его прячут. Помогла в виде наградных и водочка, вообще развернули колоссальную и продуктивную работу. А все потому, что правильно поняли и провели в жизнь директиву партии и советской власти об организации бедняцких групп и контактной работы. Он подробно рассказал, как они выезжали в поле, как выкапывали мешки с зерном: у одного четыре пуда, у другого три мешка, у третьего десять...

Его рассказ все чаще прерывался выкриками партизан:

— Больше, больше нашли! Целый вагон!

А когда он назвал десять мешков, закричали:

— Брешешь, сукин сын!

Конец его речи потонул в общем гуле. Переворот, совершившийся в большевицкой гвардии, был необычен и радостен. Беспартийные, присутствовавшие на собрании, смотрели широко раскрытыми глазами. Президиум снова выпустил их брата, красного партизана, бывшего их ротного командира, который начал с воспоминаний, завел речь о “битвах, где вместе рубились они”. Тут-то и слышались самые замечательные выкрики возбужденных красных партизан:

— Если бы знали, не в ту бы сторону стреляли! Теперь умнее будем! Для комиссаров воевали, а сами без штанов остались!

Военком, объявив, что полк будет продолжать работу, пока не выполнит план, поспешил закрыть собрание. На следующий день двоих членов общества красных партизан вызвали в областное ГПУ. Не успели они уехать, как повестку получили еще трое. Через неделю были арестованы и увезены двадцать три красных партизана.

Так добивали крестьянство по всей России. Откуда бы люди ни приезжали, где бы наши друзья ни побывали — повсюду тот же грабеж во имя Коминтерна и его армии, тот же стон и плач по всей России.

Уже весной 1931 года люди выходили в поле полуголодные, но еще от истощения не падали, еще не умирали. Но голод был не за горами. Озлобленная

и ограбленная Россия, обнищавший народ с трепетом ждали грядущего. Кто мог ему помочь? Кто его понял? Кто хотел его понять? Небольшая помощь извне в эти годы, хотя бы одного из славянских народов — и рухнула бы власть большевиков, и мы бы праздновали воскресение русского национального государства.

Но вокруг было тихо, как на кладбище. А вскоре вся Россия покрылась и кладбищами, и братскими могилами. Два мира встали друг против друга непримиримыми врагами: с одной стороны — Россия, всеми оставленная, одинокая и нищая, но верующая, с другой стороны — коммунисты, свои собственные, российские, и международный сброд, поддерживаемый до зубов вооруженными чекистами.

Гибель скота

Свой рогатый скот крестьяне стали форменным образом истреблять, как только их начали загонять в колхозы. Власть строго преследовала убой как злостное и преднамеренное уничтожение колхозного имущества. Но крестьяне резали по ночам и ночью же продавали. Россия тогда в последний раз поела вдоволь мяса. И к нам тоже по ночам стучали в окно и предлагали мясо по очень низкой цене. Люди чутьем предугадали судьбу коров в колхозе. И не ошиблись:

лучший скот угнали куда-то на фермы, и крестьяне больше не видели ни своих коров, ни молока.

В нашем районе тоже была молочная ферма, на которой вырабатывали сыр и масло, шедшие на экспорт или в Торгсин. Из этого “корыта” кормились и ответственные товарищи. Один из них, наш пациент, как-то угостил меня этим сыром. Крестьяне и не знали, как он выглядит.

На молочных фермах был создан целый ряд должностей: заведующие, старшие доярки, младшие доярки, посудницы и другие. Если колхозникам выдавали молоко, то это отмечалось как особое событие, о котором даже сообщала районная газета.

Весной достигло высшей точки и другое бедствие, начавшееся одновременно с коллективизацией, — падеж лошадей. Лошади сталидохнуть от плохого ухода, тесноты, недостатка корма и переутомления. Корма для лошадей стало не хватать уже в январе. В областях России, где недостатка в кормах никогда не было, начали скармливать лошадям солому с крыш.

С 1 января 1931 года я с работой в больнице совмещал должность санитарного врача. Объезжая свой район, я мог заезжать в соседние районы. Но и там положение было не лучше. В богатой когда-то станице, славившейся своими конями, с начала апреля по середину мая из оставшихся 600 голов пало 275. На Украине, на Волге было то же самое.

Но власть не терялась. Центр приказал соорудить “ускоренными темпами” (выражение, которое можно было слышать сотни раз в день) районные салотопки. Обработывали павших лошадей. На открытие салотопки было необходимо разрешение санврача. Когда я приехал в салотопку нашего района, чтобы ее осмотреть и выдать разрешение, там уже четыре дня работали полным ходом. Какой там санврач, какое там разрешение, если партия приказала, а конидохнут не переставая!

Салотопка состояла из трех помещений. В одном рубили на куски павших лошадей, в другом эти куски вываривали в котле. В третьем была канцелярия. Построена салотопка была из “подручного материала”, главным образом из разоренных построек высланных людей, как и другие помещения, строившиеся в колхозах, деревнях и станицах. Кроме того, валили деревья: фруктовые, нефруктовые — роли не играло.

Объезжая район, я однажды разговорился с изрядно выпившим инспектором милиции, бывшим тамбовским то ли рабочим, то ли батраком, полуграмотным человеком. Я ему оказал какую-то услугу, ко мне он относился хорошо, к тому же ему льстило знакомство с иностранцем, который скоро уедет на Запад. Он был в благодушном настроении:

— Ты вот, доктор, много учился, много читал, языки знаешь, мне все-все про тебя известно. А все-таки ты ни черта не понимаешь. Ты на меня не обижайся, я тебя здорово уважаю. Но понимать — не понимаешь. Ты вот домой приедешь и скажешь: “Вот проклятые большевики, убивают, выселяют, мужиков разоряют!” Скажешь, скажешь. Я знаю, тебя мужики любят. Тебя любят, а нас ненавидят. Значит, ты с ними, а не с нами. У них, у проклятых, чутье! Их, брат, не обманешь. Если бы могли, они бы нас в порошок стерли. А этого захотели? А наган видели? А ты фокус видел? Наш, большевицкий фокус? — Он вытащил из кармана грязную тряпку. — Видел? — Он спрятал тряпку и показал пустые руки. — А теперь видишь? Была, и нет! Ха-ха! Вот что большевики придумали: был мужик, а теперь его нет. Теперь одни рабочие, товарищи рабочие. Я в крестьянском деле ничего не понимаю — и он не должен ничего понимать: на это есть товарищ агроном, наш, советский агроном. Он обязан думать. А эти обязаны не думать, а выполнять, мать их... — Он свистнул. — Какое приказание будет, товарищ агроном? Десять рабочих-боронщиков? Являются специалисты-боронщики! Борони и не думай! Вот ты доктор, а не знаешь, что думать вредно? У нас при раскулачивании несколько милиционеров думать начали, так мы им дали духу! Сколько, ты говоришь, крестьян в России? Сто миллионов? Это было сто миллионов, а теперь нет ни одного. Где ты найдешь на свете такую силу, как большевики? Было сто миллионов и — нет!

Лошади тоже были и — нет! Ну и не нужно, к черту! У нас свои, большевицкие лошади — трактора. А кто на тракторе? Рабочий-тракторист. Кто на сеялке? Рабочий-сеяльщик! Кто на комбайне? Одни рабочие. Кончилось счастье — домой таскать и сундуки набивать. Теперь фабрика: получай паек и крышка!

Крестьяне меня, действительно, любили, и это, несомненно, было отражено в моем деле как лишний повод для подозрений. Ведь дела велись на каждого советского гражданина, а на иностранца — тем более. И когда в нашем небольшом порту грузили отобранной у крестьян пшеницей итальянское судно, вмиг нашли меня, чтобы переводить переговоры с капитаном, который тут же начал ругать советскую власть. Уже после этого случая я начал подумывать о переезде, а после откровений пьяного инспектора понял, что откладывать не следует. В этой стране нужно чаще переезжать. На новом месте ты хоть какое-то время в относительной безопасности.

“Кони стальные”

Тракторы и комбайны, по замыслам большевиков, должны были сделать государство независимым от крестьян, потом по “призыву мирового пролетариата” к тракторам прицепят не плуги, а пушки и победоносная Красная армия двинется “бить

агрессора на его территории” и совершать мировую революцию. О тракторах пели, как о живых существах, необходимых и во время мира, и во время войны: “Боевые друзья, трактора... Нам в поход собираться пора!”

Все это с шумом, криком, самовосхвалением, и все “в мировом масштабе!” С использованием всех ресурсов страны, вплоть до последнего куска хлеба, отобранного у крестьянина, большевики начали строить “заводы-гиганты, каких мир не видал” и перед которыми “бледнеет Америка”.

Многие вначале поверили в созидательную мощь большевиков и смирились с лишениями: “Год-два потерпим, а потом размахнемся”. Большевики были так уверены во всемогуществе тракторов, что даже не обратили особого внимания на падеж лошадей.

Но уже первый год показал, что тракторов выпустили намного меньше предусмотренного планом и что многие из них вскоре двинулись не в поход, а в ремонт или даже в утиль. Тут большевики завопили и вспомнили о лошади. Послышались свирепые фразы о головоплетстве, левом уклоне и, как обычно, о врагах, вредительстве и саботаже. Тут же было взято на вооружение новое понятие “конно-тракторные группы”, которые, как все у большевиков, надо было создавать, и “в ударном порядке”. Что же произошло?

Плохие хозяева выпустили негодную продукцию и передали ее в неумелые руки. В первую пятилетку только военная промышленность была отстроена относительно солидно. Остальная хромала “на все четыре ноги”. Тракторы были сделаны плохо, из недоброкачественного материала. Уже в 1933 году подсчитали, что они изнашиваются в три-четыре раза быстрее американских. А запасных частей не было. На курсы трактористов, созданные в каждом районе, брали только “социально близких”, которые “не подгадят”. И вот “социально близкие”, но слабо подготовленные механики в рекордный срок выпускали “социально близких” недоученных трактористов, а те быстро портили плохую социалистическую технику.

Начали твориться и другие невероятные вещи: каждый день ожидают из Москвы приказа на выход в поле, а горючего нет. Большевики бросили все силы на тяжелую промышленность и запустили давно не отремонтированные железные дороги, о которых еще Троцкий сказал, что, мол, ничего, до начала мировой революции, которая не сегодня-завтра начнется, они выдержат. Но мировая революция почему-то не начиналась, а транспорт начал сдавать.

Запасные части лежали на станциях, а в это время в ремонтных мастерских, мобилизовав всех слесарей и кузнецов, разбирали один трактор на части, чтобы починить ими другой. Снова обратились к “местным ресурсам”: на заводах, в учреждениях отбирали

керосин и сдавали в МТС. Я, как врач, по особой записке мог купить керосин для вечерней “научной работы” (на которую не было ни времени, ни сил). И разложив на всякий случай на столе книги и рукописи, мы вечером зажигали лампу.

В то время спорили, чем лучше обрабатывать землю: тракторами или лошадьми. Крестьяне в один голос утверждали: трактором хуже. И понятно: трактор был фактором политическим, помощником врага, орудием порабощения и пролетаризации людей. Если бы тракторы выполняли нормальную хозяйственно-экономическую роль, принадлежали крестьянам и вводились по мере надобности, отношение к ним было бы иное. К комбайнам, игравшим как экономическую, так и политическую роль, крестьяне относились с не меньшей ненавистью.

В пятнадцати верстах от Приморско-Ахтарской были земли громадного совхоза “Красный приазовец”. В определенный день был назначен выход на сбор урожая примерно двадцати комбайнов, которые должны были доказать всем ненужность ручного труда и независимость “механизированной” советской власти от крестьян.

Толпа крестьян, собравшихся со всех окрестностей, ожидала выступления. Я наблюдал за их лицами: такие лица я видел только в 1917-1918 годах. Свирепые, полные ненависти глаза впивались в эти уборочные машины: вот он, зверь из Апокалипсиса! В

мыслях выплыло сравнение: в конце XVIII века в Англии с такой же ненавистью смотрели люди на прядильные машины, сделавшие ненужным их труд и лишившие их хлеба. Сама по себе прекрасная машина, чудо техники, и там и здесь попала в руки презирающих человека эксплуататоров.

Комбайны загудели, заработали, как живые существа, и двинулись, убирая пшеницу, которая потоком неслась по конвейеру, исчезала в башне и поступала оттуда обмолоченной, отвеянной, насыпанной в мешки и готовой к транспортировке. На башне стоял человек, как капитан корабля, плывущего по морю золотой пшеницы. Впечатление большое. И вдруг раздался торжествующий крик крестьян. Романтика сухопутного корабля их нисколько не обворожила: они увидели то, чего жаждала их душа: комбайн “догоним-перегоним”, чудо техники, оставлял немалую часть урожая неубранной!

Бюрократия

Советская бюрократия, или учет, — еще одно чудовище коммунизма. “Советская власть — это электрификация, механизация и учет”, — беспрерывно кричали громкоговорители, повторяли ораторы, писали ежедневно газеты и журналы. Сто шестьдесят миллионов жителей, семьдесят тысяч сел, тысячи городов, миллион разного рода проявлений

человеческой жизни — яблоко не имеет права упасть с дерева, чтобы это не было где-то учтено и отмечено, чтобы не составлен был акт! Небольшая лавчонка должна иметь своего бухгалтера — а как же иначе? Ведь теперь все государственное, каждую вещь кто-то выдает, каждую вещь кто-то принимает, кто-то расписывается в выдаче, кто-то расписывается в приеме. Ордера, расписки, резолюции, запросы, отчеты, бумаги, бумаги... Организация работников учета стала самой многочисленной, всеобъемлющей, гигантской, фетишем, таинственной силой, самоцелью.

Я слышал на одном собрании отчетный доклад важного бухгалтера, договорившегося до “геркулесовых столпов”:

— Если на сегодняшний день мы имеем 270 рабочих, обслуживающих нашу бухгалтерию, то завтра, если окончится сырье, эти рабочие могут уйти. Но бухгалтерия останется, она никуда уйти не может, и не должна никуда уйти!

Какое было раньше начальство на селе? Староста, писарь, урядник и больше, кажется, никого. Не уверен, буду ли в состоянии восстановить в памяти все начальство, восседавшее теперь в качестве власти и учета над несчастной деревней. Предсельсовета или стансовета, его помощник, канцелярия, состоявшая из главбуха, помбуха, одного-двух делопроизводителей, зав. налоговым столом, завхоза, завфина, завзагсом,

кассира, секретаря, машинистки... У совета свой президиум, который тоже входит в администрацию. Партийная ячейка со своим секретарем, комсомольская — со своим да еще женорганизаторша получают зарплату, как и другие упомянутые. Комиссии: культурно-бытовая, земельная и еще две, названия которых забыл. И все они — органы советской власти. В каждом колхозе — правление: председатель, его помощник, секретарь и бухгалтерия, численность которой зависит от мощности колхоза. Бухгалтерия каждого колхоза должна ежедневно отсылать пять отчетностей, кроме того, отчетность по месяцам, кварталам и полугодиям, годовой отчет. Всего двадцать четыре отчетности.

Наряду с этими государственными, общесоюзными отчетами канцелярии были завалены отчетами для местных районных организаций. Отчетности требовали райисполком, райколхозсоюз, финотдел, животноводсоюз, райком, райагроном, райздравотдел, женорганизация, райсовпроф и еще, и еще...

В противовес этому “творчеству” они особенно тщательно и злорадно уничтожали остатки подлинного творчества, наследие великого Столыпина. Хутора сносили, жителей переселяли в села или станицы. В 1930-1931 годах можно было уже видеть их полуразрушенные дома — немых свидетелей былого благосостояния. После ухода степных наездников, опустошавших страну и

уводивших русских полонян, оставались, по-видимому, подобные же картины. Но великая разница была в том, что те жгли, забирали и уходили, а эти занимались тем же, но не уходили. На одном заседании райисполкома разбирался вопрос о ликвидации большого хутора. Малые они уничтожали не церемонясь, административным порядком. Но в этом хуторе было около восьмисот жителей, Зампредрика доказывал необходимость перенести хутор, а на его более пригодных для пастбищ землях расширить коневодсоюз (всего-то было в нем тогда шестьдесят лошадей). Такое мероприятие соответствовало бы политике советской власти по отношению к хуторянам и продвигало бы конно-тракторную перестройку. Постановили: выселить хуторян в двухнедельный срок. Заврайдом-отделом должен был “под личную ответственность следить за проведением данного постановления в жизнь”.

Это пример образа действий советской власти по отношению к своим гражданам, в данном случае к целой деревне. Люди уходили из родного края кто куда мог и куда кому удавалось. Им советская власть не шла навстречу, видя в хуторянах закоренелых собственников.

Рыбколхоз

Вскоре после сельскохозяйственных колхозов большевики начали организовывать такими же методами рыбацкие.

Рыбаков у нас было примерно столько же, сколько жителей на упомянутом хуторе, и их сопротивление в конце концов тоже сломали. В колхозные амбары навалили горы сетей, вентерей, волокуш, переметов и других рыбацких принадлежностей. Часть из них была объявлена устаревшей. Ловля переметами, например, была даже запрещена, так как рыба иногда срывалась с крючков и портилась. Ее обещали ловить в будущем более совершенным “научным” методом. Рыбаков, как и колхозников, разделили на бригады по десять-двенадцать человек в каждой во главе с бригадиром, назначенным правлением колхоза. Рыбаки делились на основных, занимавшихся рыболовством с малолетства, и на новых, ставших рыбаками после войны ввиду выгоды этого дела.

На третий же день после “обобществления” всего рыбацкого инвентаря разразилась сильная буря. Буря на Азовском море налетает часто и внезапно и носит хаотический характер, поскольку оно мелкое (средняя глубина 9 м, наибольшая — 14,5 м). Если сильный ветер дул из степи, он отгонял воду от берега, дно обнажалось на сотни метров. Казалось, что вода стоит вдали колышущейся стеной, и мы собственными глазами видели, насколько реально описан в Библии переход евреев по дну Красного моря. Если же ветер дул с моря, то волны набегали с большой силой и

докатывались до крутого берега, обрушивая целые пласты земли.

На этот раз ветер пришел с моря, а у берега были сотни баркасов, байд и лодок. В таких случаях рыбаки, не считаясь ни с какими стихиями, бросались в воду, помогая друг другу, и за короткое время весь их флот оказывался на суше.

За четырехлетнюю работу при коллективизации я видел много тягостных картин, но эта была одной из самых своеобразных и характерных.

Жители, памятуя 1914 год, когда вода, гонимая ветром, залила станицу, бросились к берегу. Рыбаки были уже там и молча стояли, глядя на бушующее море. Между ними, размахивая руками, бегали люди. Я узнал в них коммунистов и членов правления рыбколхоза, кричавших:

— Товарищи рыбаки, что же, дадим пропасть колхозному имуществу?! Товарищи, давайте спасать байды!

В ответ слышалось:

— Лезьте вы вперед, мы за вами!

Волны захлестывали берег. Когда они откатывались, под рокот шторма слышался стук и треск бьющихся друг о друга и о дно баркасов. Одни из них срывались

с якоря, другие погружались в воду. Одну байду выбросило на берег, и она стала вертикально у обрыва, как выбившийся из сил конь, упершийся передними ногами в берег, не в состоянии двинуться дальше. Двое рыбаков, не выдержав, бросились к своему детищу.

Послышались крики:

— Не смей! Пускай они спасают! Это теперь не наше!

Рыбаки махнули рукой и вернулись. А байды уже не стало: новая волна ее смыла. Рыбаки были мрачны. Их морские кони уже им не принадлежали. Подвергаться опасности? Зачем, для кого? Рыба все равно теперь не их. Ее съест Коминтерн и пятилетка. Жаль, что при этом символическом поражении коммунизма не было ни одной иностранной коммунистической делегации...

Байды чинили неделю. Пятая часть из них вышла из строя навсегда.

Рыбаки выходили в море на рассвете под контролем членов правления рыбколхоза, а улов сдавали вечером в контрольно-приемочных пунктах. Вначале они еду брали с собой, потом и для них организовали бригадное питание, явно недостаточное, в особенности не хватало хлеба. Рыбаки стали воровать рыбу у самих себя. У них это выходило удачней, чем у хлеборобов: бригады были меньше, создавшаяся и

окрепшая в море солидарность — крепче, даже бригадиры не выдавали. Против этого большевики начали борьбу характерным для них методом.

Во время выборов в станичной школе устраивали комнаты для малых детей на то время, когда матери были на собраниях. На дежурство назначали медицинских сестер и акушерок. В 1931 году в школе колхозной молодежи как-то дежурила моя жена. Сына нашей уже упоминавшейся соседки-коммунистки пионерская организация назначила ей в помощь, но он опоздал.

— Где же ты, Игорек, так долго был?

— Мы, тетя Зина, проводили работу по утечке рыбы. Нас посылают на берег, чтобы смотреть за рыбаками, а то они рыбу государственную воруют. Если мы видим, что рыбак спрятал рыбу и несет домой, мы следим за ним, а потом бежим в милицию. Это — задание райкома и эта работа нам засчитывается.

Теперь стало понятно новое явление: дети, шнырявшие по базару и заглядывавшие в кошелки и корзины рыбачек, вместо того чтобы быть на уроках, следили за рыбаками. Потом выяснили, что они заглядывали и к колхозницам. Шла, значит, также и “работа по утечке сельскохозяйственной продукции”.

Совершилось чудо, подлинное большевистское чудо. До коллективизации в нашу кладовую нельзя было войти, не рискуя угодить головой в один из висящих

там балыков. Паюсная икра, подарок от рыбаков-пациентов (попробуй не взять или предложить деньги!), стояла там килограммами. Впрочем, сами рыбаки паюсной икры почти не ели, предпочитая зернистую. После коллективизации у нас, живших на берегу богатого красной рыбой Азовского моря, ни икры, ни рыбы не стало.

В 1931 году частная врачебная практика пришла в полный упадок, и в городах большинство врачей ею уже не занималось. К тому же лекарства было трудно достать даже для больниц. Я начал изучать гомеопатию: гомеопатические средства еще были. Жалованья не хватало, по карточкам — мизерные подачки. Поневоле приходилось отдавать последние часы практике. И вот рыбак-колхозник вытаскивает из-за пазухи украденную у самого себя пару таранок — гонорар. Будет хороший ужин.

Доски красные и доски черные

У берега моря водрузили большую доску. Половина красная, половина черная. На черную записывали рыбаков и бригады, не выполнившие задания, на красную — выполнившие и перевыполнившие. Большевики считали, что это подействует. Но над досками смеялись. Тогда героев красной доски стали одаривать. С речами, с музыкой. Стоимость подарков, по оценке мирного времени, не превышала десяти

рублей, а однодневный улов в доколхозное время стоил в несколько раз больше.

Подарки не возымели действия, и власть снова прибегла к испытанному методу — репрессиям. Отбирали хлебные карточки, уменьшали пайки, отравляли жизнь мелкими бытовыми притеснениями. Не прекращались и притеснения крупные: высылки и аресты. Смех над черно-красной доской сменился страхом за хлебную карточку. В 1931 году большевики, увидев, что полуголодные и не заинтересованные в деле люди неохотно и плохо работают, прибегли к помощи презираемого и чуждого им идеалистического мировоззрения: стали призывать к энтузиазму, выбросив лозунг соцсоревнования и ударничества.

Когда большевики собирались запустить новый лозунг (часто диаметрально противоположный предыдущему), то его сперва в секретном порядке рассылали по всем райкомам партии. Когда его там вызубривали наизусть, он появлялся в печати... и поехало!

На всех партийных, беспартийных, профсоюзных, бригадных, комсомольских и женских собраниях было слышно одно и то же. Возвращаешься вечером, усталый от всех этих собраний и тошнотворных, трафаретных, заводных речей, а тебе на улице громкоговорители в лицо и спину кричат то же самое.

Бригада № 2 заключила соцдоговор с бригадой № 22, обязуясь перевыполнить план на столько-то процентов, закончить починку сетей такого-то числа, бороться с утечкой рыбы, подписаться на заем на сто процентов и распространить его среди населения на столько-то рублей. Бригада № 22 выдвигает встречный план. Это значит, что все обязательства бригады увеличиваются. Какие-то люди объявляют себя ударниками, обещают бороться с браком, не допускать ни одного прогула и идти впереди всех по выполнению общественной работы. Мы поднялись теперь на высшую ступень труда соцсоревнования и ударничества, мы должны преисполниться энтузиазмом и таким, для буржуазных стран недостижимым и непостижимым, способом выполнить гигантские задания, поставленные перед нами партией и советской властью. Наш лозунг — “Догнать и перегнать!”. Кого? Америку, естественно.

Все понимали, что это ничего общего с энтузиазмом трудящихся не имеет, а придумано для усиления пресса потогонной системы. На тему ударничества и “догнать-перегнать” начали циркулировать бесчисленные анекдоты. Например: догонять Америку можно, но перегонять не следует, так как тогда американцы увидят, что у нас зад голый. Как ни сильно давление любой из диктатур, оно всегда сопровождается облегчающим душу подпольным юмором. Перед весенней путинной центр преподносит трестам план и контрольные цифры, а тресты его “спускают” до низовых организаций — рыбколхозов

— с наказом выполнить как минимум на 100%. Коммунисты дрожат за партбилет, который народ теперь называет “хлебной карточкой”, и лезут из кожи вон. А над всеми парит ГПУ.

Как могут перевыполнить план рыбаки? Разве улов от них зависит? Нет, не от них, а от большевиков. У рыбаков на борту баркаса были зарубки, по которым они до прихода советской власти и коллективизации определяли размеры дозволенной для ловли рыбы. Рыбу маломерную возвращали морю. Это правило строго выполнялось, ведь от него зависели будущие уловы. Теперь колхоз стал ловить обещанным “новым научным методом” все сорта рыбы в любое время года, любого размера, повсюду, всеми способами. Начали уменьшать и ячейки новых сетей. Что вчерашнему рабочему или батраку до рыбы в Азовском море? Сегодня он председатель рыбколхоза, а завтра за тысячу верст отсюда — директор гвоздильной фабрики или судья...

Метод лова путем ограбления моря не мог не окончиться трагедией для природы и рыбаков. Но у многих большевицких трагедий есть и комедийный оттенок. Планы улова вырабатывались не на одну путину, а на всю пятилетку: рыбколхоз “Красный Октябрь” обязуется в 1929 году выловить по плану, предположим, сто тысяч пудов рыбы. В 1930 году — сто семнадцать тысяч, в 1931 — сто двадцать пять... и так далее. Нередко к тысячам пудов для придания достоверного вида прибавлялись сотни.

Для достижения высот социализма был изобретен целый арсенал повышения продуктивности. Тюрьмы и ссылки — от начала до конца советской власти. А в промежутках — красные и черные доски, премирования, встречные планы, соцсоревнования, ударничество, труддисциплина, самокритика, самозакрепление, переключка, выдвигание. И через какое-то время изобрели новое чудовище — стахановщину.

Весь этот еще неполный арсенал средств был не в состоянии перевесить два как будто малозаметных момента: личную заинтересованность и свободу труда. Все падало: эффективность труда, и урожайность, и улов — все становилось день ото дня хуже. Люди говорили: “На них проклятие”.

Советская школа

Советская школа стояла на четырех китах: классовом принципе, безбожии, материализме, интернационализме. Намерение большевиков воспитывать детей в духе интернационализма характеризовалось уже названием школ: имени Карла Маркса, Розы Люксембург, Луначарского, Первого мая, Ленина, Октябрьской революции, Фридриха Энгельса, Сакко и Ванцетти. Это были исходные точки советского воспитания детей.

В 1922 году я со знакомым учителем присутствовал при чистке школьной библиотеки. Чистили два комсомольца и учительница, говорившая с иностранным акцентом. Первым делом она стала искать книги религиозно-патриотического содержания, но они были изъяты уже до этого. Затем направилась к классикам и стала бросать на пол книги Достоевского, дважды проверив, не остался ли какой-нибудь том. Одной из самых ненавистных для коммунистов книг были “Бесы”, их обладателю грозило три года лишения свободы, то есть столько же, сколько и рассказавшему антисоветский анекдот.

Классики постепенно исчезали из школьных библиотек, оставаясь в нужных для власти хрестоматийных выдержках. На смену старым пришли новые писатели. На экзаменах по литературе преобладали Демьян Бедный, Маяковский, Есенин (которого затем изъяли), Сейфуллина, Эренбург, Максим Горький, Чернышевский (“Что делать?”) и им подобные.

Ни одну из областей своей духовной жизни русский человек не любит так, как литературу. Главная идея русской литературы, религиозно-нравственная, основана на ценности человеческой личности. Возникла она в непрерывной борьбе против крепостного права, была носительницей евангельских истин.

Религиозно-нравственное начало было немедленно исключено из школьного воспитания и заменено грубым и примитивным материалистическим мировоззрением, кульминацией которого была классовая ненависть. Детей стали воспитывать в атмосфере жестокой классовой борьбы, которая, в отличие от борьбы с внешним врагом, велась на уничтожение, в которой отсутствовало какое бы то ни было сдерживающее начало или снисхождение к побежденному. Эта внутренняя гражданская война, насыщенная ненавистью и чувством мести, переносилась на детей и внуков: пролетариев всех стран надо любить, это наши друзья и союзники, представителей чуждых классов следует ненавидеть и уничтожать. С приближением коллективизации увеличивалось число людей, которых следовало ненавидеть и обезвреживать любыми способами.

“Освоение ребенка”, работа над превращением его в сознательного пролетарского борца начиналась с очернения и дискредитации всех авторитетов, кроме большевицкого. Ребенку внушалось, что старые люди воспитаны в отжившем мещанском духе и поэтому их нельзя слушать, а со всеми вопросами надо обращаться к представителям советской власти. Школа воспитывала вражду к родителям и была источником бесчисленных трагедий. Детям, а особенно пионерам, внушали, что шпионство и доносительство в пользу советской власти — дело почетное и необходимое.

Знакомый врач рассказывал: когда он работал на Нижней Волге, там за донос выдавали детям по гривеннику. Можно привести немало случаев, когда по доносу детей арестовывали их родителей или соседей. Вовлечение детей и подростков в политическую борьбу, оскверненную низменными пороками и чувствами, растление детской души с целью превращения человека в аморального и жестокого члена коммунистического коллектива само по себе уже достаточно, чтобы исключить большевиков из общества культурного человечества.

Линия большевицкого воспитания проходила красной нитью во всех школьных предметах. Основой всей учебной программы были социально-политические науки. В вузе мы проходили пять политических предметов, перечисленных в моем врачебном дипломе: политэкономия, история ВКП(б), история материализма, конституция СССР и вневойсковая подготовка. История изучалась как история классовой борьбы, причем если на русскую историю приходилось двадцать-двадцать пять страниц, то на двухстах красовались циммервальдские, стокгольмские съезды, биографии Маркса, Энгельса, Лассаля, Либкнехта и, разумеется, Ленина, покушения на царей и иные бомбометания; “Земля и воля”, “Черный передел”, 1905 год на пятидесяти страницах, затем буржуазный 1917 год и, наконец, Великая, Всемирная, Октябрьская...

Общую географию отменили, вместо нее преподавали географию экономическую — для углубления историко-материалистического понимания внешних процессов. Это, конечно, полезно, если излагается без вранья, но полное незнание общей и частной географии людьми, закончившими университет, и отсутствие необходимого багажа знаний средне-культурного человека производило тягостное впечатление.

Когда рассказываешь западному человеку, что и в таком школьном предмете, как математика, отразился политический подход и служение классовому принципу, он недоверчиво улыбается. Но это так. В условиях задач по арифметике фигурировали военные расходы капиталистических стран, площади церковных и монастырских земель в царской России, численность компартий в мире, все двадцать четыре колхозные отчетности, преимущество колхозного хозяйства над единоличным, разница между обработкой земли тракторами и живой тягловой силой. Мой девятилетний сын как-то должен был высчитывать, во сколько обходилась минута мировой войны. В третьей группе дети оперировали миллиардами текущих и будущих пятилеток.

Классовый принцип, или социальный подход, при приеме учеников в специальные учебные заведения и вуз был также одной из причин понижения образовательного уровня, общего и специального, и настоящей трагедией для бесчисленных молодых

жизней. Детям лишенцев, высланных крестьян, единоличников и большей части служащих двери в высшие учебные заведения были закрыты. Уже в средних учебных заведениях их ожидали препятствия материального и морального характера, преподаватели политических предметов и пионерско-комсомольская прослойка отравляли им жизнь: “Молчи, кулачка, а то выкинем!” Учебники можно было получить только в школе, но для кулачек и поповичей учебников не было. Травля ребенка, виновного в социальном происхождении отца и деда, велась тысячами мелких и утонченных способов. А как раз среди этих детей было немало способных и любознательных. Выхода из этого положения существовало два: один унижительный, второй опасный. Надо или отказаться от родных и в течение пяти лет не иметь с ними сношений, или уехать куда-нибудь подальше, достать новые “чистые” документы и на какое-то время стать рабочим. (А “чистые” документы иногда предлагались провокаторами.) Для женщины был еще способ: выйти замуж за рабочего или за коммуниста. Первый способ редко облегчал положение. Второй из-за постоянных чисток, слезки и подкапывания отравлял существование и нередко приводил к катастрофам.

Детям служащих прием в вузы тоже был затруднен. Легче было детям спецов, приравненных к рабочему классу, например, инженерам на заводах тяжелой и военной промышленности или врачам в колхозах и совхозах. Я знал многих, которым отказывали в

приеме, хотя они в течение нескольких лет блестяще выдерживали вступительные экзамены. Экзамены по физике, математике и словесности в последние годы стали строгими, но строгость касалась, в первую очередь, беспартийных и социально-сомнительных. Командированным, комсомольцам, рабочим от станка, бывшим батракам вопросы задавали, главным образом, по политическим предметам.

После “вредительского” процесса в Донбассе партия решила революционным путем создать свою, пролетарскую, интеллигенцию. Во втузы и вузы была командирована тысяча рабочих от станка — “тысячники”. Они явились как покорные командированные с женами, детьми, подушками, мешками и поселились в специально для них оборудованных общежитиях. Для них были созданы подготовительные курсы, если не ошибаюсь, полугодовые, где изучались элементарные науки, начиная чуть ли не с арифметики. С первого же курса многие жертвы внезапных умственных перегрузок бежали, потому что, по свидетельству других участников, “у них заболела голова, и они сделались как дурные” (признаки неврастения).

Другие все-таки окончили вуз. Вопрос, конечно, как они его окончили, к примеру, медвуз, более мне знакомый. В 1927 году, когда я получил диплом, обучение продолжалось десять семестров. В 1929 году срок обучения снизили до восьми семестров и упразднили экзамены. Профессора лекций больше не

читали, обучение производилось по производственному групповому методу, медфак был разделен по фабричной системе на цеха с цехкомом. Цеха: хирургический, терапевтический и профилактический. В 1930 году число семестров сократилось до семи с половиной. Каждой группой руководил ординатор или ассистент, который в конце семестра выдавал всем удостоверение, что они посещали групповые занятия, — и этим дело кончалось. Роль профессора сводилась к роли надзирателя. С пятого семестра студенты уже делились по специальностям. В конце обучения выдавалась бумага об окончании вуза. Таким образом, общее и специальное образование состояло начиная с первого класса начальной школы, из семи- или девяти- летки и трех с половиной лет вуза. Если учесть, что от 30 до 40% учебного времени уходило на изучение политических предметов, то можно себе представить культурный уровень врача тех лет.

Некоторые из этих несчастных специалистов сознавали свою абсолютную непригодность и старались особо внимательно относиться к больным, задавать вопросы более опытным врачам, пополнять свои знания. Другие держались заносчиво и считали себя всезнающими — характерное отличие полуинтеллигента. В 1932 году мне прислали женщину-врача с годичной практикой, хотя ей был всего двадцать один год. Относилась она к больным невнимательно и вызывающе: “Я врач, понимаете, с кем вы говорите?” Она была мне не в помощь, а в

тягость, и я охотно променял бы трех таких врачей на одну хорошую сестру... Но она была комсомолка и жена ответработника. Безопасней было оставить ее в покое и выполнять ее работу самому.

Не диво, что врачи из старых ротных фельдшеров, которых мы в свое время обвиняли в “фельдшеризме”, были профессорами по сравнению с этими врачами, и между ними возникала непримиримая вражда.

Власть очень хорошо понимала, что делает: заболевшие большевики не вызывали врачей “своей собственной продукции”. Когда Зиновьев в Сочи после ночного кутежа “заболел животом”, его приближенные сбились с ног, отыскивая врача с не менее чем десятилетним стажем.

В 1930 году в нашей больнице лежал с воспалением легких коммунист из исполкома. В полубессознательном состоянии он кричал:

— Подайте мне врача, только допотопного! Хоть контрреволюционера!

Долго работники нашей больницы со смехом вспоминали и вполголоса повторяли его вопли.

Бюрократическая система, чудовищная по размерам и по силе власти, отравляет людей уже в пионерском возрасте. “Работа дураков любит” — эту фразу можно

было слышать постоянно от людей всех возрастов. А командовать уже пионеру хочется, не говоря о комсомольце с портфелем. Редкий комсомолец из активистов не ходил с портфелем и не воображал себя диктатором.

Антирелигиозная пропаганда входила в план всех предметов, и ею были обязаны заниматься все без исключения преподаватели. Дважды в год, на Пасху и на Рождество, у агитпропотдела — страдная пора на “безбожном” фронте. Все партийные и советские органы обслуживают безбожников. АПО райкома совместно с обществом безбожников устраивает антипасхальные и антирождественские карнавалы и выступления. Готовят сатирические пьесы на безбожные темы, разучивают безбожные песни, рисуют антирелигиозные плакаты и транспаранты, ученики заучивают речи. Я слушал доклад мальчика лет двенадцати на тему: “Жил ли Христос?” Доклад начинался словами:

— Товарищи, каждому пионеру теперь ясно, что Христос — хитрая выдумка буржуазных классов в целях порабощения трудящихся масс.

Запомнились мне еще некоторые его фразы:

— Наш ученый Дреус утверждает следующее... — И мальчик привел ряд цитат из известной книги Дреуса “Миф Христа”. Затем слова Ленина, Ярославского, Сталина и других. — Значит, если Христос выдумка,

то и Евангелие выдумка, и все учение Христа тоже выдумка, полезная для буржуазии и вредная для пролетариата. Выдуманный Христос на службе у буржуазных классов должен исчезнуть из первого в мире пролетарского государства вместе с помещиками, попами и кулаками!

Мальчик прочел доклад, длившийся ровно сорок минут, наизусть без конспекта. За исключением часто повторяемого слова “выдумка”, текст был хорошо составлен и произнесен. Видно было, что над докладом и над мальчиком поработали специалисты безбожного дела. Становилось жутко: какая сила движет этим сатанинским оружием!

Второй мальчик разъяснил слушателям, какой вред коллективизации наносит религия, и призывал учеников просвещать родителей и бороться у себя дома против мракобесия и религиозного дурмана.

Затем началось представление. Сын коммуниста, в рясе, с громадным красным носом, волосами по пояс, в колпаке в виде митры с наклеенными на нем шутовскими изображениями, размахивал “кадиллом”. Под гармонику исполнялись безбожные частушки. Я не выдержал и ушел. Уходили и другие. Всюду, где только возможно, я старался наблюдать за характерными проявлениями советской жизни и хранить их в памяти в надежде когда-то изложить на бумаге. Но плохо развитая способность до конца бесстрастно наблюдать за вивисекциями и

экспериментами над живым телом русского народа часто мешала мне довести наблюдение до конца.

Не удивительно, что буйно разросшееся на этой почве хулиганство часто парализовало школьную жизнь. У учителей не было никаких возможностей воздействия.

Со школьной жизнью я постоянно сталкивался. Союз Медсан-труд обычно шефствовал над какой-нибудь школой, и нам приходилось принимать участие в ее общественной жизни. В школах проводились врачебные осмотры, лекции, были организованы курсы первой помощи. Но приходилось и составлять акты, зашивать раны, накладывать гипсовую повязку.

В соседней станице ученик украл у другого нож и книгу. Товарищи пострадавшего потребовали от учителей и заведующего школой его исключения. Им разъяснили, что надо ждать школьного совета, он разберет этот вопрос. Тогда ученики затащили вора на чердак и повесили. Уборщица услышала шум и успела вынуть посиневшего мальчика из петли.

Группа хулиганов терроризировала школу, обращалась к учителям на “ты”, столкнула учительницу в канаву и кричала: “Ты все равно ничего не можешь!” Просьбы об исключении их из школы или переводе поодиночке в разные школы ни к чему не привели:

— Вы должны уметь подходить к ученикам, научиться социалистическому методу работы. Вы не умеете общаться с пролетарскими детьми. Вам чужда пролетарская идеология.

Эти бессмысленные и глупые фразы начальники, как попугаи, бесконечно повторяли измученным учителям, которые всегда оказывались виноватыми. Так и в этом случае: учительнице пришили ярлык “социально чуждого элемента” (ее отец работал чиновником в земской управе), сняли с работы и перевели в другую станицу. Хулиганы же продолжали хулиганить. Одного, правда, отправили в соседнюю школу.

А вот другой случай. Учительница привела к нам в больницу ученика с тремя глубокими резаными ранами на спине и на голове, нанесенными школьными хулиганами. Одного из них, сына зажиточного когда-то крестьянина, исключили, другим вынесли общественное порицание.

А одного ученика вытолкнули из окна, и он сломал плечевую кость. На вопрос, почему они это сделали, хулиганы ответили: “Просто захотелось!” Устроили собрание, заведующий произнес речь, призвал хулиганов к сознательности. Затем выступили несколько учеников, уверявших, что советская власть создала самую свободную школу в мире и что стыдно иметь в ней таких несознательных учеников. Выступила учительница, назвала их поступок

хулиганским. На это один из обвиняемых негромко, но внятно сказал: “Сама ты хулиганка!” Я решил помочь учителям и заявил, что разбираемый хулиганский поступок есть признак психического расстройства и что я напишу в центр и потребую изолировать виновных. Это их немного испугало. В конце концов, после долгих уговоров двое покаялись, третий же отвернулся и не пожелал разговаривать. Вечером двоих из выступавших учеников забросали камнями “неизвестные”.

В первые годы советской власти учителям пришлось скрывать религиозные и национальные чувства, распространять безбожие и интернационализм, принимать участие в разрушении народного образования. А начиная с 1928 года на учителей нагрянуло еще одно бедствие: их вынудили участвовать в политическом угнетении, в реквизициях, в выявлении кулачества и уничтожении его как класса, в пропаганде коллективного хозяйства и, наконец, в насильственной коллективизации. В 1928 году их заставили ходить по домам и учитывать скот.

Я шел как-то от больного домой. И вдруг из переулка слышу отчаянный лай собак и крики. Вижу: две знакомые учительницы с какими-то бумагами, и с ними парнишка-комсомолец с “Дрючком” (палкой) в руке.

— Вы что тут делаете?

— Ах, доктор, лучше бы повеситься! Третий день ходим по станице, скот переписываем. Люди ругаются, во двор не пускают. А если пускают, то не отгоняют собак. Некоторые, кто нас знает, те хоть понимают что к чему, а другие ругают самой площадной бранью. Вчера мы заявили нашему групповому, что больше не пойдём. А он отвечает: “Если вы отказываетесь помогать советской власти, значит, вы против нее. А если крестьяне к вам так относятся, то, значит, вы не умеете к ним подходить, не находите с ними общего языка, пора вам, товарищи учителя, научиться работать и мыслить по-пролетарски”.

Хозяйка меня хорошо знала по больнице и по моей просьбе отогнала собак, но тут же во весь голос стала “высказываться”:

— И где это видано, чтобы власти заставляли учителей ходить по домам скотину переписывать?

В 1930 году учителям в составе смешанных групп пришлось ходить по дворам и участвовать в реквизиции корма для колхозных лошадей. Одна из учительниц была на волосок от смерти. Богатырской силы крестьянин долго упрашивал не отбирать у него последний корм, предназначенный для коровы, которую у него еще не успели реквизировать. Когда это не помогло, он пришел в ярость и схватил оглоблю. Коммунисты и вся группа разбежались, а крестьянин замахнулся на учительницу, но жена ее

спасла, повиснув у него на руке. Ночью меня вызвали к учительнице, она билась и рыдала.

— Лекарства? Какое же я могу прописать вам от этого лекарство? Какое лекарство от этого поможет? В Бога верите?

— Верю, доктор...

— Тогда молитесь. Это единственное, что могу вам посоветовать.

Началась коллективизация. Вся Россия застонала. Русский народ как будто очнулся от гипноза. Враг сбросил маску, и русский народ увидел его в неприкрытом виде. Увидели его и дети. Они стали неузнаваемы, у большинства из них исчезла беспечность и налет хулиганства, их сердца горячо и непримиримо отозвались на разгром деревни, на гибель тысяч людей. У учителей возникла новая проблема: дети начали открыто выступать против советской власти. И не только дети. Секретарь райкома партии Каневского района застрелился, оставив письмо, в котором обвинял Сталина в злонамеренном истреблении русского народа. Содержание письма передавалось из уст в уста.

Участились выходы из партии и самоубийства. Из нагана, который ему выдали для участия в проведении коллективизации, застрелился восемнадцатилетний комсомолец, Игорек-старший, часто затевавший игры с детьми в нашем дворе. Наш сын и дети соседей очень по нему горевали. В одной

из станиц одиннадцать комсомольцев подали письменный протест против двух членов партии, которые избивали арестованных крестьян, чтобы выбить у них признания в сокрытии хлеба. Коммунистов райком перевел в другой район, двух комсомольцев куда-то откомандировали, троих сослали, шестерых исключили из комсомола.

Антисоветское выступление произошло в 1929 году в Школе колхозной молодежи или “шекеме”, как ее называл народ. Большевики стали строить обучение по производственному принципу, с уклоном в узкую специальность и создавали такие школы в сельских местностях, сокращая количество школ общеобразовательных. В первой группе второй ступени двадцатичетырехлетний преподаватель политграмоты задал вопрос:

— Откуда государство получает средства?

Ученик ответил:

— Известно откуда: грабит!

Учитель в возмущении обратился к классу, чтобы вызвать осуждение этой контрреволюционной вылазки. Но весь класс закричал:

— Правильно, правильно он говорит!

Забили тревогу, произвели следствие, объявили ШКМ “неблагополучной в смысле кулацкой агитации”, однако ученика не тронули: он был сыном бедняка.

От учителей я почти ежедневно слышал о выступлениях учеников, говоривших о моральном выздоровлении народа. Два раза в неделю стали проводить собрания учителей с представителями партийных и советских организаций, на которых говорилось о недостаточной агитации среди учащихся в пользу колхозов. И вот все уроки стали начинаться и оканчиваться доказательствами выгоды колхозов. Многие дети после урока говорили учителям:

— Мы понимаем, что вас заставляют нас агитировать, но мы знаем, что и вы думаете, как мы.

По доносу сына коммуниста, узнавшего, что ученица третьей группы в первый день Пасхи не явилась в школу, а кроме того, отнесла сырную пасху своей бабушке, учком по указанию райкома устроил над девочкой суд. Доносчик произнес обвинительную речь, требуя исключения из школы. Но когда дело дошло до голосования, то оказалось, что, кроме нескольких учеников, все четыре группы против исключения. Результат голосования был встречен аплодисментами, ученицы кинулись целовать девочку.

Колхозы не могли уже справляться с прополками и уборкой. После грабежей, ссылок, голода, бегства

крестьян с земли и других несчастий количество хлеборобов сильно уменьшилось. Но я считаю, что главной причиной была начавшаяся вскоре после коллективизации молчаливая и упорная забастовка крестьян, не желавших выполнять рабский бесплатный труд. И так будет, надо думать, до конца коммунистической власти.

Эта власть, вероятно, впервые в русской истории, начала направлять на полевые работы школьников. От трудовой повинности были освобождены только ученики первой и второй ступени. Остальные вместе с преподавателями трудились в поле целые дни. Сначала на работу отправляли только в выходные, потом чаще. Наконец, на двух-трехнедельные сроки. Младшим отводили ближние участки, не дальше шести-восьми километров. Старшие уходили в поле с ночевками. Спали на земле, кормили их дрянной похлебкой, они мокли под дождем. Появились простудные заболевания, вплоть до воспаления легких. Бывало, что на занятиях в классе отсутствовало до 20-30% учеников. Как-то детей третьей группы в поле застала гроза с ливнем и они с учительницей спрятались под навесы и в амбары бригады. Одна из опор сдвинулась, и амбар завалился набок. К счастью, дети успели выскочить, трое только получили ссадины и синяки.

В Краснодаре во время уборочной кампании опустели почти все учебные заведения. Полторы тысячи учащихся выгнали в свекловодческий совхоз. Эта

сельхозфабрика засеяла земли сосланных крестьян сахарной свеклой. Для учащихся не было приготовлено ни ночлега, ни питания, ни орудий труда. Только на третий день начали варить им похлебку из той же свеклы. Молодежь начала болеть и разбегаться. Курсистки и преподавательницы в городской обуви и легких платьях — другой одежды у них не было — грязные, голодные. Добирались домой по несколько дней.

На второй год коллективизации в колхозах трудодни стали записывать не на главу семейства или на едока, а за выполнение определенной трудовой нормы. Теперь все должны были работать: от детей до стариков.

Классовая медицина

Советскую медицину невозможно изучить на показательных объектах, построенных для властимущих и интуристов. Сущность медицины измеряется не количеством и размерами лечебных заведений, а ее духом и отношением к человеку. В дореволюционной России была лучшая в мире организация медицины — земская. Земство построило сеть больниц, и медицинская помощь, включая лекарства, для крестьян была бесплатной. Земские врачи были воспитаны на нравственных началах русской культуры. Они были поставлены в хорошие

условия, у них была возможность совершенствования в России и за границей. Из их рядов вышло немало выдающихся врачей и профессоров. Уездные и сельские больницы были хорошо снабжены и оборудованы всем необходимым. Только сегодня, вдали от России, я четко вижу громадную разницу между коммерческой медициной “культурного Запада” и земской медициной “варварской России”.

Большевики медицину долго не трогали, и она не подверглась такому развалу, как другие государственные и общественные учреждения. Наоборот, был создан прекрасный по замыслу план здравоохранения, как затем оказалось, предназначенный главным образом для пропаганды. И вскоре перед нами, медицинскими работниками, разверзлась пропасть, на дне которой зашевелилось чудовище — классовая медицина.

После войны, в особенности гражданской, в России резко повысилось число венерических заболеваний. Половая распущенность во время НЭПа тоже этому способствовала. Но у нас в течение нескольких лет не было сальварсана. Тот, кто хоть немного знаком с медициной, знает, какие катастрофические последствия должно было вызвать отсутствие этого существенного при лечении сифилиса лекарства. Сальварсан в любом количестве можно было закупать за границей, тем более что валюты у большевиков было достаточно, хотя бы в виде ценностей, отнятых у Церкви. Но перед коммунистической властью

никогда не стояла дилемма: здоровье и благосостояние российских народов или мировая революция, на организацию которой эти ценности, несомненно, тратились.

В первые же дни после коллективизации медицинские учреждения переполнились. Медицина оказалась между двух огней: люди искали у нас помощи и облегчения, власть требовала твердости и жестокости. По закону амбулаторный врач за пять с половиной часов работы мог принять не больше сорока больных. У нас в приемных толпилось их теперь до восьмидесяти, а то и до ста двадцати. Люди всеми способами старались добыть справку о болезни, чтобы оправдать нежелание записываться в колхоз или выходить на работу. Мечтой была справка об инвалидности.

В единоличном хозяйстве крестьяне, особенно в страдную пору, работали, часто не считаясь со здоровьем, зная, что по окончании работ смогут подлечиться и собраться с силами для следующей страды. К тому же каждый был сам себе хозяин, мог когда угодно отдохнуть, а затем снова выйти на работу. Теперь крестьянин стал крепостным у государства, и каждое его движение контролировалось. За невыход на работу штрафовали, а дальше грозило исключение из колхоза, арест, высылка, голод.

Невыход на работу засчитывался за трудовой день только в том случае, если крестьянин представлял официальную справку от медицинского учреждения. Каждый заболевший колхозник: мужчина, женщина, трудоспособный ребенок должны были иметь больничный лист. Поскольку питание людей теперь зависело от милости или немилости колхозного начальства, то количество справок чудовищно возросло. Выздоровливающим и хронически больным нужна была справка для усиленного или диетического питания с такого-то по такое-то число. Обычно начальство выдавало им несколько стаканов молока, это было и “усиленное питание”, и “диета”.

Работа врача стала каторгой. Каждый больной превратился в малую, а иногда и в большую проблему: симулянт ли он, каким его почти всегда считают правление колхоза и бригадир? Или на самом деле больной? Хроническое заболевание, на которое он жалуется, действительно не позволяет ему выполнять работу? Какую именно? Постоянно или какое-то время? Как помочь человеку без того, чтобы самому не оказаться на скамье подсудимых?

В ожидальной гудит толпа, а ты в амбулаторной обстановке, превращенной в какой-то конвейер, определяй состояние больного так, чтобы и его не ущемить, и не вызвать подозрения у начальства, которое может на тебя и в ГПУ донести. Послать его в больницу? Но больница перегружена. Люди, по

двадцать лет ходившие с грыжей, просят на операцию.

— Двадцать лет не мешала?

— Теперь колхоз, теперь мешает.

У множества крестьян появлялись аппендициты, возникала необходимость удалить небольшую кисту или бородавку, которые после коллективизации стали мешать. Народ быстро изучил симптомы болезней, главным образом язвы желудка. Люди начали жаловаться, что амбулатория им не помогает. Доходило до того, что человек являлся в венкабинет и говорил:

— У меня сифилис. Я был в Краснодаре, там нашли в крови. Справку потерял. Дайте бумагу, что мне нельзя идти в колхоз, чтобы другие не заразились.

Резко увеличилось количество травм. Люди, не привыкшие обращаться с тракторами и другими сельскохозяйственными машинами, то и дело получали ранения, от небольших ссадин до тяжелых увечий. В газетах и медицинской печати забили тревогу, появились глубокомысленные высказывания о необходимости создания специального травматологического института и при нем кафедры по изучению профессиональных заболеваний. Стали разрабатывать обширные планы по обслуживанию колхозников, а в особенности — трактористов. В общем, по обыкновению шумели и запускали

воздушные шары там, где без лишних слов следовало в первую очередь позаботиться о лучшей технической подготовке людей, имеющих дело с новыми для них сельскохозяйственными машинами и тракторами, и добиться своевременной доставки раненых в больницы.

В 1932 году появилась статистика, хотя и явно преуменьшенная, но все же показательная. Были приведены многотысячные цифры погибших из-за запоздалой доставки в больницу или вообще из-за недоставки. Транспорт для больных отпускали с большим трудом. Лошади передохли, возник кризис живой тягловой силы. Несколько раз доставляли к нам рожениц с патологическими родами, с процессом разложения или сепсисом. Несколько дней хлопотали люди о подводе и получали ее с трудом и скандалом. Чуть ли не каждый больной, привезенный издалека, жаловался на бесчеловечное отношение начальства:

— Пусть сдохнет, а лошадей не дам.

Особенно запомнился мне двадцатилетний колхозник, пролежавший дома с зараженной раной пять суток. Я был вынужден ампутировать ему ногу выше колена. Как он ни умолял председателя колхоза, тот лошадей не дал. Мы, медицинские работники, несколько раз поднимали этот вопрос перед организациями, которые вместо конкретных дел выносили громовые резолюции и распоряжения.

Не следует думать, что председатели колхозов были какими-то садистами и не давали лошадей по злой воле. Некоторые из них мне говорили:

— Знаете, доктор, мы становимся просто зверьми. Ежедневно к нам являются начальники, и каждый грозит отдать под суд за невыполнение плана. Бумаг, приказов, распоряжений по несколько каждый день, и все с угрозами. Вот посмотрите: за невыполнение плана — под суд, за это — выговор, за то — исключение из партии... А зампредрика мне прямо заявил: “Никаких больных! Выполняй план или душа из тебя вон!”

На следующий же день после того, как у крестьян отобрали лошадей, вопрос о транспорте стал трагическим для больных, и весьма неприятным, например, для пассажиров, сходящих с поезда в уверенности, что они, как обычно, смогут разъехаться с вещами по домам. Но на станции — ни одного извозчика, всех лошадей отобрали в колхоз. Это нелепое положение длилось до тех пор, пока не додумались назначать к приходу поездов дежурные колхозные подводы. Но и они бывали не всегда. Во время разных “кампаний” люди напрасно ждали на вокзале подводы, наблюдая, как новый правящий класс подъезжает на “своих” и на них же отъезжает.

В течение первого же месяца после введения колхозов все ямы с нечистотами переполнились — вывозить было некому. Мы были вынуждены поставить этот

вопрос на заседании рика. Вызвали зампредколхоза, который заявил, что никто не согласен садиться на бочку, говорят: “Мы все теперь равны, мы все теперь служащие”.

Думали, обсуждали, предлагали разные мероприятия, в большинстве, конечно, репрессивные. Но секретарь райкома с ними не соглашался, утверждая, что колхозников еще больше озлоблять никак нельзя. В конце концов решили нанять людей, как прежде — за плату.

Но вскоре вопрос разрешился по-иному: страна переполнилась арестованными, их и заставили “садиться на бочку”. А впоследствии в колхозах создали еще и соответствующую должность.

Дважды в неделю заседала врачебная колхозная комиссия, тянувшаяся иногда часами. Переутомленный врач, принявший не менее восьмидесяти человек, нередко спрашивал мужчину, была ли беременность. Или писал рецепт: бронхит — 0,3, шесть порошков. Аптекарь, зная условия работы, отпускал нужный порошок.

В задачу комиссии входило определить степень трудоспособности по упрощенной классификации: “трудоспособен”, “пригоден к легкому труду”, “нетрудоспособен”. Вторую категорию еще можно было оговорить в случае какой-нибудь особенности заболевания. Каждый колхоз получал длинный список

с перечнем видов легкого сельскохозяйственного труда. Списка никто не придерживался, да и не мог придерживаться.

Со стороны начальства на врачей посыпались обвинения в мягкотелости и, наконец, до той поры небывалое в медицине обвинение в “неклассовом подходе”. Мы надеялись, что в этой новой вспышке гражданской войны сможем остаться в стороне, сохранив нейтралитет. В первые месяцы после начала коллективизации это удавалось. Но советская власть, бросившая все силы и средства на борьбу против стомиллионного крестьянства, не могла не использовать такой резерв, как медицина. Местные власти получили указание вовлечь в классовую борьбу медицинских работников. Сначала действовали через профсоюзы путем “собеседований” и “индивидуальной обработки”, не желая предавать это широкой огласке.

— Вы, медики, нейтральны и кулаку помогаете в такой же мере, как рабочему и колхознику!

Через полгода стали приезжать медицинские начальники повыше с инструкциями и секретными предписаниями. На общих собраниях медработников они призывали к классовой борьбе “как таковой”. А на совместных заседаниях врачей с месткомом давали вполне конкретные указания по борьбе с кулачеством и врагами коллективизации. Медицина должна была превратиться в орудие классовой борьбы. Нас

упрекали, что мы все еще не можем освободиться от “буржуазно-земского наследия”, и высмеивали врачебную этику, которая в период обострения борьбы с классовым врагом идет на пользу кулакам и их приспешникам. Обращаясь за медицинской помощью, кулак должен почувствовать, что он враг советской власти:

— Кулака вы обязаны лечить хуже, чем колхозника, уже не говоря о рабочем. Ни одного дефицитного медикамента кулаку! В амбулаториях и больницах вы обязаны принимать кулака в последнюю очередь. А можете и совсем не принимать. Не должны выдавать им никаких справок, не пропускать через комиссии. У вас огромные возможности, и вы должны их использовать для агитации в пользу колхоза. Принимая больного, вы должны его спрашивать, почему он до сих пор не в колхозе, и объяснить, почему вы его принимаете в последнюю очередь, не так внимательно осматриваете, не даете лекарства и так далее. Когда у вас в приемной до ста человек, вы должны несколько раз выйти и во всеуслышание разъяснить разницу в оказании медпомощи колхозникам, с одной стороны, и неколхозникам и кулакам — с другой. Во всей вашей медицинской деятельности красной нитью должен проходить метод дифференцированного лечения. Теперешнее положение продолжаться больше не может, мы не можем допустить, чтобы в период жесточайшей схватки с врагом советской власти, во время, когда решается ленинское “или мы их, или они нас”,

медработники стояли в стороне и сохраняли нейтралитет. Принцип “кто не с нами, тот против нас” относится и к медработникам. Мы не можем сегодня рассуждать о методах — в борьбе против кулака все методы допустимы. Можете отказывать кулакам даже в оказании экстренной помощи. Ничего, кроме спасибо, вам не скажут”.

Такие указания руководители советской медицины давали по всей России. Многие врачи мне впоследствии это подтвердили. Разница была лишь в том, что в одном месте начальство говорило “вы можете отказывать”, а в другом “вы должны отказывать”.

Мы начали лечить этих несчастных людей на дому, да они и сами стали избегать амбулаторий и больниц. Идешь вечером к больному “кулаку”, несешь ему лекарство, даешь справку с условием, чтобы он не использовал ее здесь, на месте. Земская медицина ушла в подполье, стала заниматься хождением в народ.

Вот два примера “классовой медицины”. Среди выселяемых на Север крестьян, ожидавших погрузку в эшелон, была женщина на сносях. На перроне у нее начались схватки. Отвезти ее в больницу не разрешили. Вызвать акушерку отказались. Ее оттащили в сторожку, и она там родила. В это время подали состав и ее погнали в вагон. Детское место не успело отделиться, и от сторожки до вагона

протянулся широкий кровавый след. Ее родственники вызвали меня по телефону из района, но я успел приехать только после отправки поезда.

Второй случай был у нас в больнице. Семидесятипятилетний старик, бывший зажиточный крестьянин, раскулаченный и выгнанный из дома, заболел самопроизвольной гангреной нижних конечностей. На одной ноге процесс ограничился пальцами, но на другой распространился на голень. Мы ампутировали ногу ниже колена и положили его в общую палату. Больница была переполнена, и мы были вынуждены положить в общую палату также и коммуниста. Он закричал, что мы принимаем в больницу кулаков и отнимаем место у рабочих и колхозников. Мы стали его успокаивать, говоря, что выпишем старика при первой возможности, что рабочих принимаем в первую очередь и что в больнице для рабочих еще есть два свободных места. Но он, тем не менее, донес, и меня через два дня вызвали в райком:

— До сведения райкома дошло, что вы там кулаков принимаете, а рабочим отказываете в местах.

Я объяснил, как было дело.

— Не знаю, что нам с вами, медиками, делать? Все вы в нейтралитет играете: и нашим и вашим. Долго вы еще кулаков лечить будете и дефицитные лекарства

на них тратить? Какого черта вы с ними возитесь? Будете вы нам когда-нибудь помогать?

Надо было обладать большой силой воли и выдержкой, чтобы удержаться от резких слов...

Дифференцированное лечение

У амбулаторного врача на столе лежало в ряд восемь разноцветных рецептурных книжек. Для активно застрахованных — две книжечки! Желтая — для сложных рецептов, белая — для простых. Для членов семьи — другой цвет. Для колхозников — серая, для членов их семей — белая. У двух коммун был свой собственный лечебный фонд и отдельные рецептурные книжки. Единоличникам выдавали только платные рецепты. Лишенцы и кулаки должны были платить и за осмотр, и за лекарства. Платных больных было немного, они предпочитали не ходить на прием в амбулаторию. Там их принимали в последнюю очередь, да и платить им часто было нечем.

По разным рецептам полагались разные лекарства. Это называлось “дифференцированным медикаментным лечением”. Здесь необходимо пояснение: до войны русское правительство не предпринимало серьезных попыток создать свою собственную фармацевтическую промышленность,

хотя при естественных богатствах России это напрашивалось само собой. Так, во время войны было сразу организовано производство йода.

При большевиках был создан фармхимпром. Хорошее, казалось, дело, и можно было лишь пожалеть, что не создали раньше. Но и здесь сказалось проклятие, тяготеющее над каждым большевистским начинанием. Едва начав создавать собственную промышленность, стали запрещать ввоз медикаментов из-за границы. Но не все нужные медикаменты производились, а производимых не хватало. По совершенно непонятным соображениям (скорее всего из-за ненависти коммунистов к природе и всему “ненаучному”) исключили из аптек лекарственные растения, очень ценившиеся народом, чем только еще больше усилили лекарственный голод. Как и следовало ожидать, созданные наспех советские медикаменты оказались плохого качества, вызывали побочные явления, которые особенно резко проявлялись при новосальварсане. Циркуляр о негодности выпущенных лекарств обычно поступал, когда они были уже в употреблении. Но все же качество советского сальварсана улучшалось, и в конце концов его можно было применять, не опасаясь последствий.

Затруднения с лекарствами осложнились еще целым рядом экспериментов и нововведений. Вдруг из здравотдела во все аптеки прислали книжечки с нумерованными стандартными рецептами без

наименований лекарств. В московских аптеках, обслуживавших рабочих, завели барабаны с нумерованными отделениями, наполненными нумерованными же лекарствами. Больной приносит нумерованный рецепт — завертелся барабан и... готово! Привыкшие к экспериментам и непременно их провалу, мы возмутились, но потом пришлось смириться: выше головы не прыгнешь. По новому методу стали писать только номер стандарта и способ его применения. Например: “Номер 37, три раза в день по порошку”.

Но уже через месяц стали происходить трагические ошибки: у перегруженного врача в глазах рябило и 37 могло превратиться в 73. Очередной эксперимент провалился.

С этой манией изобретательства можно было бы еще мириться, если бы не опустели аптеки. Всегда с нетерпением ожидали мы очередного поступления медикаментов, которые делились на импортные, дефицитные и обычные. Каждую посылку сопровождали инструкции, касающиеся дифференцированного лечения. Наша аптека, обслуживавшая 16 000 жителей, получала, например: пирамидона — 15-20 граммов на квартал (только для рабочих промышленных предприятий); висмута — 50 граммов на квартал (только для детской практики и застрахованным); марганца (экспортный товар) — 250 граммов на полугодие, йода (только для операционных) — в ничтожных количествах. Вместо

него отпускали малопригодный суррогат. Во время эпидемий летних детских поносов, от которых в России умирали десятки тысяч детей, мы часто оставались вообще без нужных лекарств. Касторового масла, которого было в стране достаточно, но которое шло на экспорт, мы не получали, а если получали, то 100 граммов на все лето; к тому же аптека и заврайздравотделом припрятавали его для новой знати. Чернику, которой в России сколько угодно, присылали в количестве однонедельного расхода, да и то часто к осени.

Если к лекарственному голоду добавить продовольственные затруднения, то станет понятно, почему в СССР так усилилась детская смертность.

Перевязочного материала катастрофически не хватало, его перестирывали до полного износа. О резиновых перчатках для операционной и говорить не приходится, они были только в некоторых больших клиниках и, естественно, в кремлевских больницах. Так, по классовому принципу, для дифференцированной медицинской помощи использовались остатки бывшего изобилия.

Чтобы уменьшить расходование лекарств и сократить выписку дорогостоящих рецептов для застрахованных, врачам было вменено в обязанность 40% рецептов заменить советами. Пришли инструкции, где приводились научные цитаты, которые должны были подкрепить новое

распоряжение. Мы возражали. Выписывать рецептов еще меньше, чем мы выписываем, уже невозможно.

Говорили, что аптечные полки и так уже пусты. А злобу за отсутствие лекарств больные, в особенности застрахованные, переносили на врачей, которым было строго запрещено подрывать авторитет советской власти и сообщать пациентам, что лекарств почти нет, а на часть из тех, которые есть, наложена броня. Верным людям мы, конечно, говорили, как обстоит дело, а те сообщали дальше. Вышестоящие организации требовали от нас выполнения директив и проверяли в аптеке выписанные нами рецепты.

Для проведения этих мероприятий в жизнь нас заставляли и в медицине применять методы социалистического труда: соцсоревнование и ударничество. Врач или целый кабинет соревнуется с другим врачом или кабинетом: кто выпишет меньше рецептов и израсходует меньше лекарств (!). Производственная комиссия протоколирует договор, и все кончается ничем. А количество рецептов все равно сокращать надо. И ты их сокращаешь и, как обычно, идешь по линии наименьшего сопротивления.

Труд детский, труд женский

Детский труд в колхозах и коммунах обязателен. В начале 1930 года мне предстояла трудная и гадкая задача: меня назначили в комиссию по определению нормы детского труда в рыбколхозе. Я должен был ознакомиться с производством рыбной промышленности, сконцентрированной на берегу моря, чтобы получить некоторое представление об отдельных производственных процессах и применимости в них детского труда. Для сельскохозяйственных колхозов центр уже определил эти нормы, для рыбколхозов их должны были высчитать только после полученных с мест данных и предложений. Нормы детского труда в СССР единственны в своем роде и характерны для систем, применяющих принудительный детский труд. Дети делились на три категории: первая — от десяти до двенадцати лет, вторая — от двенадцати до четырнадцати, третья — от четырнадцати до шестнадцати. Дети первой категории обязаны были работать два часа в день, второй — четыре, третьей — шесть.

Советское законодательство перечисляло все виды возможных полевых работ для каждой категории и в соответствии с этим определяло четверть, половину и три четверти трудодня. Подобные же нормы и классификация составлялись и для рыбколхозов.

Я ходил на производства, расспрашивал рыбаков и, наконец, составил себе некоторое представление об их труде. В нашей комиссии был комсомолец, прозвище которого было “идеалист”. Он тихо негодовал, видя, как детей заставляют работать без нормы, как колхозы не считаются ни с какими предписаниями и не несут за это никакой ответственности.

Примером жестокой эксплуатации был женский труд. Женщины работали в колхозе наравне с мужчинами, и трудодень им засчитывался только после выполнения нормы, назначавшейся каждое утро бригадиром. Мужчина уже не мог содержать семью, паек был полуголодный и рассчитывался на одного работающего, имеющего колхозную книжку.

Каждый колхозник старался развести около своего жилья огород, все дворы были перекопаны. Если бы не постоянные переселения и перемещения, то огород мог бы как-то поддерживать семью. Работать дома возможно было только по вечерам и по ночам. Женщина должна была еще и варить, стирать, латать, следить за домашним хозяйством, и, хотя мужчина теперь больше помогал по дому, на женщину все-таки ложилось тяжелое бремя. Нормы, назначавшиеся человеку в колхозах, забирали все силы, а домашний труд истощал совершенно. Никогда еще русская женщина не была в таком тяжелом положении, как в это время.

Но еще более тяжелая судьба была у малых детей. Ребенок начинал недоедать уже в грудном возрасте. Количество женщин, способных кормить грудью, сокращалось. Я видел, как с каждым годом увеличивалось количество детей, переводившихся на искусственное питание, а питания этого не было. При потребкооперациях должны были существовать отделения, снабжавшие кормящих матерей продуктами детского питания и другими принадлежностями по уходу за детьми. Но там можно было приобрести только игрушки.

Я несколько месяцев добивался, чтобы этому отделению (Уголок матери и ребенка) отпускали какое-то количество манной крупы и сахара по справке врача. Во время приема в амбулатории я ежедневно выдавал до восьмидесяти таких справок. В “Уголке” по справке выдавали полфунта крупы и полфунта сахару. Служащие потребкооперации были мной недовольны, так как я доставлял им добавочную работу: каждую выдачу надо было регистрировать. Поскольку я не мог обращаться к их человеческим чувствам, пришлось ради спасения хотя бы нескольких детских жизней заняться демагогией. Демагогия подействовала.

Это счастье продолжалось несколько недель, а затем матери снова рыскали по станице в поисках манной крупы и сахара, давали поручения едущим в город. Но и там уже почти ничего достать было нельзя. Случаи рахита, авитаминоза, туберкулеза учащались,

и мы удивлялись здоровому ребенку: “Как вам удалось его так сохранить и вырастить?”

Детская смертность во время коллективизации резко выросла. Завзагсом было строго запрещено об этом сообщать. Умерших детей зачастую стали хоронить без справок врача и загса, что до коллективизации было невозможно.

Санминимум

В начале коллективизации санитарное состояние в России пришло в такой упадок, что правительство вынуждено было издать декрет о санитарном минимуме. Он появился после всех других “минимумов” и не произвел никакого впечатления. Грязь стала невыносимой, всюду царила мерзость запустения. Берег моря стал свалкой, улицы не подметали, нечистоты со дворов, в основном бригадных, не вывозились, в учреждениях люди ходили по слою окурков.

А ответственность ложилась на меня: я по совместительству снова был санитарным врачом. Что я ни делал, ничего не помогало: ни штрафы, ни угрозы милицией. Никто из власть имущих пальцем не шевельнул: им надо было раскулачивать, выселять, выполнять и перевыполнять, а тут я со своими пустяками.

Однако надо было что-то делать, и я предложил устроить день санминимума с помощью школьников. Райком разрешил, но с условием, что инициатива якобы исходит не от меня, а от пионерской организации. Учителя и ученики получили инструкции от врачей, разбились на группы и обследовали станицу. Результаты сообщали в штаб, устроенный перед больницей. Проходившая у нас практику студентка делала стенгазету: тут же рисовала карикатуры, писала к ним тексты.

Мы зашли во двор третьей бригады и спросили:

— Товарищи, почему у вас такая грязь? Двор не выметен, уборная не вычищена,дохлая собака валяется?

Нам сказали:

— Идите, откуда пришли! Теперь хозяина нет, некому следить за чистотой.

В канцелярии рыбтреста нет форточек, нет плевательниц, на полу бумага и окурки, уборная грязная, доски проваливаются, нечистоты плывут через верх. В общежитии рабочих на полу толстый слой грязи со втоптанними окурками, все заплевано, умывальников нет, уборная далеко, оправляются возле общежития. В райкоме нельзя войти в уборную,

оправляются за уборной. Заходили к колхозникам, а те говорят:

— Есть нечего, откуда будут нечистоты?

И еще говорили:

— Так зачем чистить? Завтра нас, может, отсюда выгонят, теперь мы тут — не хозяйева.

Одна колхозница сказала:

— И чего вы, детки, по чужим домам лазите? Вам бы в школе сидеть да учиться.

Женщина была, конечно, права. Но у меня не было иного выхода. Кроме необходимости добиться хоть какого-то подобия чистоты, я знал, что кому-то из начальства вдруг может прийти в голову всю вину свалить на меня и нескольких коллег, и нам “пришьют дело”, по которому мы окажемся саботажниками и вредителями, виновными в “отсутствии гигиены”.

Выезды в районы

С медицинской точки зрения от коллективизации была одна, может быть, единственная польза: еда из общего котла вызвала боязнь заразы, в особенности

сифилисом. Нас стали часто вызывать в детские ясли, бригады, общежития для определения, главным образом, кожных заболеваний, которые в большинстве случаев оказывались неспецифическими. Но мы охотно жертвовали временем, довольные тем, что сам народ указывает на людей, скрывавших от врача венерические болезни.

Несколько раз в год по выходным дням один или несколько врачей со средним медперсоналом выезжали в какой-нибудь отдаленный участок района или области, откуда трудно было добираться до медицинских учреждений с квалифицированными врачами.

Население оповещают заранее, прием происходит в школе или другом общественном здании. Врач-венеролог производит подворное обследование для составления картотеки кожно-венерических заболеваний района и предлагает соответствующее лечение.

Выезды были одной из редких положительных сторон советской действительности. Однако с началом коллективизации они стали для врачей новым источником моральных мучений: помощь людям свелась почти исключительно к выдаче справок. Отсутствие самых необходимых лекарств, в особенности мазей и хинина, свело эти выезды к профилактической болтовне. Хорошее начинание советская действительность превратила в карикатуру.

Вскоре после начала коллективизации в отдаленный колхоз выехала бригада: терапевт, зубной врач, две сестры и я. Мы приехали раньше условленного часа. Около школы сидела только одна средних лет женщина с ребенком.

— Здравствуйте, мамаша! Чем болеем?

Женщина долго молчала, а затем крикнула так, что шарахнулась наша лошадь:

— Чем болеем?! Колхозом болеем, больше ничем!

Бытовые условия

С начала пятилетки жизнь стала резко ухудшаться, и каждый день превращался в мучительную проблему: что есть, где достать, чем топить, чем освещаться, что надеть, чем зашить, что пришить? Базары и кооперации опустели. Важнейшими персонами голодного государства становились служащие потребкооперации. Среди них попадались скрывающиеся интеллигенты, но большинство было на уровне полуграмотных приказчиков мелких лавчонок. Дружба с ними считалась хорошим, вернее, полезным тоном. Говорили: “Что ему, он знаком с кооперативщиками и достает через них все что угодно”. Это “все что угодно” было килограммом

сахара в месяц, парой чулок, копченой рыбой или — верх счастья! — куском мыла для стирки.

Один из наших врачей стал с ними брататься и чуть ли не ежедневно стоял невдалеке от магазина, ожидая его закрытия, чтобы через черный ход получить подавание по казенной цене. Появилось новое деление людей: на умеющих достать и достать не умеющих. Начались очереди за хлебом и другими продуктами. Женщинам снова пришлось хуже всех: после двух-трех часов стояния в очередях измученная и озлобленная женщина приступала к домашней работе, побывав до этого на работе государственной. Мужчина, не работающий на “хлебном месте”, один прокормить семью уже не мог. Только один товар, который продавали даже в мануфактурных магазинах, был в изобилии и по специальному распоряжению отпускался вне очереди — водка. Мимо длинной вереницы людей проталкивался человек навеселе и кричал, размахивая пустой бутылкой: “Это для вас, дураков, очередь. А нам водка без очереди. О нас государство заботится!” Неделями, иногда месяцами пустовали кооперативы, а перед “монополькой” толпился народ. У милиции было секретное предписание не препятствовать продаже водки пьяным, распиванию оной на улице, скандалящих пьяных не преследовать, а, по возможности, утихомиривать.

На одном из известных мне заводов общее собрание постановило закрыть ближний киоск, потому что

рабочие выбегали, покупали и пили водку, отчего страдала работа. Но вдруг из задних рядов поднялся никому не известный мужчина и сказал, что закрывать киоск запрещает. Выяснилось, что это фининспектор, обладающий большими полномочиями. Продажу водки голодному народу власть всячески поощряла.

Пьянство на Руси и “царев кабак” не делали чести и дореволюционному правительству, но тогда народ был хоть сыт, и продажа не превращалась в массовое спаивание голодных с двойной выгодой: пьяный не думает о сопротивлении произволу коммунистической власти, а коммунистическая власть зарабатывает на водке чуть ли не тысячу процентов.

Закрытые распределители

Рядовые коммунисты жили, по сравнению с народом, неплохо. Они или занимали “хлебные места”, или от занимавших эти места партийных товарищей получали необходимое с черного хода.

На совсем особом положении были коммунисты, сидевшие на “верхушках” власти. Для них создали закрытые распределители, заведовали которыми надежные товарищи, имевшие строгое предписание не впускать никого из посторонних. Даже моя

санитарная комиссия, как я ни старался, не смогла проникнуть в это “святое корыто” правящего на Руси класса, и я так и не смог увидеть своими глазами тщательно скрываемое от голодающего народа изобилие.

Прикрепленный к распределителю работник должен был являться туда сам (или его жена), с закрытой кошелкой или чемоданом. Крупные заказы доставлялись на дом по вечерам, под прикрытием темноты. В нашем районе на парткормлении состояло сорок коммунистов. В то время как мы стояли в очередях за 500 граммами пайкового черного хлеба с мякиной, они получали по два пуда белой муки в месяц. Рыбу мы теперь ели только тогда, когда ее тайком приносил, тоже под прикрытием темноты, пациент-рыбак. Предрика же или секретарю райкома привозили ящиками первосортную экспортную копченую рыбу.

Принудительный труд

С началом коллективизации и пятилетки все летоисчисление в СССР стало отсчитываться от кампании до кампании. Раньше тоже бывали кампании: в помощь рабочим Англии, по распространению займа, по изъятию кормов или тары и другие. Но они не охватывали так всю государственную жизнь, как эти новые.

Основными кампаниями стали: посевная, прополочная и уборочная. Во время кампаний страна переводилась на военное положение. Коммунисты опоясывались наплечными ремнями и подвешивали кобуру с наганом. Перед посевной проходила предкампания, начинавшаяся уже в феврале. Ее признаки: циркуляры, распоряжения, указания, воззвания, а также недоступные для простого смертного секретные предписания. Затем из центра появлялись инструкторы. Ежедневные заседания становились теперь почти круглосуточными. Все громкоговорители хрипели и призывали колхозников готовиться к посевной кампании и разъясняли им, какое это важное дело — сеять. А то ли еще будет в уборочную. Несчастные пахари дореволюционных столетий! Какими сиротами и неучами они должны были себя чувствовать без экспертов с наганом в ту темную, не озаренную социализмом эпоху!

“Профсоюзы” бегают, собирают данные, заключают соцдоговора, назначают вечера критики и самокритики, где говорят об ошибках всех и каждого во время прошлогодней кампании. Газеты переполнены лозунгами и статьями. Все о посевной. Выход народа в поле организован по-военному, побригадно, в колоннах, с лозунгами и плакатами: “Не бог, не поп, а наука на службе у большевиков даст нам урожай!” Доморощенный духовой оркестр исполняет вальс “На сопках Маньчжурии”. И не знают безграмотные руководители, насколько

современны сегодня слова этого старинного, дошедшего к нам с русско-японской войны вальса: “Плачет отец, плачет жена молодая, плачет вся Русь, как один человек...”

Включается и город. Сотни коммунистов, тысячи рабочих-ударников, десятки врачей и сестер — все устремляются на посевную:

— Итак, товарищи, исход посевной зависит от правильного медобслуживания бригад и проведения на 100% ясельной кампании!

По плану указано открыть в районе во время посевной кампании 25 сезонных колхозных яслей. Организация их поручена здравотделу.

Учреждена специальная должность инструктора охрматмлада: (охрана материнства и младенчества). На нее назначена коммунистка-выдвиженка. Малограмотная. В беготню втягиваются все медработники. В потребкооперации для этих 25 яслей накладывается броня на какое-то количество сахара, крупы и мануфактуры. Центр отпускает средства на их содержание, а колхозы обязаны отпустить все остальное.

Опять соцдоговора. Обещают, подписывают, приключаются, переключаются, перекликаются...

Медицинское и санитарное обслуживание яслей поручено врачам и среднему медперсоналу. Для заведующих и сестер яслей организуются двухмесячные курсы. Дело нужное, если бы и на эти курсы не посылали по социальному отбору. Но тем не менее попадают хорошие крестьянские девушки, которым курсы приносят немалую пользу.

Состояние яслей всецело зависит от состояния колхозов, а так как начиная с 1930 года колхозники, за редкими исключениями, недоедают или просто голодают, то, разумеется, то же самое происходит и в яслях.

Идея освобождения крестьянки от ухода и присмотра за ребенком во время полевых работ очень хороша. Но большевики руководствовались не гуманными, а чисто утилитарными практическими целями. При их системе никогда не хватало рабочих рук, особенно во время уборочной кампании, и не было случая, чтобы часть урожая, иногда довольно значительная, не осталась необранной. В поле обязана была выйти каждая женщина в возрасте от 16 до 60 лет, если она не полный инвалид.

Указанные 25 яслей обычно размещались в домах высланных крестьян и могли вместить только часть детей, опять-таки по социальному отбору. Для остальных детей устраивали полевые колхозные ясли где-нибудь под деревом, под навесом или в амбаре, вывезенном в поле, невдалеке от бригады, чтобы

кормящие матери не отрывались надолго от работы. Здесь за детьми обычно присматривали две старушки. Полевые ясли с их недостаточным питанием и грязью всегда производили самое безотрадное впечатление.

Во время уборочной обычно “выбрасывался” лозунг: “Ни одного колхозника в амбулатории!” Это означало: медработники — в поле! Колхозники не должны терять ни часа рабочего времени. В амбулаториях и больницах запрещалось принимать колхозника без записки бригадира. Медобслуживание бригад в поле заключалось в создании бригадных аптечек, постоянных наездов врачей и медперсонала с санитарными и лечебными целями. Не были забыты и докладчики для чтения лекций во время обеденных перерывов!

Это гигантский труд и с ним нельзя было бы справиться, если бы большевики не мобилизовали городских медработников, вплоть до профессуры. В городах создавались бригады из врача и сестры или фельдшерицы, которые направлялись на весь сезон в колхозы. Оставшийся в городах медицинский персонал в это время, конечно, перегружен, амбулатории переполнены, работа становится каторгой.

Живо помнится мне приезд к нам в станицу двух врачей и акушерки на уборочную кампанию. Заврайздравом был некогда кочегаром.

Обрадовавшись появлению бригады, он хлопнул женщину-врача по спине:

— Здорово, девка! Хорошо, что приехала!

Та остолбенела. Но он быстро нашелся:

— Ты, кажется, с буржуйскими предрассудками? А мы здесь по-пролетарски!

Городские бригады не всегда приносили дельную помощь. Узкий специалист из клиники иногда назначался участковым врачом в отдаленный колхоз или совхоз. Один такой врач, никогда не имевший дела с глазными заболеваниями, закапал колхознице концентрированный раствор лекарства и вызвал слепоту. Пришлось ему спасаться бегством и ночью пешком добираться до железнодорожной станции.

Каждый выезд в бригады сопровождался тяжелыми душевными переживаниями. Угнетало уже одно сознание, что труд этот — принудительный. А тут еще вспоминаются картины насильственной коллективизации.

В обеденный перерыв бригада собирается возле кухни, становится с посудой в очередь, где бригадная кухарка разливает баланду. (Говорили: “Русское национальное блюдо — щи, украинское — борщ, советское — баланда”.) В другой очереди получают хлеб.

Как только появишься в это время в бригаде, тебя обступают крестьяне. В течение четырех лет в разных колхозах, в разных частях страны я слышал одну и ту же жалобу:

— Посмотрите, доктор, чем нас кормят! Разве можно работать при таком питании? Раньше собак так не кормили!

Однажды я был командирован в колхоз, находившийся в сорока километрах от районного центра: оттуда шли непрерывные жалобы. Колхозники меня обступили с хлебом и посудой в руках:

— Хоть вы нам чем-нибудь помогите! Мы уже жаловались начальству столько раз... Оно сюда приезжает десятками, портфели только мелькают, а пользы от них никакой. Посмотрите, какой хлеб!

В черном вязком хлебе, который получали мы, попадались немолотые зерна, кусочки стекла, камушки, бывал и таракан. Но на этот было просто страшно смотреть.

— Скотину таким хлебом кормить нельзя, подойдет. А суп или борщ — неизвестно, что оно такое, смотрите: бурак и капуста, жира ни капли. Колхоз недавно свинью заколол, все мясо пошло начальству. Нам и попробовать не досталось.

Я составил протокол. А затем начались обычные просьбы о справке на молоко, на крупу для детей, о необходимости больничного лечения, об отпуске после перенесенной болезни. Женщины жаловались на плохое питание в яслях, на то, что нечем лечить детский понос. Двое мужчин просили их осмотреть, так как были не в силах работать.

Обеденный перерыв окончился, бригадиры закричали:

— Давай на работу!

И все постепенно разошлись, кроме двух больных. Составленный акт я передал в РИК. Через месяц от колхозников узнал, что им на весь колхоз прислали мешок перловой крупы, чем улучшение питания и окончилось.

Отсутствие мяса, жиров и удобоваримого хлеба было преддверием голода 1932-1933 годов. Уже в 1930-1931 годах люди недоедали, худели и едва справлялись с работой. Скот падал от недостатка корма, плохого ухода и болезней. Громадный аппарат, мобилизованный для проведения кампаний, ложился тяжким бременем на голодных крестьян. Никто из бесчисленных погонщиков и надзирателей не работал и не голодал.

На весеннюю путину в наш рыбколхоз приехало 17 ответработников. Даже сам предрыбколхоза, и тот жаловался мне на этих гастролеров, как саранча объедавших рыбаков.

Четверо из ответработников приехало из Москвы. На совещание с одним из них, женщиной, вызвали и меня. Нас было человек двадцать, члены комсомола, профсоюза, культотдела, рыбколхоза, апо райкома и другие. Москвичка стала читать нам план, составленный в Наркомпросе и спущенный до низовых организаций. В него входили и лекции, и библиотечки, и аптечки, и громкоговорители в море на “культбайде” или “культбаркасе”... План был на двенадцати убористых страницах. Ни о каком выполнении плана, за которым она якобы должна была наблюдать, не могло быть и речи. Планов была куча, у правления же была только одна мысль: как наловить требуемое Москвой количество рыбы. Члены совещания начали нервничать:

— Я сижу на третьем заседании, а у меня их еще два.

— У меня на девять часов назначено еще два заседания одно временно. Все равно это пустая болтовня... Чего она там читает? Как она думает выполнять этот план?

А никак. Партийка из Наркомпроса пускала пыль в глаза. Она изволила прибыть к нам с сынишкой на поправку и была занята выполнением только одного плана, плана самоснабжения, подобно другим

высокопоставленным товарищам из райрыбтреста, рыб-синдиката, пищевого института, рыбтехникума, рыбколхозцентра, а также из облкома — остальных я забыл. Все они прибавили в весе за счет отнятого у рыбаков и запаслись ворованной красной рыбой и икрой...

Во время обеденного перерыва утомленных колхозников и рыбаков заставляли еще выслушивать лекции о финансовой кампании, о займах и их распространении, об агроминимуме, о стопроцентном выполнении уборочной кампании. Люди сидели как обреченные, никто не слушал. Как-то послали и меня с лекцией в одну бригаду. Уже заканчивал свое выступление завфинотделом. Когда он ушел, люди меня обступили:

— Доктор, это не для вас. Это вам не подходит. Это занятие только для этих босяков. Если спросят, скажем, что вы читали.

Я посидел с ними полчаса и уехал, довольный, что не пришлось кривить душой перед крестьянами.

Коммуны

Январь 1931 года. В степи метель, живой души не видно. Я решил отправиться в одну из коммун на границе соседнего района — десять километров по

железной дороге, десять километров степью. Хотел испробовать силы и нервы. Сколько их еще у меня осталось на двенадцатом году советской власти?

Моей семье предстоял долгий путь. Я ежегодно ездил в Москву добиваться разрешения на выезд в Югославию. Мне вначале отказывали, а затем сказали:

— Ну вы езжайте, а ваши жена и сын — советские граждане, они смогут выехать через некоторое время, после необходимых формальностей.

Что это означало, понять было нетрудно. А уходить из СССР надо было как можно скорее, опасность все увеличивалась. И мы решили двинуться в Таджикистан, оттуда уйти в Афганистан, а из Афганистана в Индию и на Запад.

Ледяной ветер пронизывал насквозь, и у меня было впечатление, что я полураздетый в голой степи. Я продвигался боком, опустив низко голову, потому что иначе невозможно было набрать в легкие воздух: ветер в своем безумном полете не давал вздохнуть. Степь гудела, темно-серые тучи навалились, заполнили пространство между небом и землей. Из серого водоворота неслись, кружились миллионы снежинок и снова взлетали, не достигая земли. Видно было на двадцать шагов, дальше все было серо и непроницаемо.

В коммуне люди с испугом увидели человека, обвешанного сосульками. Еще больше было их удивление, когда они узнали знакомого почти всем врача. Меня отвели в комнатку, где я согрелся и отдохнул.

Итак, я в коммуне. В коммуне, в которой после переходного колхозного периода должны будут жить все народы бывшей России. Комната грязная и неуютная. Стены завешаны портретами Ленина, Сталина и других вождей.

— Сейчас, доктор, угостим вас чаем: послали подписать требование на сахар и хлеб для вас.

Затем из ближайших домов начали приходить больные. Все были больны одной болезнью — недоеданием. Я принял одиннадцать человек. Из них девять просили справку на молоко или на добавочное питание. Все жаловались на жизнь. Меня они знали по больнице, бывали на комиссиях, приезжали на консультацию.

К вечеру погода улеглась, и председатель коммуны созвал людей на лекцию. В большой, общей для всех кухне я говорил о венерических заболеваниях и отвечал на вопросы.

На следующий день я обошел коммуны. Вдоль лимана на пригорках стояли дома бывших хуторян, восемьдесят-девятьдесят домов. Правление находилось

в доме, принадлежавшем когда-то богатому, культурному садоводу, у которого, первого в районе, задолго до большевиков было два трактора.

В коммуне числилось около пятисот членов, а основана она была коммунарами-добровольцами в 1920-1921 годах. Я уж не запомнил, сколько раз сменялся состав коммуны, но цифра была внушительная. Теперешний председатель был одиннадцатым. Коммунары были со всех концов России, многие из них до того никогда хозяйством не занимались.

Имущество коммуны расхищалось, за садом и виноградниками никто не ухаживал. Несмотря на то что коммуна приняла готовое хозяйство с богатым инвентарем, коммуна существовала на субсидии. Государство ее поддерживало по политическим соображениям и дотянуло до коллективизации. Почти все коммуны пользовались среди крестьянства дурной славой. Слово “коммунар” стало синонимом слов “вор”, “лентяй”, “дармоед”, а коммуна — “примером” бесхозяйственности.

В районе было три коммуны, своеобразные опытные станции для колхозов, а также пример организации труда и конечной стадии социалистического общежития. Разница между колхозом и коммуной была, главным образом, в том, что в коммуне был резче, чем в колхозе, выражен казарменный порядок жизни бывших крестьян.

В доме, где я ночевал, была канцелярия, в которой работали бухгалтер, делопроизводитель и три писаря. Тут же председатель коммуны, бывший батрак, приехавший сюда недавно, каптенармус и кухарки. В соседнем доме — секретарь партячейки и завхоз. Помощник председателя жил в другом доме. Вокруг домов — амбары и склады, сельскохозяйственный инвентарь и навес для летней столовой и собраний.

За два дня я обошел почти все дома. В жизни я видел много безотрадного, но более жуткого чувства, вызванного этим новым образом жизни человеческой, во имя которого погубили миллионы людей, я, думаю, еще никогда не испытывал.

В начале коллективизации коммуна прибрала к рукам все лежавшие вокруг хутора и хозяйства. Крепких хозяев просто выгнали, а других превратили в коммунаров. У них не было никакой собственности. Жили они в домах коммуны квартирантами, спали на кроватях, принадлежавших коммуне, ели из коммунальных мисок, ходили одетыми в то, что выдала коммуна. Я наслушался уже стонов колхозников, но такой тоски, как здесь, еще не видел:

— Доктор, чем бы вас, дорогой, угостить? Даже пустого чая нет. Вы видели на кухне, что мы едим? Четыреста граммов хлеба на день, да вот эту бурду на обед и на ужин. Хоть бы детишкам стакан молока. Молоко в коммуне есть, немного, правда, но мы его

не видим. А у правления даже сало есть. Недавно наш парнишка отвозил председателя и женорганизаторшу на станцию, так по дороге они сало ели. Отворачивались, чтобы он не видел. А мы и забыли, какое оно.

— Скажите, а этот шкаф ваш?

— Какой там наш! Когда нас забрали в коммуны, пришли и все описали, забрали на общий склад, а оттуда выдают по ордеру. Если тебе что нужно, пиши заявление в правление. А они на заседании решают: дать или не дать. Жаловаться некому. Постановят в ячейке и на заседании правления выгнать тебя из коммуны — и выгонят. М. помните? Она у вас в больнице лежала, вы ей аппендицит вырезали. Так вот, они с правлением спор завели. Из-за молока. Председатель не захотел выдать резолюцию на стакан молока. А муж настаивал, потому что жене после операции нужно. Председатель говорит: “Дай справку от врача, что молоко нужно”. А муж: “Дай лошадь, в больницу за справкой съездить”. — “Не дам, нечего взад-вперед кататься, лошади коммуне нужны”. Ну, М. его и обозвал. А через месяц пришло постановление ячейки и правления: исключить М. из коммуны за склоку и подпольную агитацию. Так и ушли без копейки, даже одеяла им с собой не дали.

— А белье у вас есть? Простыни, например?

— Вы видели хоть одного коммунара, чтобы он спал на простынях?

Действительно, почти все больные, которых я обошел, спали на мешках, набитых соломой, без простыней.

— Все, что лишнего было, мы продали и проели, детишкам молоко и хлеб покупали. А что остается, стирать нечем. Мыла нет нигде ни куска.

Мыло было неразрешимой проблемой: с начала коллективизации мыло исчезло.

— Мне удалось достать два куска мыла, — как-то радостно сказала жена. — Правда, дорого, по 15 рублей, и я обещала, что ты ее обследуешь и выпишешь лекарство...

Трудно передать впечатление, испытанное нами в Варшаве на второй день после переезда границы при виде мыла, да еще туалетного, в свободной продаже, по доступной цене! Наш двенадцатилетний сын такого мыла не видел еще никогда в жизни и принял его за пирожное...

У нас было секретное предписание: медработники ни в коем случае не должны объяснять невыполнение санитарного минимума недостатком мыла, а обязаны знакомить колхозников и рабочих с мылозаменителями, такими, как зола и другие. Аптека получала на квартал 25-50 кусков туалетного мыла плохого качества. Часть его была забронирована для операционной, остальное аптекарь раздавал власть

имущим. Вспомнив любовь русского человека к бане, можно еще лучше понять тяжесть этого лишения. Нас посылали читать лекции о санитарном минимуме, и мы знали, что не успеем открыть рот, как услышим: “Мыло!”

Под вечер пришли из дальней коммуны, куда я в тот день не успел добраться:

— Отец при смерти, доктор!

Больного я знал, он два раза лежал у нас с декомпенсированным органическим пороком сердца. Сейчас у него были застойные явления в легких, приближавшие кончину. Я сделал инъекцию и выписал лекарство, которое надо было достать за десять верст в аптеке.

— Доктор, напишите справку в правление, что нужно сразу ехать за лекарством, а то не дадут лошадей. Отцу так плохо уже три дня, а лошадей мы достать не могли.

Поздним вечером они снова за мной пришли, и я просидел у них часа два. Около хаты, где лежал больной отец, стояло еще шесть домиков, где жили его сыновья, здоровые, работающие крестьяне. Когда-то у них были коровы, лошади, свиньи, куры, пасека. Теперь они стали полунщиками батраками. С большим трудом они доставали для отца молоко и масло.

Тут же невдалеке в хатенке-развалюшке уже около полугода лежала больная женщина, и никто, кроме соседей, о ней не заботился. Я обратил на это внимание председателя:

— А, чтобы ее скорей черти взяли! Сидит на шее у коммуны. Нельзя ли, доктор, — спросил он со смешком, — какого-нибудь лекарства, чтобы она скорей того?..

Я ответил, что “на данном этапе на такое лекарство решения Москвы пока нет, но не сомневаюсь, что со временем будет”.

Побывал я в этой коммуне еще и в третий, и в четвертый раз. Мы с заведующей женсектором, ленинградской работницей, отправились в находившийся в нескольких верстах от правления коммуны детский городок. В прошлое мое посещение его только начали строить, и я горел желанием увидеть эту “кузницу свободных коммунаров”. Женорганизаторша была симпатичной женщиной лет 35, женой завмага коммуны. Она тоже побывала у нас в больнице.

— Ну как у вас в коммуне с курами? Как решили?

— Знаете, доктор, пришлось некоторым петуха оставить, уж очень просили. Привыкли, чтобы их петух будил, что с ними поделаешь? Темные, отсталые еще люди, сразу их не перевоспитаешь. Которые давно в коммуне, те без петуха привыкли.

Мы решили: пускай до весны будущего года побудут с петухом, а потом отберем. Нельзя поощрять мелкособственнические инстинкты. Если ты в коммуне — обходись без петуха.

— Ну а как коммунары, охотно в коммуне живут?

— Есть такие, что охотно. А большинство нет.

— А если бы вы им сказали: “Вот вам каждому хозяйство, живите, как жили раньше”?

— Понятно, все бы согласились. Только, доктор, они бы нам не поверили...

Детский городок находился в бывшем хуторке из шести домов. Вокруг раскинулись прекрасные фруктовые сады, постепенно дичавшие. В домах были собраны все дети коммуны, от грудного до десятилетнего возраста. Матери грудных детей работали там няньками и кухарками.

— В этом году мы их после уборочной кампании еще распустим по домам, а потом уже не будем отдавать матерям. Мы обязаны их воспитывать как коммунаров, а старики их развращают. Родителей будем пускать на полчаса, час, сперва каждый день, а потом раз в неделю. Только, доктор, помогите достать мыла, золой стираем, какая это стирка?

Потом я направился в другую коммуну. Она отличалась от первой только теснотой, доходившей до предела возможного. В комнате жило по две семьи. Когда я осматривал больных, приходилось просить,

чтобы четыре, а то и шесть человек вышли. Назначать лечебные процедуры было затруднительно: женщина не могла их производить при посторонних.

В коммуне построили новое здание, примитивное, из глины, кирпича, срубленных акаций и фруктовых деревьев, с глиняным полом. Начальство долго спорило: размещать ли мужчин и женщин отдельно или еще по-старому, посемейно. Пока решили посемейно. Люди спали на нарах, белья не было, все пожитки уместались под нарами. Пахло сыростью, затхлостью, глина месилась под ногами, пол был неровный. Сначала на семью приходилось по комнате. Но затем в каждую комнату вселили по второй семье. Коммунары хотели построить отдельные хатки на одну-две семьи: удобней, быстрее и прочнее. Но ячейка и правление обрушились на них с сокрушительными речами.

Здание, построенное по типу казармы, вернее конюшни, должно было воспитывать коллективный дух у коммунаров, зараженных еще мелкособственническими и семейными инстинктами. Любая мысль о мало-мальски человеческих условиях должна была уступать место политическому началу.

“Кулаки”

Лучшим примером того, что означает слово “кулак” в большевицком толковании, были единоличники, проживающие по соседству с коммунной.

Вдоль улицы выстроились небольшие дома, почти все принадлежавшие бывшим красным партизанам, получившим здесь землю после гражданской войны. За несколько лет все они стали зажиточными крестьянами. Примерно из двадцати хозяев только двое пошли в коммуну, остальные продолжали упорствовать, оставаясь единоличниками. Весь “живой инвентарь”, за исключением двух лошадей, у них отобрали. Оставались козы и несколько свиней. Двум или трем, поступившим работать на железную дорогу, оставили по корове.

С большим удовлетворением я обошел их дома. Нужно было своими глазами видеть это чудо крестьянской любви к земле, силу русского человека, не побоявшегося обрабатывать большой кусок земли двумя лошадьми, мотыгами и лопатами. Все они помогали друг другу, в поле выходили как один, с женщинами и детьми. Их хозяйство было тоже совместное, артельное. Но добровольное. На их примере и на примере находившейся тут же рядом коммуны можно было наглядно изучать разницу между свободным трудом и рабской принудительной работой, русской артелью и коммунистическим

колхозом. Рядом с ними пыхтели, тарахтели, крошили землю сопровождаемые проклятиями колхозников тракторы, а здесь, на островке плохой земли (единоличникам отводили худшие отдаленные участки) в поте лица любовно трудились крестьяне.

Долго я сидел у одного из них, угостившего меня медом и хлебом.

— Пойдемте, доктор, покажу вам свою пасеку.

В садике, у самого дома стояло четыре улья и ходила на веревке коза. На вымя был надет чистый мешочек. Козье молоко было для троих детей.

— Вот, доктор, всю жизнь я пчеловодством занимался, пчел, как детей своих, любил. Все, конечно, отобрали, только эти ульи удалось спрятать, и теперь дрожу над ними. А там говорят: “У него целая пасека, мед продает, коза, целое хозяйство, надо его раскулачить!” Кулак для них каждый, кто не хочет в колхоз идти. Но мы хоть бедно живем, да спим на простынях, хотя и латаных. Молоко детям есть, меду немного. И хлеб наш не колхозный, правда? А знаете, где у нас мельница? Третья хата с краю, там, где женщина после родов, которую вы осматривали. За сараем вручную мелем, никто знать не должен. И хлеб наш такой, что есть можно.

“Красный боец”

Приходилось мне бывать и в показательной, известной на всю область коммуне “Красный боец”. Она пользовалась особыми привилегиями и внешне была похожа на настоящую, задуманную социалистическими теоретиками, коммуну. Около нее паслось все начальство района, что уже относилось не к теории, а к социалистической практике.

Около правления, бывшей усадьбы богатого хуторянина, расположились полукругом новые постройки. В центре, в старом здании, в двух комнатах была канцелярия и квартира секретаря ячейки. В соседнем доме жили председатель и завхоз. Каждый занимал по две комнаты, что считалось большой роскошью. Когда я собирался туда, знакомые сказали:

— Будете у председателя, посмотрите на шкаф и комод, это все наше.

На комод у председателя стояли пустые флаконы из-под одеколона. К ним были прислонены открытки с любовными парочками. В разноцветных вазочках красовались искусственные цветы. Окна завешены тяжелыми гардинами, не пропускавшими “вульгарный” свет и придававшими комнате таинственный полумрак, в котором жена

председателя, очевидно, воображала себя героиней кинодрамы или портнихой Мопассана.

Это было не простое мещанство, а советское. В красном углу, где у русских людей были иконы и лампада, висело целых два Ленина: один — кудрявый мальчик, второй — лысый апостол нашей планеты.

В новых крепких кирпичных зданиях были склады, амбары, мастерские и общежития для холостых. В одном из зданий был клуб, где проходили собрания. Я должен был присутствовать на торжестве по поводу годовщины основания коммуны и прочесть доклад о детских яслях.

Главным оратором выступил приезжий ответработник, сообщивший о международном положении, о расширении в мире коммунистического движения и о том, что враг не дремлет. Затем председатель прочувствованно описал историю коммуны. По его речи можно было понять, что хозяйственная жизнь коммуны до коллективизации слагалась из понятий “достали”, “конфисковали”, “дали”, “отпустили”, что вокруг были лишь одни ненавидевшие коммуну богатеи-кулаки и что, несмотря на крупные государственные субсидии, коммуна стать на собственные ноги не смогла. При коллективизации коммуна расширила свои владения за счет отнятых у крестьян хозяйств и теперь жила лучше других коммун и колхозов. Характерным для определения жизненного стандарта земледельца в

СССР были данные о величине рабочего пайка и количестве выданной мануфактуры, которыми хвастал в своей речи председатель:

— Каждый коммунар во время полевых работ получает 800 граммов хлеба. У нас два раза в неделю мясной борщ, детям почти все лето выдавали молоко. За текущий год было выдано по 12 метров мануфактуры на человека. Какая коммуна может похвастаться такими достижениями?

Затем выступил секретарь коммунистической ячейки и объявил собранию, на котором присутствовало 500 человек, что за выдающиеся заслуги перед советской властью и коммуной правление постановило премировать: председателя золотыми часами, завхоза — охотничьим ружьем, секретаря ячейки — серебряными часами, а одного коммунара-коммуниста — отрезом на костюме. Самопремирование приветствовали рукоплесканием несколько коммунистов. Коммунары зло переглядывались.

После окончания торжества меня обступили, повели к больным и засыпали просьбами о выдаче разных справок. Хотя в этой коммуне жилось лучше, чем в других, она, кроме правления, разбежалась бы при первой возможности. Но кругом было еще хуже.

“Сталинские быки”

Когда не стало мяса, большевики решили немедленно покончить с этим “прорывом” и всем органам советской власти приказали организовать кроличьи хозяйства. Не успела родиться эта кроличья мысль, как печать запестрела миллиардными цифрами будущих кроличьих поколений на 1931-1933 годы. Разведению кроликов учили в газетах, брошюрах, на собраниях, в школах, в колхозах. Кролиководы стали цениться на вес золота. Через какое-то время и больницы обязали завести кроличьи хозяйства, которые должны были в точно указанный, по науке высчитанный срок “покончить с иждивенческими настроениями” и стать независимыми от “рабочего снабжения”. Появились медицинские статьи о преимуществе кроличьего мяса, о количестве в нем калорий и так далее.

К тому времени я уже был старшим врачом в Пархаре, на афганской границе. Выполняя предписание, а к тому же надеясь улучшить питание больных и персонала, месяцами не получавшего зарплаты, я послал человека за триста верст за кроликами. Вернувшись, он рассказал, что на ферме, где в ожидании миллиардного потомства было несколько тысяч кроликов, вспыхнула какая-то эпидемия, наложен карантин и при нем выбросили сотнюдохлых кроликов. Неплохую идею погубила большевистская гигантомания: в громадную ферму

попадал больной кролик, и она превращалась в кроличье кладбище. Через два года не стало и кроликов, существовавших до кампании. В 1933 году о кроликах в советской печати уже не упоминали, на собраниях о них не заикались, они просуществовали еще какое-то время в анекдотах как “сталинские быки”.

Надо думать, что большевики висящее на них проклятие на кого-то свалили, кому-то пришили вредительство, кого-то расстреляли. До нас эти повседневности не дошли.

Голод

В ноябре 1931 года на Украине не стало хлеба. Крестьянская Украина зашевелилась и устремилась к железным дорогам. Люди уходили в города в надежде там прокормиться. Многие устремились на Восток, Кавказ, в Центральную Азию, в Сибирь, на Дальний Восток. Из одних районов уходила только часть населения, но были и районы поголовного бегства. Дома оставались старики, надеявшиеся как-то пропитаться картошкой и зеленью.

Люди начали умирать от голода. Старики, оставшиеся в деревне, собирались в один дом, надевали чистые рубахи и ложились на лавки, ожидая смерти.

Закон от 7 августа уносил тысячи людей, прозванных “стригунами”, на тот свет и в лагеря. Вина их была в том, что они срезали колосья на колхозных полях, всегда остававшиеся после уборки. Впервые после набегов кочевников и горцев большевики поставили на полях наблюдательные вышки. Против внутреннего врага — голодного колхозника.

Школы пустовали, многие дети были не в состоянии до них дойти. Были случаи самоубийства учителей.

Дети умирают от голода как-то особенно. Сначала плачут, потом затихают и быстро стареют лицом. Годы предназначенной им жизни протекают по дням и по часам, сжатые в жуткую квинтэссенцию действительности. Их большие глаза покорно смотрят на мир, как глаза старика, постигшего всю неправду жизни. Ужасы войны ничто перед выражением глаз умирающих от голода детей: то, что и ты не умираешь вместе с ними, ложится на тебя, как тяжелая, непоправимая вина. Когда тлеющее пламя их жизни догорает, они ложатся, как ложились убаюканные матерью, и засыпают, чтобы больше не проснуться.

Мужчины и женщины, от природы одаренные силой (горы бы им двигать), бродили по деревне и по полям, собирали траву, ловили кошек, собак, ворон, ели лебеду, древесную кору. Украинские крестьяне, выдавшие на своем веку и набег татар, и панское рабство, и Хмельницкого, и Сечь, и немецкие каски, и

бесчисленные отряды махновцев и марусек, всех пережившие, теперь бродят, шатаются, падают и умирают.

Мужчины умирали раньше женщин. Красивая, крепкая когда-то украинская женщина, теперь худая как щепка, с землистого цвета лицом, хоронила стариков, мужей, детей и ложилась в землю последней. Сама природа пыталась сохранить мать-родительницу.

Идешь в больницу, а возле нее лежит несколько десятков опухших от голода людей.

— Сейчас пройдем сквозь строй, — говорит знакомый врач. — Боже, что делается!

— Доктор, примите нас, доктор, примите нас, — слабыми голосами твердят обреченные.

Служащие больницы сами ходили как тени. В некоторых районах их “сняли со снабжения”, в других выдавали по 200 граммов чего-то, напоминающего хлеб. Больным тоже выдавали по 200 граммов этого хлеба в день, суп из капусты и пустой чай. Эта пища притягивала десятки людей, и они ждали, лежа часами во дворе больницы. Все больницы были переполнены, люди лежали в коридорах, как один похожие друг на друга, опухшие, неподвижные, с лицом цвета земли. К весне истощенность и смертность достигли таких размеров, что люди уже не в состоянии были хоронить своих

покойников самостоятельно. Врачи обходили дома, проверяя наличие мертвых, потому что иногда вымирала вся семья, и об этом никто не знал.

По утрам к больнице подъезжала дежурная подвода, прозванная “бригадой смерти”, и забирала умерших. Затем она начинала ездить по селу. Бригады смерти сбрасывали трупы за околицей в неглубокие братские могилы: у возчиков не было сил копать. По вечерам подкрадывались люди и отрезали куски тел. У людей были отняты крест и культура, и атавизм с безумными и бесчувственными глазами вырвался на Божий свет из глубины веков и впился в тело своего брата, как Уголино в шестнадцатой песне Дантова “Ада” в тела своих сыновей.

Не было села, где не было бы людоедства. Детей не выпускали на улицу, где их подстерегали обезумевшие от голода люди. Я присутствовал при обысках у людоедов, у которых находили засоленные куски человеческого мяса.

Врачи получили указание не загружать больниц голодающими. Строго воспрещалось указывать, что причина смерти — голод. Было несколько условных эрзац-диагнозов. Один из них “авитаминоз” врачи использовали часто как условный код для будущих поколений.

Вскоре советская власть спохватилась, что некому будет сеять, то бишь проводить посевную кампанию,

и приказала гнать обратно бежавших. Их начали вылавливать и в ожидании отправки сажать в подвалы. Но в подвалах не кормили, а передачу носить было некому. Так, в одну кубанскую станицу из группы в шестьдесят человек доставили только двадцать четыре: остальные умерли в тюрьме от голода. Весной в поле работали голодные и отечные люди, главным образом женщины.

В украинской деревне стало тихо: собаки, кошки, птицы были съедены. Пастеровские станции не функционировали: не было собак, не было и бешенства. В нашей станице начальник ГПУ водил своего служебного доберман-пинчера на поводке и не выпускал, хотя голод у нас не так свирепствовал: мы были у моря, в пищу шли молотые рыбные кости, удавалось доставать рыбу. Если она была испорчена, ее все равно ели, и было немало отравлений.

На Северном Кавказе голод начался внезапно в конце 1932 года и был еще более катастрофическим, чем на Украине. Власти утверждали, что хлеб есть и что голода не будет, а когда он начался, люди заметались, но бежать было некуда.

Станица Полтавская (40 000 жителей) не смогла выполнить хлебозаготовок. В это время на Кубань явился сам Каганович. Он приказал станицу выселить. Мужчин сослали достраивать Беломорканал и на лесозаготовки. Семьи — на Урал и в Ставропольские

степи. Медицинский персонал больницы перевели в другой район.

Вот вкратце рассказ высокого чина милиции, которого я лечил:

— Доктор, ты К-х из Брюховецкой не помнишь? Такая здоровенная баба лет тридцати. Мы у нее в сарае нашли три детских трупа. Арестовали. Она хоть бы что, пожала плечами и пошла с нами. На следующий день вызываю ее на допрос. Пришла, стоит. “Садись”, — говорю. Села, сидит и молчит. Готовлю бумаги для допроса и поглядываю на нее. Крепкая, красивая баба, и как-то жаль ее стало. До чего народ дошел! А как посмотрел на ее губы, так, понимаешь, затошнило меня, аж рвать потянуло. Значит, эти губы она после детских котлет облизывала. Я посмотрел в окно и как-то себя переборол.

Начинаю допрос, а она, сволочь, молчит. Я данные ее знаю, записываю. Ну рассказывай, говорю, как все это было, как ты все это делала. А она молчит и меня рассматривает, а глаза ненормальные, блестящие. А потом встает, берет меня за плечо и щупает. У меня мороз по всему телу, аж кожа на голове заболела. “Толстый ты, дядя, — говорит, — много бы из тебя котлет вышло!” Я как сорвался и — в другую комнату! “Дежурный, — кричу, — отведи ее такую-сякую обратно!” Как она мне ночью приснится, так начинаю стонать.

Часть V. КРЕСТНЫЙ ПУТЬ ПРАВОСЛАВИЯ

Кризис и возрождение веры

Трудно сказать, кому труднее всего в СССР. В кругах интеллигенции первенство тернового венца принадлежит, бесспорно, духовенству. Русская история последних столетий проходила под знаком раздора между государством и обществом. Православная Церковь утратила значительную часть своего влияния на народ, перестала заменять для него национальную идею. Она была на распутье между древним благочестием, живыми источниками Евангелия и мертвыми формами “министерства по делам религии”.

В годы перед войной Россия была наиболее уязвима. Национального единения русского народа еще не произошло. Концентрация сил под влиянием удачных реформ еще не окончилась. Православная Церковь была не в состоянии предотвратить развал армии, массовые убийства, грабежи, погромы усадеб и дворов, бандитизм, самосуды, пьянство, разврат и насилия. В разгар смуты религиозно-нравственное начало сохранилось только в устойчивых слоях интеллигенции, крестьянства и среди сектантов евангельского толка, в меньшей степени заражавшихся разрушительными идеями. В

православную Церковь коммунистическая власть внесла раскол и смуту.

Борьбу власти против православной Церкви можно разделить на два периода: до коллективизации и с начала коллективизации. До коллективизации советская власть стремилась взорвать православную Церковь изнутри. К угодной большевикам “живой церкви” присоединились “попы”, опасавшиеся за жизнь, ставившие свое благополучие выше христианского долга. Говорили: эта церковь “живая” оттого, что советская власть оставляет в живых ее духовенство, повесившее в своих приходских канцеляриях портреты Ленина.

Но с началом коллективизации большевики уже громили Церковь сами, без помощников в рясах. Церкви суждено было возглавить путь христианской Руси на Голгофу и устелить этот путь телами мучеников. Пережившая во время смуты глубочайший кризис вера после голода 1921-1922 годов, вызванного действиями большевиков, воскресает очищенной. Примером этого было присутствие огромных масс верующих на похоронах патриарха Тихона (1865-1925), человека неустрашимой веры. В годы НЭПа религиозное напряжение несколько падает. Новый подъем начинается в предшествующие коллективизации годы, когда старая “тихоновская” Церковь, ставшая всенародной, сбрасывает земные оковы и приобретает первохристианские силу и чистоту. Попробую

восстановить в памяти часть многострадального пути русской православной Церкви и религиозной жизни в России, свидетелями которой мы были.

Обновленная икона

Вскоре после начала моей практики в Приморско-Ахтарской, на Братской улице, где мы жили, обновилась икона. Ее оклад светлел в присутствии верующих. Начала сочиться жидкость, похожая на кровь. Весь день, до поздней ночи, под нашими окнами скрипел снег под ногами людей: со всего района шел народ к обновленной иконе. Сын собственников иконы вышел из комсомола. Скандал для большевиков необыкновенный.

Я работал в лаборатории, когда явился завагитпропом райкома:

— Вы должны подготовить какие-нибудь эксперименты и пойти с нами к этой иконе. Нас будет пять человек. Мы выступим с речами, а вы покажете научный эксперимент, например, как из двух белых жидкостей получается красная. Или что-нибудь в таком роде...

Я ни в коем случае не стал бы участвовать в антирелигиозной пропаганде. Но обосновать отказ надо было осторожно. Я сказал, что я начинающий

врач, только что окончил институт, могу сделать ошибку и этим сорвать мероприятие. Кроме того, я никогда не выступал перед массами, буду смущаться, и люди это истолкуют по-своему.

Завагитпропом согласился с моими доводами и обратился к служащему аптеки, бывшему когда-то ее хозяином и из страха за свое прошлое старавшегося заслужить доверие власти. Через год или два, познакомившись с ним поближе, я узнал, что он боялся и настоящего. В то время у советских аптекарей были свои специфические трагедии, связанные с наркотиками, ядами и алкоголем.

В районе начальником ГПУ был бывший студент-медик, известный утонченными зверствами и садизмом. Несколько раз он брал у аптекаря стрихнин под предлогом травли бродячих собак. Кто-то из аптекарских служащих обратил внимание, что требования на стрихнин поступают обычно после ареста группы крестьян, главным образом казаков. А один из врачей шепнул аптекарю, что приговоренных не расстреливают, а травят стрихнином. Их предсмертные судороги доставляют наслаждение чекистам, находящимся под влиянием алкоголя и наркотиков в состоянии эйфории. Аптекарь едва не лишился рассудка и на следующее требование ответил, что в новой партии лекарств стрихнина не было. Начальник ГПУ проверил шкаф с ядами, нашел стрихнин и, вызвав аптекаря “на разговор”, прицелился в него из нагана:

— Я очень люблю целиться этой штукой. Целюсь и жду, придет фантазия стрелять или нет? Хотите попробовать, товарищ?

— Пробовать я не согласился, — рассказывал аптекарь. — Однако ночью об этом пожалел: в два часа снова пришли за стрихнином.

Но это было, сказал он, в последний раз. Очевидно, чекисты опасались, что об отравлениях станет широко известно и что высшее начальство за такую “самодеятельность” может привлечь к ответственности.

И вот аптекарь, надломленный, но стремившийся сохранить жизнь и место, стал показывать требуемые от него химические эксперименты. Народ выслушал речи, но когда аптекарь начал свои “чародейства”, поднялся крик:

— Ты — аптекарь, у тебя разные спирты, ты умеешь вытворять разные фокусы и обманывать людей!

Толпа навалила, сломала приборы и чуть не избивала аптекаря. В ту же ночь арестовали 16 человек, главным образом женщин. Икону тоже “арестовали” и передали в суд. Было решено устроить показательный антирелигиозный процесс. Больше всех радовался судья Вениаминов.

Мне пришлось зайти к нему по делу. Окончив разговор, он перешел к рассказу о предстоящем судебном процессе и связанных с ним антирелигиозных мероприятиях. При этом он указал на стоявшую рядом на полу икону и с невыразимой злобой лягнул ее ногой. Тут только я ее увидел и обратил внимание, что она вся побита. Один из знакомых, узнав, что я был в суде, спросил:

— Ты у Вениаминова был? Он икону показывал? Ногой пихнул? Подлец, он это при каждом посетителе проделывает...

Однако на показательном процессе по поводу обновления иконы, происходившем в зале кино в воскресный день, Вениаминову, как он ни сожалел, пришлось по директиве райкома “сократиться” и осудить главную обвиняемую всего лишь на шесть месяцев, а не на пять лет, как он грозился. Перед новым испытанием, которое предстояло народу в недалеком будущем, власть старалась не вызывать слишком сильного озлобления.

Показательные процессы над духовенством

В 1921 году в южном городе в зале кино шел показательный процесс над священником Евлогием. Его обвиняли в разврате и подстрекательстве против советской власти. Мне с трудом удалось пробраться в

переполненный зал. Перед сценой под охраной чекистов сидел священник. Голова его была приподнята, строгое худощавое лицо было неземной красоты, тело напряжено в ожидании великой радости — принятия мученического венца во имя Христа.

Я не мог оторвать от него глаз: поражало сходство с обликом Яна Гуса (1370-1415) перед судом в Констанце. Зал казался окутанным в туман, на галерее кто-то кричал, но до меня это не доходило. Потом я увидел множество устремленных на священника глаз, влажных от волнения. Постепенно я рассмотрел и лица чекистов. Сердце сжалось: эти лица не были человеческими, на них была печать зверя. Я снова и снова переводил взгляд с отца Евлогия на чекистов, на судей, на прокурора. В те дни моя душа проходила трудный путь от атеизма, закаленного в борьбе с иезуитским отрицанием живого Бога, и утверждением непогрешимости главы католичества на земле, к живым источникам Евангелия и Христа.

На галерее общественный обвинитель, окруженный обществом безбожников, размахивал кулаками, выкрикивая слова, которые еще недавно разожгли бы страсти толпы. После фраз, порочивших честь священника, тот молча поднялся, медленно раздвинул полы рясы и показал вериги, в которые долгие годы было заковано его тело. В народе раздались вздохи и возгласы одобрения, а чекисты направили на него штыки. Даже обвинитель на галерее замолчал, но потом пришел в себя и продолжал извергать

ругательства. Ему рукоплескали командированные на суд коммунисты и комсомольцы. Народ молчал. Затем у перегородки, отделяющей суд от публики, возникла фигура священника с черной бородой, с черным лицом, в черной рясе. Это был секретарь “живой церкви” Делавериди. Он начал тихо, но постепенно его голос усиливался. Среди моря воспоминаний в моей памяти остались аскетическое лицо и устремленные вдаль горящие глаза отца Евлогия и черный обвинитель с угрожающе поднятой рукой, кричавший:

— Я утверждаю, что он контрреволюционер!

После судилища люди ожидали священника на противоположной стороне улицы и низко ему кланялись. Десять чекистов с направленными на арестованного штыками, четверо с наганами со взведенными курками, конвоировали его так несколько дней: в кинозал на суд и назад в подвал. И каждый день его ожидала толпа, люди кланялись и тихо молились.

В прекрасной речи, долго ходившей среди населения, отец Евлогий отверг все обвинения, плоды злого вымысла. Это должен был признать и суд: священника приговорили не к расстрелу, а “всего-навсего” к семи годам. Где он умер, я не знаю, скорее всего, на далеком севере. Там же умер и Делавериди, сосланный после того, как стал не нужен.

Через год или два после суда над Евлогием я шел в Екатеринославе в толпе, спешившей встречать своего возвратившегося из ссылки пастыря. Площадь была полна народа. И снова помню, как будто это было вчера: исхудалый, пошатывающийся от истощения, идет священник. Глаза, устремленные вдаль и немного вверх, горят, светятся внутренним светом. Те же глаза, что у священника, то же лицо аскета, готового на подвиг во имя Распятого. С ним движется многотысячная толпа, гул утих, и над проспектом несется молитва. Милиция оттеснила толпу в боковые улицы. Церковь, где шел благодарственный молебен, вместила малую часть людей. Большинство молилось под открытым небом.

Священника вскоре снова арестовали. В подвале Екатеринославского ГПУ он заболел, и ему разрешили лежать дома, но приставили “дежурную сестру”. Что это означало, он и его близкие хорошо понимали. Последние его слова были о Христе и о России.

В Кубанской области на наших глазах в течение нескольких лет проходила жизнь нескольких священников. Они были отверженными, лишенцами, не имели никаких прав, их дети не могли ни учиться, ни поступать на службу. Их вызывали по ночам, часто по вымышленным делам, издевались, богохульничали, грязно ругались. Налоги на церкви, которые числились среди кабаков и увеселительных заведений, накладывали произвольно, и очень

высокие для того, чтобы закрыть их за неуплату. Небольшая деревянная церковь у нас в Приморско-Ахтарской была давно закрыта. Большую каменную закрывали четыре раза, и каждый раз верующие собирали требуемую сумму. Однажды конюх совета с женой начали переносить к себе из церкви ценные лампы. Заметивший это человек взбежал на колокольню и ударил в набат. От самосуда сбежавшихся крестьян воров спас священник,

Дочь священника приняли на службу только после того, как она доказала, что не встречалась с родителями пять лет и на собрании осудила деятельность отца-“попа”. Тайно встречаться с отцом ей помогали, главным образом, крестьяне. Она была моей пациенткой и приходила на прием по вечерам. У нас иногда уже ждал ее отец. После свидания она спешила уйти, а его мы приглашали на чай. Он как-то сказал:

— Напрасно советская власть нас преследует. Мы бы и за нее молились. Ведь всякая власть от Бога.

— Как, и советская?

— Ну да, и советская.

В 1928 году один “служитель культа” сбросил во время богослужения облачения и стал призывать народ оставить Церковь “этот очаг обмана и лжи”. Крестьяне выкинули его из храма. А советская власть наградила хлебной карточкой, которой у него, как у лишенца, до тех пор не было, и избирательным

правом — голосовать, как укажет партия. Он открыл парикмахерскую (был еще НЭП), где работал до начала коллективизации. Узнав, что он в списке выселяемых, бежал на Кавказ и умер там от тифа.

Третий “служитель”, сребролюбец и пьяница, жил мыслью о материальном благополучии. Когда начались гонения, он отрекся от сана и куда-то уехал.

Четвертый скрылся ночью, сказав о своем уходе только близким родственникам. Потом я узнал, что он стал хлебобобом.

В нашем районе скрывались два священника, “чужих”, прибежавших к нам издалека. В мое время их еще не обнаружили. Как жили другие наши пастыри? Как-то вечером меня позвали к священнику, которого я очень уважал. За месяц до этого я видел у него еще какую-то мебель, сейчас же остались нары, стол и две табуретки. Стены были голыми и только в углу висели икона и зажженная лампада.

— Спасибо, доктор, что пришли, хотя знаете, что с нами опасно разговаривать. Видите, как живет русский священник? Все пришлось продать, чтобы уплатить налоги, а теперь продавать уже нечего. Жена при каждом стуке вздрагивает. Уже две недели спим в одежде, чтобы не выгнали в одном белье, как отца Василия. Его взяли в исподнем и угнали, не дав одеться. У нас в соседней комнате его матушка и двое детей, их выгнали из дому, в чем стояли. Они

надеялись, что мы им поможем. Но мы сами ждем, когда и нас выгонят. Вас мы просили прийти, чтобы вы помогли этим несчастным. Девочка заболела, давит в горле, не дифтерит ли? А у ее матери настоящие припадки: рвет на себе платье и беспрерывно плачет.

В пустой комнате на мешках, без постельного белья, лежала женщина лет сорока в заплатавшем ситцевом платье, а рядом — большеглазый, худой, бледный четырнадцатилетний мальчик и восьмилетняя милостивая девочка. Ее заболевание, к счастью, не было тяжелым. Я принес лекарства и сидел у них до ночи. Тихо и бесхитростно вспоминал священник людей, положивших жизнь за Христа. В его рассказе шла вереница расстрелянных, замученных, высланных, бродящих по Руси скрывающихся служителей Церкви:

— Теперь от нас отходят последние сребролюбцы. Мы же будем с нашей верой до самой смерти. Русский народ, надо думать, проходит посланное Богом испытание. И не нам дано уразуметь пути Господни.

Священник с сыном пришли ко мне днем, при людях:

— Теперь все равно. Сыну четыре года удавалось скрывать свое происхождение, через год должен был закончить техникум. И вот — донесли. Теперь конец учению, а на службу его не примут. Помогите ему!

Он хочет пробраться в Закавказье. Но там, говорят, сильная малярия. Нам хинина не продадут, да и купить его не на что. Вот, видите, до чего мы обносились!

Потупленная голова, привыкшая переносить гонения и насмешки, латаная-перелатаная ряса с рваными полами, стоптанные сапоги, на одном вместо подметки подвязанные шпагатом тряпки...

— Отец, а почему бы и вам не уехать? Я подозреваю, что вас хотят устранить. Вы же знаете, на что они способны.

— Пастырь не смеет оставлять свое стадо, когда появляется волк. Народу мы теперь больше всего нужны. А к смерти мы давно готовы.

Вскоре она и пришла, избавительница. Весной 1930 года, по ночам, с обысками ходили группы коммунистов. Был издан, но не опубликован указ, запрещающий держать у себя серебряные деньги. Пожертвованные гривенники и полтины нашли, понятно, почти в каждой церкви. Настоятелей арестовали, а особенно нежелательных для власти расстреляли.

Нашего священника тоже взяли, через три дня расстреляли и зарыли недалеко от тюрьмы в яму с другими семью священниками. Всем была оказана большая “милость”: их зарыли в одежде. Причина этого, я думаю, понятна.

Диспуты с богоборцами

Во время НЭПа большевики ослабили террор и пытались одолеть Бога словом так, как они одолели старую власть России. В течение нескольких лет всюду шли открытые диспуты между духовенством и богоборцами.

С трудом я пробрался в большой зал театра. Первым с часовой речью выступил член райкома, глава местных безбожников. Он то пытался разжечь страсти, крича, что каждому пионеру теперь известно, что Бога нет, а партия постарается, чтобы его и не было, то излагал давно известные мысли грубого материализма, блуждая между трех безбожных сосен: Энгельсом, Геккелем и Дреусом. Рукоплескали распределенные по залу коммунисты и комсомольцы. Большинство молчало.

Выступил священник, побывавший в подвале, благочестивой внешности, но плохой оратор. Он запинаясь, полемизировать не умел, необходимой литературы не знал. Но когда он, волнуясь и возвысив голос, закончил словами “будем благословлять Господа ныне и присно и во веки веков!”, зал загремел рукоплесканиями и долго не мог успокоиться. Настало время, когда народ снова нашел Бога и Церковь и ждал от священников не столько

красноречия, сколько уверенно, всенародно произнесенных слов: “Есть Бог и русская православная Церковь!” Слово “русский” в противовес внесенному революцией “международный” стало звучать все чаще. Я знал бывших революционеров и атеистов, ставших верующими и относившихся к большевикам гораздо хуже, чем когда-то к царскому правительству. Православие, окруженное ореолом мученичества и гонимое теми, кого все ненавидели, становилось символом всего русского и антисоветского.

В 1925 году Россию объезжал “профессор Ардов, представитель швейцарского центра безбожников”. Во время выступления, где присутствовал и я, девушки узнали в нем знакомого из Могилева. Он ловко связывал антирелигиозную аргументацию с верноподданными чувствами к Третьему интернационалу. У присутствующих не было охоты возражать, и большевики истолковали это как победу.

Старые священники были в тюрьме или ссылке, а местный живоцерковник, не решаясь выступить из-за недостатка знаний и боясь испортить отношения с властями, пригласил из Москвы “митрополита Александра Ивановича” Введенского. Безбожники же мобилизовали еще одного “первоклассного работника”, редактора газеты Письменного. “Заграничный профессор” выступил первым и вначале держался в рамках приличия. Но затем ненависть к христианству взяла верх и он назвал

Евангелие “идиотской выдумкой”. Зал, в котором было около двух тысяч человек, негодуяще загудел.

Вышел Введенский, воцарилась мертвая тишина. Его речь разочаровала. Использованная им аргументация была бы позволительна в кружке спорящих интеллигентов, а народ жаждал прямых и твердых слов о Боге и Христе. Ропот недовольства усилился, когда Введенский, обращаясь к ложе, где сидел Письменный, сказал, что “по существу, мы такие же коммунисты, как и вы” и что “Христа следует понимать как одного из основоположников коммунизма”. Это вызвало не только протесты зала, но еще и справедливые насмешки коммунистов. Живоцерковникам никак не удавалось служить одновременно и Богу и черту.

В дальнейшем Введенский уже не любезничал с коммунистами, а держался абстрактных доказательств существования Бога и культурных основ христианства. Каждый раз, когда его умозаключения утверждали Бога, его бурно одобряли. Но чувствовалось, что одобрение это было не столько в защиту веры, сколько демонстрацией против коммунистов.

Потом захотел еще раз выступить Ардов, но ему не дали говорить.

Поучителен был диспут, на котором выступали православный священник, сектант-евангелист и

коммунист. Сектант выступал смело, держа в руках Евангелие, поносил и правых и левых. Признание досталось священнику. Люди видели воплощение христианства в православной Церкви и отвергали каждого, кто (как это сделал евангелист) говорил о гонениях на Церковь при царском правительстве, — настолько незначительными, по сравнению с большевицкими, они казались.

Чем грознее надвигалась коллективизация, тем более жестокими становились гонения на Церковь. Диспутов уже не устраивали, да и мало кто осмелился бы теперь выступить. Церкви продолжали закрывать. Одни превратили в клубы, склады, другие снесли, некоторые взорвали. В 1928 году в Страстную субботу много молящихся, не поместившихся в небольшой деревянной церкви, стояло у ограды. Вдруг вдали раздались кричащие и взвизгивающие голоса. Человек восемьдесят безбожников приближались со стороны площади с песнями и посвистом. Первой шла, припрыгивая, приплясывая и размахивая красным флагом, в платье фасона “колена ниже юбки” женорганизаторша, жена преподавателя обществоведения. Рядом шагал комсомолец в подобии облачения, в скоморошьей шапке, с подвешенным на цепочках горшком с тлеющими угольками, которым он как бы благословлял толпу, выкрикивая похабщину. Рядом, скандируя лозунги, шло несколько комсомольцев с зажженными факелами. Они скандировали лозунги, а безбожники орали “долой!” Горящие факелы, исступленные лица

и безбожный маскарад производили среди темной ночи жуткую, но в то же время символически верную картину царства Антихриста. Банда пыталась проникнуть в ограду, но из толпы молящихся отделилась группа крестьян, и через минуту факелы валялись на земле, а ночь огласилась воплями разбегающихся безбожников. Вскоре на площади воцарилась тишина, и только в окошке церкви мерцал огонек — свет в темной ночи.

В 1929 году мне посчастливилось быть в Ростове свидетелем вспышки гнева на почве оскорбленного религиозного и национального чувства. В Белом соборе происходило “изъятие ценностей”. Время было утреннее, народу на громадном базаре вокруг собора было много. Внезапно из конца в конец пронеслось: “Грабят церковь!” Торговки оставили свои места, крестьяне — свои подводы, и тысячная толпа хлынула к собору. А там произошло следующее: отряд, пришедший для официального грабежа, возглавлял молодой комиссар. Он вошел в храм в фуражке, с папиросой в зубах и стал презрительно плевать вокруг. Толпа бы его растерзала, если бы не священники, спасшие дрожащего “героя”.

Власть отбирала ценности под видом помощи голодающим. В эти годы и родилась известная поговорка “в пользу голодающих”, означавшая обман и пустые обещания. Ценности пошли на Коминтерн и другие преступные мероприятия большевиков.

В 1931 году, возвращаясь из Москвы после очередной попытки получить разрешение на выезд из СССР, мы с сыном несколько дней пробыли в Ростове. На Садовой улице видели развалины взорванного храма. А в Екатерининском соборе сначала был устроен антирелигиозный музей. В алтаре, как и в других оскверненных церквях, размещали, я уверен, по распоряжению центра, абортное отделение, а на месте престола — гинекологическое кресло. Впрочем, вскоре храм превратили в склад, ссыпали туда картофель, который сгнил и был выкинут в Дон.

Примерно в это время в Советский Союз снова явился Бернард Шоу — один из гастролеров, которых власть встречала с объятиями, а народ с проклятиями.

Известна его фраза:

— Говорят, что в России голод, но я в этом сомневаюсь: меня тут отлично кормили и угощали икрой!

На этот раз он пожелал ознакомиться с положением русской Церкви по “первоисточнику”, то есть побеседовать с русским православным священником. Ему привели священника. Утверждали, что в то время, когда шла эта “беседа”, в нескольких кварталах от этого места из закрытой церкви вытаскивали иконы и на глазах прохожих сколачивали из них мусорный ящик.

Этой темной силе русский народ давал не только физический, но и духовный отпор, усиливая свои религиозные организации. Например, рабочая молодежь в Донбассе в 1927-1928 годах создала Союз христианской молодежи (Христомол). Они собирались, читали Евангелие, пели, бывала и небольшая художественная часть. Без водки, танцев и сквернословия. В годы террора христомольцы ушли в подполье.

Гонения усиливались, из официальной советской церкви люди уходили в старую церковь или примыкали к евангельскому христианству. В годы перед коллективизацией власть уделяла особое внимание сектантам, которых, по утверждению Ярославского, было в стране до сорока миллионов.

В годы коллективизации, когда народ стал народом-мучеником, церкви закрывали сотнями. В “живоцерковниках” власть больше не нуждалась, ее прислужники — шпионы, доносчики, разоблачители — разбежались. Разорение и смерть стерли различия. Оставшиеся еще открытыми церкви перестали быть “живыми” или “старыми”, а стали просто православными. Религиозные споры потеряли смысл. Множество населенных пунктов оставались без церквей и без священников. Службы и обряды совершались по ночам в домах или сараях. Появились странствующие священники, в ветхой одежде, в лаптях, с котомкой за плечами, с посохом в руках

обходившие верующих. Духовные училища были закрыты, и молодые люди шли в ученики к священникам. В русском народе воскрес Алеша Карамазов.

На Рождество 1933 года в центре безбожия, Москве, мы не могли попасть в церковь, переполненную молящимися, среди которых была молодежь и даже несколько военных. А в январе 1934 года мы присутствовали при крещении младенца. Горело несколько свечей, был полумрак, глухо звучали молитвы старика-священника. После крещения одна из женщин вышла и осмотрелась, затем все быстро разошлись.

Невдалеке от Москвы несколько тысяч людей остались без священника, и тайно по ночам обряды совершал скрывавшийся псаломщик. У него был только крест, который он держал в тайнике. Такое бывало не раз, и не это было удивительно. Удивительно было то, что ни один из рабочих завода, где он работал, его не выдал.

Доколе будет мука сия?

Когда-нибудь после освобождения от коммунистической диктатуры Россия узнает о тысячах тысяч преступлений. А может быть, это не нужно. Кому нужны эти рассказы о российских

великомучениках? Самим русским, чтобы, обливаясь кровавыми слезами, читать книгу своей жизни? Ожиревшему буржую? И все-таки... Вот рассказ одного из оставшихся в живых мученика:

“Мы шли двенадцать дней. Из партии в триста человек осталось не больше половины. С нами было восемь детей: от двухлетнего мальчика до двенадцатилетней девочки. У одной крестьянки их было трое. Ее пятилетняя девочка умерла в начале пути. Мы зарыли ее в снег, и бывший с нами архиерей начал читать молитву. Подбежали конвойные, избili его прикладами:

— Контрреволюцию будешь тут разводить, мать твою!..

Плакала мать, плакали дети, плакали все мы. Жутко было: пустыня, крики и брань конвоя, плач детей, рыдания матери и снежная могилка, на которой кто-то начертал крест.

Среди нас было восемь священников, двое служащих, несколько казаков, остальные — крестьяне. Священники были в летней одежде, головы повязаны тряпками, ноги обмотаны тоже тряпками или в лаптях. Отставших конвойные забивали до смерти. Партия стала редеть уже на четвертый день пути. Людей мучил кашель; мать, шатаясь, несла своего двухлетнего мальчика. Мы ее поддерживали, возле нее шел священник и помогал, сколько мог. На

шестой день умерла вторая девочка. Мать уже не могла ни плакать, ни молиться. Она сидела со своим мальчиком на снегу, мы зарывали в снег девочку, двое священников шептали молитвы. Видно было, что матери хотелось лечь в снег и не вставать. Под утро умер и сынишка, и она его, мертвого, несла еще полдня. Потом легла, и мы ее уже не могли поднять. Священники, их оставалось пять, пали возле нее на колени и стали молиться, а мы вместе с ними. Конвойные смотрели на нас зверьем, но уже не били, а только ругали:

— Довольно, сволочи, помолились! Давай, пошли!

И мы пошли. У всех были отморожены уши, пальцы на ногах. Дотащились до места назначения. Два дня дали отдохнуть, потом погнали на лесоразработки. Выдавали по пятьсот граммов хлеба и похлебку без мяса. Еду получали только после выполнения нормы, а норма была такая, что и здоровый сытый человек с трудом бы выполнил. Вставали чуть свет и ложились ночью. Не выполнившим задание не давали есть, а потом стали снимать с них обувь, не пускать в барак. Если хватало сил, люди бегали вокруг барака, но обычно мы их утром находили замерзшими. Так нашли замерзшим и архиерея, того, которого избивали за молитву. Мой брат не выдержал. Утром вышли на перекличку, а он говорит:

— Я сейчас...

Начальник ругается. Побежали за братом, а он висит в петле.

Больше всего жаль детишек, за что они страдают? Из них одна девочка живой осталась. Она шла с отцом от Волги. Бывало, прибежит к нам на часок на разработки, а как станет ей холодно — убежит. Да и далеко мы стали уходить в лес. Сколько народа погибло и еще погибнет, одному Богу известно”.

Так православное священство, покинутое всем культурным христианством, совершало свой крестный путь.

Но, несмотря на все преследования, пламя веры разгоралось в России с силой времен первых христиан и Реформации. Пройдя через потоки крови, через горы замученных, через тысячи детских трупов, Россия нашла Бога. В этой стране, которую таинственный индекс избрал всемирным рассадником безбожия и материализма, где видимые признаки Церкви разрушались, где с 1927 года не было напечатано ни строчки религиозного содержания, где начиная с детского возраста человеку внушалось презрение ко всякой вере, особенно к православной, — торжествовала победу духа истинная вера. Срывали кресты с куполов — начинали осенять себя крестом люди, ранее отвергавшие крест и Евангелие. Взрывали своды церквей — люди молитвенно обращали взор к небесному своду. Уничтожались

церковные книги — Божье слово передавалось из уст в уста.

Сознаюсь, я не ожидал от православного священства, над которым еще недавно властвовал обер-прокурор святейшего Синода, такого великого подвига, такой духовной силы, которая поставила его во главе христианского мира.

Часть VI. НА ГРАНИЦЕ С АФГАНИСТАНОМ

Путешествие в Куляб

Мы испытали ужасы революции, провоевали всю гражданскую войну, пережили военный коммунизм, видели разврат НЭПа, окунулись в кошмар коллективизации. Нашу жизнь сохранили, как говорят сербы, Бог и счастье. Но мы слишком долго прожили на одном месте. Для таких, как мы, это было опасно. Разрешения на выезд в Югославию добиться не удавалось. Решили двинуться в Таджикистан, а оттуда через Афганистан выбираться из Советского Союза.

В Таджикистан, почувствовав к себе внимание ГПУ, уехал наш большой друг главный врач Иван Кондратьевич Кадацков. Я просил его узнать о возможности ухода в Афганистан. Вскоре от него пришла открытка с условной фразой “здесь хорошая зарплата и отличная охота”, означавшей, что переход возможен.

И вот мы вместе с людским потоком, хлынувшим с Украины и из казачьих областей в Закавказье и Туркестан, пустились в дальнюю дорогу. С нами был и семидесятилетний В.Е. Литьевский, мы не могли его оставить на верную гибель.

В Баку, ожидая переправы через Каспий, стояли табором тысячи крестьян. Мы достали билеты и переправились в Красноводск, забрались в товарный вагон, набитый людьми. Поезд шел со скоростью двадцать-тридцать километров в час вдоль персидской границы. Добрались до Бухары, затем до Сталинабада, который все еще называли Душанбе и куда с Украины, спасаясь от голода, бежали десятки тысяч крестьян в надежде спасти жизнь. Отсюда они пешком, на подводах, караванами перебирались в неизвестные русским места с непривычным климатом, где жили незнакомые им люди и царила малярия.

Из Сталинабада по узкой, врезанной в склоны гор, то и дело обваливавшейся дороге мы на закате солнца в полуторке двинулись в Куляб. Перевал надо было брать ночью: при дневной жаре закипала вода в радиаторе. Далеко внизу мерцало несколько огоньков вдоль Вахша, дикой реки. В горах как гнезда расположились маленькие кишлаки, населенные, главным образом, таджиками, говорящими на фарси, носителями древней персидской культуры. Из плодородных равнин их в давние времена вытеснили наездники орд Чингисхана. Библейские фигуры в пестрых ватных халатах, в чалмах, с длинным, больше человеческого роста, посохом. Вера у них была общая, мусульманская, общей была и ненависть к советской власти, которую они, к сожалению, нередко переносили на всех русских.

Куляб — старое поселение на равнине, у подножья трех-четыре-хтысячметровых вершин. Здесь когда-то обитал наместник бухарского эмира. Больница находилась в его огромном саду.

Весной мы навещали пациентов у самой афганской границы, проходившей примерно в пятидесяти километрах от Куляба. Дикие громадные горы, ущелья, висячие мосты-овринги, тропинки вдоль пропасти, где человек проходит, держась за хвост своего локайского иноходца. Гиндукуш отделен от Дарвазского хребта Пянджем. Горы эти были границей античного мира. Немного южнее проходил со своими воинами Искандер — Александр Македонский. Здесь его имя хорошо знают, и тут он, по местному поверью, похоронен. Его гробницей считали вершину горы, хорошо видную из Куляба. Старый Куляб — город-кишлак — расположен вдоль берега горной речки Яксу, дальше — новое поселение, так называемое европейское.

Окруженный высокой стеной, среди вековых чинар стоит мазар (культовое сооружение над гробницей) одного из сподвижников Тамерлана. Между мазаром и больничным садом большое кладбище без ограды, по преданию, восемь раз обновленное. В царское время русских здесь не было, в Бухаре стояла сотня казаков и находился представитель России. Эмир бухарский был самостоятелен, но одновременно — полковник русской армии, связанный по этой линии определенными обязательствами. Ему, к примеру,

Россия запрещала казни, сопровождаемые мучениями: он не смел больше сажать преступников на кол или бросать их в клопные ямы.

Новизна всего окружающего, своеобразие быта и нравов, языка и типов людей пленили и загипнотизировали нас. Но ненадолго. Спокойную песню Востока уже перебивало тарактение социализма. В мечетях, превращенных в клубы и чайханы, уже висела борода Маркса. Колхозы добрались и сюда и расползлись вдоль границ Афганистана. Нас сразу захлестнула знакомая колхозная муть.

В этих субтропических краях зимой и весной идут почти непрерывные дожди. Раньше тут сеяли рис, разводили хлопок, пшеницу на богарах — неполивных землях по склонам гор. Это отвечало местным требованиям, потому что горная Бухара была труднодоступна и не могла рассчитывать на подвоз сельскохозяйственных продуктов.

Советская власть запретила рис, зато невероятно расширила посевы хлопка. Рис, посеянный на клочке земли непослушным дехканином, уничтожали. Богарную пшеницу отбирали, и крестьяне получали хлеб в обмен на хлопок. Зависимость человека от куска хлеба проводили последовательно и здесь. Часть хлеба увозили верблюжьими караванами для снабжения рабочего Таджикистана.

Раньше часть хлопка крестьяне употребляли на собственные нужды, главным образом для халатов и одеял. Теперь это строго запрещалось. Милиция ходила по домам и под плач и крики женщин распарывала новые халаты и одеяла.

Хлопковая культура требует ухода и много рабочих рук. Поэтому в ноябре около четверти урожая оставалось еще не убранным. В этих субтропических краях последние дожди выпадают в апреле. Весной, летом и осенью, до середины ноября, осадков нет. Зато потом дожди не прекращаются, и дехкане, согнанные “европейские” служащие и ученики школ собирали хлопок под дождем. Хлопкоуборочная кампания длилась до конца декабря.

Больница в Кулябе была на 80 кроватей. Работали мы с переводчиками. В амбулатории принимали врачи-специалисты: их привлекли сюда высокие ставки и право через два года получить научную командировку:

Весной среди дехкан начался голод и при первом весеннем солнце — вспышка малярии. В кишлаке из тридцати глинобитных домиков в течение нескольких дней умерло одиннадцать человек. Меня послали с расследованием. Больные лежали по домам, их пища состояла из воды и хлопковых семян — чигита. Истощены они были настолько, что их состояние напоминало коматозную форму малярии, которая весной бывает в редких случаях. Люди пухли от

голода, и в каждом кишлаке похороны были почти ежедневно.

У населения оставалась одна надежда — Афганистан. С начала коллективизации из нашего района туда уже ушла половина жителей. В самом Кулябе пустовала часть домов, а были и совсем пустые кишлаки. Раскулачивали так, как повсюду. В тюрьме на шестьдесят человек постоянно находилось до трехсот заключенных.

Как-то пригнали жителей целого кишлака, пробиравшихся из отдаленного района к границе. Милиционеры гнали их шестьдесят километров без отдыха, местами бегом. В тюремном дворе все до одного попадали на землю. Мы оказали им посильную медицинскую помощь. Все они были избиты камнями, ноги были изранены, один потерял зрение от удара прикладом. Два старика умерли в пути, ночью их привезли в тюрьму и там же закопали. Расстреливали каждую неделю, иногда ежедневно. Местное ГПУ в Кулябе “обслуживало” шесть районов и занималось “закордонной работой”. В течение года там сменилось три начальника.

Народ уходил в горы, собирался в отряды басмачей, совершал налеты. Русских рабочих и медиков они обычно не трогали, зато с коммунистами, особенно со своими, расправлялись свирепо. В апреле 1931 года под начальством Ибрагим-бека из Афганистана перешло около 7000 вооруженных, бежавших туда

раньше дехкан. При поддержке местного населения они заняли чуть ли не всю горную Бухару. Подоспевшие воинские части подавили восстание: они были лучше вооружены и качественно превосходили басмачей. Среди восставших были и русские крестьяне, и интеллигенты. Начальником одного из отрядов был русский техник из Куляба, в том же отряде был русский бухгалтер. Оба ушли до этого в Афганистан и вернулись с Ибрагим-беком.

Весной, когда горные дороги стали проходимы, в Таджикистан снова хлынули потоки украинских и русских крестьян. Большинство шло пешком, голодные, больные, с детьми. Не все дошли до цели. Но дошедшие облегченно вздыхали; то, что творилось на Украине, оправдывало трудности пути. Целые деревни снимались там с насиженных мест, оставляя стариков и прощаясь с ними, как с покойниками. Здесь же почти для всех находилась работа: советская власть готовила подступы к Индии. Строились дороги стратегического значения, например, от Куляба до Калай-Хума и дальше на Хорог. Создавались новые поселения и совхозы. Некоторые охотились: дичи было здесь много. Стада диких свиней, “нечистых”, на которых мусульмане никогда не охотились, разоряли посевы, и против них направляли целые воинские части. За хвост убитой свиньи боец получал три рубля, свиная туша оставалась на месте. Среди охотников было много интеллигентов, предпочитавших жизнь в тугаевых зарослях духовному рабству. В больницу к нам приходил

оттуда Родзянко, родственник или выдававший себя за родственника Председателя. Как-то пришел босой с израненными ногами сын известного исследователя Средней Азии, знавший местные языки так, что и таджики, и узбеки, и казахи спорили: каждый считал его своим. Больше всего бежало сюда с Украины, но немало и из Западной Сибири, где тоже был голод. Были даже из Олонецкой области, с Дальнего Востока, из Закавказья — со всех концов России. Люди с Камчатки и Сахалина рассказывали, что в их краях теперь можно встретить людей из Туркестана. Были немцы-колонисты, много татар. Были возницы-осетины, добравшиеся сюда с телегами и лошадьми.

Летом стала свирепствовать малярия — бич этих мест: главным образом тропическая, в исключительно тяжелых формах и с высоким процентом смертности. Бывали дни, когда целые учреждения не работали: все служащие лежали с приступами малярии. В нашей больнице из одиннадцати врачей целыми неделями работали только два-три. Во всей больнице оставалось две сестры. Отлежавшись после приступа, они снова брались за работу. Больница была переполнена, люди лежали на земле, на циновках под камышовым навесом, многие без сознания. Часто во время обхода некому было меня сопровождать и я брал в помощники нашего десятилетнего сына. В самое трудное время оставался один, обедал иногда в одиннадцать часов вечера. Тяжелее всего было в операционные дни. В летние месяцы у нас бывало до

семидесяти случаев коматозной малярии с 40% смертностью.

Главной причиной таких тяжелых форм малярии был недостаток хинина. Без него жизнь здесь была немыслима, особенно для неакклиматизированных приезжих. Но здесь с особой последовательностью проводилась классовая медицина. Малярией болели в России миллионы, однако власть снабжала хинином только тех, кто был ей в этот момент нужен. Хинин покупали за валюту в Голландии, и у нас было строгое предписание отпускать его только хлопкоробам, промышленным рабочим и работающим на военном строительстве, причем только температурающим и не больше одного порошка, который надо было принять тут же в присутствии врача. На дом хинин не выдавали, чтобы нужный власти работник не мог его уступить больной жене или ребенку. Кончалась хлопкосдача, кончалась и выдача хинина. Другие болели и умирали без хинина, если не были в состоянии достать его из-под полы за большие деньги. Наш заведующий райздравом Э. на этом разбогател. Все наши жалобы ни к чему не приводили: у него была тесная связь с ГПУ.

Советская власть вкладывала в Таджикистан, а особенно в наши приграничные края, громадные средства. Область числилась в Коминтерне за отделом Индостана, и цель строительства была политическая. Но строительство что-то не получалось. За год до нашего приезда в Кулябе был заложен фундамент

новой больницы. В произносившихся при этом речах говорили об Индии, Афганистане, Персии, откуда будут приезжать к нам лечиться эксплуатируемые трудящиеся, с волнением наблюдающие за достижениями пятилетки. В 1931 году строительство еще не сдвинулось с места. В 1932 возвели стены, но до начала дождей из-за отсутствия лесоматериала не возвели крышу, а стены были из кирпича-сырца, они трескались, размывались и разваливались. Когда какое-то количество забронированного за больницей леса доставили, то часть его забрало на свои нужды ГПУ, а часть по приказу райкома пошла на постройку клуба. В сентябре 1933 я осматривал эту “больницу”. Среди полуразмытых стен под открытым небом — заросли дурмана. Стены нависли, готовы были рухнуть, и я поспешил прекратить осмотр.

Постройки, которые удалось окончить, ежегодно нуждались в ремонте. За это попал под суд главный инженер, честный человек, не получавший зарплату в течение восьми месяцев и распродававший свои вещи, чтобы прокормить семью.

Примерно через год после нашего приезда в Куляб из итальянского посольства пришла бумага, приглашавшая В.Е. Литьевского в Москву. Жена отвезла его в Сталинабад и посадила в поезд. В Москве на вокзале его встретил работник посольства с машиной, и он вскоре отправился к родственникам. Через какое-то время мы получили от них письмо с

сообщением, что через три недели после прибытия к ним он скончался...

В Пархаре

После отъезда Василия Елисеевича мы могли передвигаться свободней. В соседнем с нашим районом, Пархарском, прилегающем к самой границе, была острая нужда во врачебном персонале, и Наркомздрав предложил нашему райздраву командировать туда врача. Я обрадовался возможности переехать поближе к границе.

Было 23 декабря 1932 года. Мы с вещами двинулись в Пархар на двух подводах с возчиками-осетинами. Дорога шла через два перевала, а на равнине ее дважды пересекала Кызыл су, неглубокая, но широкая и быстрая река, увидев которую, наши возчики закричали: “Дон!” Объяснили, что “дон” по-осетински река. Через Кызылсу первый раз надо было переправляться на пароме, а второй раз — вброд. До Пархара считалось семьдесят километров, но в первый день мы не смогли выехать ранним утром, так как жене и сыну пришлось стоять в очередях за лавашами. Лошади были истощенные, двигались медленно, и закат застал нас на первом перевале. За неделю до этого выпал снег, какого, говорили дехкане, не было уже больше тридцати лет. Закат был необычайно красив. К востоку поднималась могучая

цепь Дарваза, южнее виднелись громады Гиндукуша, а совсем вдали белесоватые великаны подпирали Крышу мира.

На второй день пути был Сочельник по новому календарю. Мы спустились к Кызылсу около 10 часов вечера, и возчик стал в темноте искать брод. Увидев на противоположном берегу возле камышей темное, лишенное снега место, он решил, что именно здесь брод, и направил туда лошадей. Впоследствии выяснилось, что это был не брод, а водопой.

Шагах в двадцати от берега лошади стали. Предполагая, что в камышах мог быть тигр, я выстрелил. Но оказалось, что телега до осей загрязла, и лошади не могут ее сдвинуть. Я спрыгнул в воду и попытался ее подтолкнуть, но это не помогло. Тогда мы решили идти за помощью в ближний кишлак, где, я знал, были русские учительница и фельдшер. Сына я перенес на берег удачно, а перенося жену, упал, и она тоже вымокла. Через несколько минут мы обледенели, и стоять на месте было уже нельзя ни минуты. Возница остался при лошадях.

Кишлака мы не нашли и двинулись по Артабусу — так называлась это гладкое, как стол, плоскогорье — по направлению к Пархару. Шли мы всю ночь без остановки. А мы ведь все трое недавно перенесли приступы малярии, да и питались в пути в основном лепешками. Мои силы подходили к концу, тошнило, кружилась голова, как при горной болезни, меня

шатало, тянуло к земле, охватила апатия. Жена держалась лучше всех и даже несла мою двухстволку. Сын закинул за спину свою мелкокалиберную винтовку, подбадривал меня и упрашивал не останавливаться.

В какой-то момент мы обратили внимание на неяркий свет на горизонте, который вдруг в два часа погас. Слава Богу, направление верное: в два часа ночи в Пархаре выключала свет электростанция. Около пяти утра, как из другого мира, донеслись едва слышное подвывание и лай. С тех пор много лет ни один из нас не мог без волнения слышать отдаленный собачий лай. Каждый год в ночь под Рождество мы вспоминали о нашем ночном переходе.

Год, прожитый в Пархаре, — одно из наиболее интересных воспоминаний. Этот район начинается у Чубека, где Пяндж вырывается из гор и несется пятьдесят километров по широкой долине, которая кончается там, где к реке подходят скалы небольшого хребта Каратау, где еще водились барсы и росли фисташковые деревья. Оттуда бывшие пациенты приносили в подарок фисташки, пряча их за пазухой: фисташки предназначались для экспорта и собирать их было запрещено.

По договору между СССР и Афганистаном государственная граница проходила по главному руслу Пянджа. Но Пяндж это мало интересовало, он то и дело менял русло, и долина теоретически

оказывалась то в СССР, то в Афганистане. Чтобы удержать за собой этот кусок земли и не дать реке воли, возле Чубека большевики “городили” полуторакилометровую дамбу, но Пяндж, во время таяния горных снегов без труда ворочавший громадные камни, ее то и дело сносил. Дамбу строили по-советски, наваливая камни и мешки с песком, и только в 1933 году затратили на нее восемь миллионов рублей, восстанавливая в третий и четвертый раз.

В августе к нам из Сталинабада явился некто, выдававший себя за специалиста по малярийным комарам из Наркомздрава. Задав ему несколько вопросов, я убедился, что комары тут ни при чем. Все стало понятно: органы спохватились, и особист явился проверить, чем занимается у самой государственной границы иностранный подданный, хлопчущий о выезде из СССР и недавно проводивший своего родственника (так считало ГПУ) в Италию.

Посещение это могло иметь фатальные последствия. На наше счастье, в эти дни высоко в горах таял снег, Пяндж вздулся, в очередной раз снес дамбу и свернул в нежелательное для советской власти русло. Я прибежал из больницы и, изображая сильное волнение, прошептал: “Мы в Афганистане!” Специалист заметался и кинулся на наш погранпункт. Через несколько часов на равнине вблизи Пархара приземлились два самолета, одноместный с

пулеметом и двухместный, в который комариный эксперт поспешно влез. Наш сын издали наблюдал за бегством опасного гостя. Больше он, слава Богу, не появлялся.

Большевики, не пожалев средств, выторговали у Афганистана этот клочок земли. Местный народ решил, что небо и большевики в своем споре пошли на компромисс: “Аллах победил, но Афганистану деньги нужны”.

Этнографически этот район был очень разнообразен. Здесь жили оседлые узбеки, которых русские раньше называли сартами. Теперь это слово считалось оскорбительным: мне объяснили, что на местном языке оно якобы означает “желтая собака” и произошло от шапок, отороченных желтым мехом. Жили здесь таджики, оттесненные узбеками на худшие земли и в горы. Кочевали киргизы и казахи. Вблизи Пархара, окруженная зарослями, стояла юрта казаха Абди, нашего проводника на охоте, нам доверявшего: иметь огнестрельное оружие местным жителям было запрещено, но он, сопровождая нас, доставал из тайника берданку. В трех кишлаках жили арабы. Были и цыгане. Из демобилизованных красноармейцев создали колхоз, считавшийся военным резервом. Раньше в районе насчитывалось 30 000 жителей. Однако большинство из них ушло в Афганистан. Сейчас по статистике рика их было 4600, причем коренных только 500 человек.

Вдоль Пянджа тянулись обширные тростниковые и кустарниковые заросли — тугаи, где ходить было возможно только по узким тропам, которые протоптали кабаны. В тугаях перед тем, как перейти афганскую границу, скрывались целые кишлаки, и мы не раз на охоте видели их покинутые стоянки.

Полуфеодальный и полудикий Афганистан по сравнению с Советским Союзом был для людей землей обетованной. Туда уходили не только местные жители, но и сотни русских. С дамбы у Чубека, где работало до 600 человек, в большинстве украинских крестьян, ушло за эти годы несколько сотен, состав рабочих там все время менялся. Как-то оттуда ко мне в больницу явилось шесть молодых парней с загадочными улыбками, попросили хинин, йод и бинт. “Спасибо, доктор! И прощайте!” Ночью они ушли, а через день подбросили своим записку: “Тикайте, хлопцы, воды мало!” Однажды ушло восемь охотников, среди них наши хорошие знакомые, с ними женщина на шестом месяце беременности. За одну ночь ушли почти все низшие почтовые служащие, остался только заведующий и один комсомолец. Из Сарай-Комара в 50 километрах от нас ушла целая артель столяров. Из пархарской МТС ушла группа кузнецов и рабочих. Один ушел прямо из нашей больницы, захватив больничный халат. Все — крестьяне и рабочие, среди них — ни одного интеллигента. Через границы бывшей империи уходили не только крестьяне, но и рабочие, предпочитая неизвестность советской власти.

Мы жили в полутора километрах от границы. Тихими ночами было слышно, как перекатываются и цокают, ударяясь один о другой, влекомые Пянджем громадные валуны. Вблизи больницы начинались заросли, оттуда выбегали перепелки, куропатки, иногда вертикально с треском взлетал фазан и затем бесшумно нырял в кусты. Змея, свернувшись пружиной, лежала в раскаленной солнцем пыли. Хлеба, который должна была поставлять нам власть, часто не было, но не загаженная еще природа поставляла дичь. Бежавшие сюда от голода нашли еще один источник питания — черепашее мясо и черепашие яйца. Черепах было здесь много, и вскоре повсюду лежали их развороченные панцири.

Четвертая часть больничных коек постоянно была занята ранеными, главным образом стариками, женщинами и детьми. Мужчин пограничники обычно добивали, а трупы сталкивали в Пяндж или оставляли для устрашения на берегу.

При переходе границы целого кишлака у Чубека молодая женщина получила три сабельных ранения, два из них уже лежат на земле. Она осталась инвалидом. Двухгодовалый ребенок пробыл у нас несколько месяцев с тяжелым огнестрельным ранением. Лежали подобранные на берегу Пянджа дети. Родители были убиты на их глазах. Восьмидесятилетний старик умер от полученных на границе трех ранений.

Попавшие в больницу женщины нас сначала дичились, но уже через неделю переставали закрывать лицо и разъясняли вновь поступающим, что нам можно доверять.

Весть о хорошем уходе за больными быстро распространилась, и однажды ко мне на прием пришел таджик со сквозным пулевым ранением. Стоя у окна, я заметил в кустах нескольких человек и понял, что это его охрана. Он сказал, что поранился во время полевых работ. Я так и записал. Через какое-то время, когда я поздно вечером возвращался из больницы, он появился из темноты:

— Спасыбо, духтур! Ходи днем, ходи ночью, только скажи: духтур идет! Только не бери с собой ружье, у тебя слишком хороший ружье!

Перед отъездом в Таджикистан я приобрел зауэровскую двухстволку “три кольца”, двенадцатого калибра. Я понял, что лучшей возможности не будет, не дал ему нырнуть обратно в темноту и сказал, с какой целью мы сюда приехали. Он обещал, когда потребуется, переправить нас через границу.

В те месяцы, когда реки были мелководны, мимо больницы почти ежедневно гнали группы задержанных. Несколько раз были попытки перехода с оружием в руках, но почти всегда неудачные. У пограничной комендатуры были среди местного

населения осведомители, получавшие за донос мануфактуру (насколько помнится, шесть метров ситца). Снявшихся с места погранохрана старалась перехватить в пути до того, как они достигнут приграничной полосы.

Большой переход готовился в начале сентября 1932 года. С афганской стороны к границе должна была подойти группа ранее ушедших и стрельбой привлечь к себе внимание пограничников. А в это время 8000 дехкан из пяти районов должны были с семьями и скотом переправиться через Пяндж в другом месте. В подготовке участвовали местные коммунисты и милиция нашего района с начальником во главе. Дехкан выдали. Руководителей расстреляли в Сарай-Комаре. К границе прорвались примерно две с половиной тысячи, но там их перехватила мангруппа (маневренная группа) пограничной комендатуры с пулеметами. В Афганистан ушло около тысячи человек, остальные полегли. Часть трупов уплыла по Пянджу, часть осталась на берегу, и их долго не убрали. Вскоре после этого был объявлен ударный пограничный месячник, во время которого в каждого, оказавшегося с наступлением темноты в пограничной полосе, стреляли без предупреждения.

Пархарский район считался показательным, и государство бросало туда большие средства. Колхозный строй и “кони стальные” должны были доказать свое преимущество перед отсталым строем Афганистана.

Тракторов сюда доставили много, но дехкане пахали деревянными омачами. Трактора, как и в начале коллективизации, ломались, запасные части были где-то в пути, горючее вовремя не поступало, а когда поступало, то рабочие, месяцами не получавшие зарплаты, немалую его часть распродавали. Дважды устраивали показательные судебные процессы. Не помогало. По официальной статистике рика из доставленных в Таджикистан тракторов работало в среднем 22%, остальные были в “хроническом ремонте”.

Надо сказать, что дехкане сначала отнеслись к тракторам с большим уважением, но после первого же сева подвергли хорошо обоснованной критике. Оказалось, что в Центральной Азии при обработке земли, пересеченной множеством больших и малых арыков, обеспечивающих искусственное орошение, живая тягловая сила имела ряд преимуществ.

В бухгалтерии МТС работали старший бухгалтер, два его помощника, три делопроизводителя, кассир, две машинистки и еще две девушки. Бухгалтерия отставала на шесть месяцев, хотя все работали с утра до вечера, а часто и до ночи. В штаб, или правление МТС, входили директор, три замдиректора, один из них завполит-отделом, технический и хозяйственный помощники, завмастер-скими, завскладами, завснабжением, старший агроном и два младших. В Средней Азии с ее искусственным орошением к МТС

причисляли еще водных техников с их штабами. Мастерские МТС были тоже многолюдны, однако старых мастеров оставалось немного, а от новых было мало толку. Но самое замечательное: за два с половиной года в МТС нашего района сменилось двадцать директоров, а уезжая, мы на переправе через Кызылсу встретили двадцать первого. Трудно было бы поверить, но это происходило на наших глазах.

Рядом с больницей, участок к участку, находился хлопкоочистительный завод. Он существовал еще до советской власти, и его пропускная способность равнялась примерно теперешней. Тогда постоянный штат завода состоял из хозяина, трех помощников и двух мастеров при машинах. В сезон там было занято до 150 рабочих. Хлопок очищали, сортировали, прессовали в тюки и отправляли, как и при нас, верблюжьими караванами к железной дороге. Из хлопковых семян, чигита, давили столовое масло, низшие сорта семян шли на топку. (Топить надо было, подбрасывая чигит малыми порциями, иначе перегревшееся в семенах масло могло вызвать и вызывало взрыв.)

У меня на заводе почти ежедневно бывало какое-нибудь дело, и я знал его жизнь до мелочей. В 1933 году завод выпустил 42 вагона прессованного хлопка. На заводе 45 штатных работников. Директор — русский, партиец, бывший батрак из Пензы, его помощник, киргиз 24 лет, бывший конюх, секретарь ячейки — еврей, главный бухгалтер, три помбуха,

экономист, статистик, несколько делопроизводителей, завзаготчастью, заврасчетной кассой, зав-транспортом, завклубом, завстоловой, старшая кухарка и две ее помощницы, три табельщика, завскладами, машинистка, зав-пунктами, они же приемщики по району, каждый с двумя помощниками, весовщики, шесть человек в машинном отделении. И так далее, до сорока пяти. Председатели группкома часто менялись; председатель завкома — таджик и два коммуниста ушли в Афганистан. Еще двое коммунистов пытались уйти. Их расстреляли.

Бухгалтерия завода считалась лучшей в районе, так как отставала всего лишь на три, иногда на четыре месяца, работая как угорелая, с бесплатной общественной нагрузкой, по 10-12 часов ежедневно.

Как-то один из бухгалтеров сказал мне:

— Не удивляйтесь, доктор, если мы в один прекрасный день придем к вам и попросим отправить всех в сумасшедший дом.

В шестидесяти километрах от Пархара был громадный Дангаринский совхоз, обрабатывавший несколько десятков тысяч гектаров земли. На него большевики возлагали большие надежды: совхоз должен был “разрешить вопрос о рабочем снабжении всего Таджикистана”. Он располагал мощным парком тракторов и большими денежными средствами. В нем

работало около 600 русских со всех концов страны. Жили плохо, но в хлебе не нуждались. На уборку нанимали в “добровольно-принудительном порядке” колхозников из соседних колхозов. Весной 1932 года в совхозе отравилось более 500 русских, из которых 275 умерли мучительной смертью. Комиссии установили, что мука для хлеба хранилась в мешках, в которых до этого были мышьяковистые средства для борьбы с полевыми вредителями, в основном с саранчой.

Это не было чьим-то сознательным преступлением. Я говорил, по крайней мере, с двадцатью из пострадавших. Один из них коротко и ясно объяснил истинные причины катастрофы:

— Зачем далеко ходить за причинами? Они должны на кого-то свалить, но это их дело. Скажите, доктор, во что оценивается человеческая жизнь в Советском Союзе? Ни во что. Самый последний винтик в тракторе дороже человеческой жизни. Сколько у нас здесь хозяев? Сотни. Сегодня один директор, завтра — другой, послезавтра — третий... Новый директор, я уверен, и не знал, что эти мешки из-под яда, а мешки у нас, как вы знаете, дефицит. Как у нас работают? Только бы выполнить норму и план. И тут тебя кроют матом, угрожают тюрьмой и расстрелом. И сколько будет существовать это заведение, всегда будет так.

К 1933 году после трехлетней обработки земли с помощью “науки и тракторов” поля совхоза

настолько засорились, что их решили на некоторое время бросить и перейти на обработку другого участка.

Весной к нам в Пархар из Дангары приехал “треугольник совхоза” — директор, секретарь ячейки и председатель профсоюза — осматривать пустовавшие уже несколько лет богарные земли, хозяева которых предпочли пахать в Афганистане. Я сопровождал их для санитарного осмотра выбранной ими стоянки для рабочих. Они решили засеять зерновыми 8000 гектаров. Участок был недалеко от границы, и я думал, сколько рабочих уйдут отсюда пахать на той стороне.

Бруно Ясенский и Вахшстрой

За год до нашего приезда в Таджикистан Пархар осчастливила своим посещением делегация иностранных писателей. Они жили здесь “в самой толще местного населения” — в здании погранотряда. В сопровождении чинов погранохраны и ГПУ делегаты досконально изучили жизнь народов этой горной страны. Вернувшись домой, написали статьи, книги, как уж им было заказано. Начальник погранотряда, мой пациент, веселый украинец, прибежавший к нам домой после купания в арыке в одних купальных трусах, помнил фамилии Киша, Кутюрье и Ясенского, автора романа “Человек меняет

кожу”, в котором он воспевал Вахшстрой. Мне по работе пришлось побывать на Вахшстрое по горячим следам описываемых Ясенским событий.

Вахш — бурная горная река, протянувшаяся на пятьсот километров. В ее нижнем течении — Вахшская долина. Когда-то она была цветущей и плодородной, но после набегов монгольских орд стала пустыней. Для этого большого труда не требовалось, надо было всего лишь нарушить систему арычного орошения. Во всем Туркестане вода — это жизнь.

В Вахшской долине хорошие условия для выращивания “египтянки” — египетского хлопка. И большевики решили: долину в ударном порядке оросить и — даешь египтянку!

Вахшстрой считался одним из гигантов пятилетки. Заказали машины, завербовали людей, затем двадцать могучих американских экскаваторов прибыли по Аму-Дарье в Файзабад-кале. А дальше транспортировать их было не на чем. Автомобильный парк был в таком состоянии, что перевозка экскаваторов в разобранном виде продлилась бы полгода.

Но Москва уже составила план, наметила сроки и постановила: такого-то числа экскаваторы должны начать работу. Ясенский восторгается этим героическим творчеством большевиков. Он, надо

думать, бывал на собраниях, где секретари партячеек или директора били себя в грудь, восклицая:

— Мы, большевики, не знаем преград!

Не зная преград, они отправили экскаваторы к месту работы собственной тягой. Очевидцы мне говорили, что американский инженер, сопровождавший экскаваторы, сначала подумал, что большевики сошли с ума, но, поняв, что сумасшествие здесь называется творческим энтузиазмом пролетариата, сбежал от греха подальше. В результате энтузиазма сто километров пути усеялось частями экскаваторов. К финишу прибыли два в потрепанном виде, но их быстро починили: в пустыне валялся богатый ассортимент запасных частей. Ясенский (как уж это там было согласовано) приписал все неудачи вредительству инженеров и вообще интеллигенции.

Рабочие Вахшстроля — крестьяне, бежавшие сюда от голода со всех концов России, и согнанные дехкане жили в юртах или под навесами. При сухом климате это еще не беда. Настоящей бедой был недостаток воды, а в жаркой пустыне это что-нибудь да значит. Началось бегство.

Когда на Вахшстрое появилась делегация, снабжение водой улучшилось. И вообще, рабочие хотели, чтобы делегация пробыла как можно дольше: в это время их сносно кормили и выдавали махорку. В конце 1932 и

начале 1933 года строительство Вахшстроя развалилось, рабочие разбежались. Тут-то и началось подлинное творчество по-большевицки. Наркомюст приказал направить на Вахшстрой заключенных, кроме осужденных на большие сроки.

На базарах милиционеры вылавливали отлучившихся из колхоза дехкан; всех, оказавшихся на дорогах, волокли в кузов грузовика, прозванного “шайтан-арба” (чертова телега). Мы в Пархаре наблюдали за этой деятельностью, сравнивая ее с ловлей рабов в семнадцатом веке в Африке. Наловив в “шайтан-арбу” человек 20-30, милиционеры с добычей неслись на Вахшстрой. Эта охота то затихала, то снова возобновлялась.

Судья, прокурор и другие

Правящий класс в нашем районе был разнообразен. Для ответработников был закрытый распределитель и дом с удобными квартирами для них. Жили они там вольготно и нередко устраивали “пир во время чумы”.

Прокурору исполнился 21 год. Он проходил у меня медицинскую комиссию. Когда я спросил, каков его служебный стаж, он важно ответил: “О, мы уже давно работал в Наркомюст!” По-русски он говорил плохо, рукописный текст прочесть не мог. Женился на 17-летней русской комсомолке, которая “в большой

стекла смотрит и все знает”. Высокопоставленная чета не пошла регистрироваться в загс. Загс сам пришел к ним совершить обряд бракосочетания с помощью журнала, ручки и чернильницы.

Эта девчонка попортила нам немало крови. Она работала няней в сталинабадской больнице, где ее выдвинули, чтобы от нее отделаться, на двухмесячные курсы красильщиц препаратов крови и прислали к нам на малярийную станцию, которой заведовала молодая врачиха, любившая все, кроме работы. Няня-красильщица, ставшая “лаборанткой”, давала самостоятельные заключения о результатах исследования. С этим можно было бы еще мириться, если бы она не испортила единственный цейсовский микроскоп, оставленный нам одной экспедицией.

Наш врач хотел было вмешаться в это дело, но после угрозы “муж засадит” вспомнил, в какой стране живет, и махнул рукой.

Лаборантку прокурор завоевал после упорной борьбы с зав-финотделом. За ним числилось немало грязных делишек, в которых была замешана вся верхушка района. Вдруг неожиданно нагрянул судья по особо важным делам из Сталинабада и зава приговорили к расстрелу. Начальство обещало организовать ему помилование, если он не раскроет их дел. Против него выступал лишь прокурор. Оба говорили по-русски. В переполненном зале завфинотделом отвечал судье примерно так:

— Товарищ судья, я все рассказат буду, зачем я издес сидим. Мы гулял с одын баришня. Ходил вместе, играл гитара и ухаживал за баришня. Прокурор мне гаварыл:

— Слушай, этот баришня мне очен нравится. Ты сюда не ходи, я дам тебе хороший шелк на халат. — Я ему гаварыл:

— Мне твой шелк не нужен, мне баришня нужен.

Тогда он смотрел сердито и гаварыл:

— Я тебе посажу.

Тепер этот баришня его жена. Вот, товарищ судья, почему я издес сидим!

С ним вместе судили двух работников финотдела: одного за растрату 840 рублей, другого — тоже за какую-то растрату. Первый объяснял растрату тем, что месяцами не получал зарплаты и в ее счет брал из казенных сумм по сотне рублей в месяц. Это грех. Однако не платить служащим — грех не меньший. Но у него была другая, более страшная вина: он был сыном бежавшего кулака. Его присудили к восьми годам. Даже привычные к советскому суду ахнули при чтении приговора.

Прокурор отличался еще одним свойством, общим почти для всех местных коммунистов Туркестана, — ненавистью к русским. Здесь процветала

отвратительнейшая смесь коммунизма и национального шовинизма. До назначения прокурором он целый год был судьей. Дела русских не читал, довольствуясь кратким изложением секретаря. Русских, как правило, судили более жестоко, чем местных. Многие из них были одиночками, и им неоткуда было получать передачи. В тюрьме же или комендатуре им давали 300 граммов хлеба в сутки и воду. Даже чай бывал редко. Самым страшным обвинением в “национальных” областях считалось проявление “великорусского шовинизма”, ненависть же местного населения к русским терпели и даже поощряли. Этот судья приговорил к расстрелу двух татар, якобы за растрату. Все мы знали, что растрату совершил их предшественник. Перед расстрелом, в присутствии коменданта, прокурора, судьи и, по печальной необходимости, меня как врача, обязанного установить смерть, один из приговоренных сказал коменданту:

— Ты знаешь, что мы оба не виноваты. Но тебе приказали стрелять. Смотри, стреляй хорошо, чтобы мы не мучились. А ты, доктор, смотри, чтобы нас живыми не закопали. А тебя, судья, скоро отправят вслед за нами. Я знаю, что ты ненавидишь русских и нас, татар, потому что мы дружим с русскими. Немного тебе еще осталось издеваться над народом, скоро вас всех перебьют. Мне только жаль, что я сам не смогу тебя зарезать. Ты — босяк и хулиган, а не судья. И не человек!

Все мы молчали, не зная, куда смотреть. Тишину нарушил комендант: он стрелял метко, каждому по две пули в голову. Я спрыгнул в яму и убедился, что оба мертвы. Судья первым схватил лопату... Через несколько лет, уже в Словении, мой близкий друг возмущался, но не советской властью, а мной, потому, что я рассказываю небылицы:

— Судья без юридического образования? Да быть такого не может!

“Водку пьете? С мужчинами гуляете?”

Снова происходила чистка советского аппарата. Я изложил свою биографию. Последовали вопросы:

— Какая у вас общественная нагрузка?

— Работаю в группоме, в Красном Кресте и Красном Полумесяце, состою членом Осоавиахима, участвую в выездных бригадах.

— Как вы выполняли задания советской власти, в частности ясельную кампанию?

— Я выезжал в кишлаки, участвовал в колхозных собраниях и провел организационную работу по колхозным яслям в шести кишлаках.

— На сколько вы подписались на заем?

— На 100%.

— Как вы относитесь к больным?

— Пусть лучше об этом скажут другие.

Из публики отвечали, что хорошо. Один симулянт, которому я не выдал больничного листа, стал меня ругать, но люди заставили его замолчать.

— Говорят, что вы собираетесь уезжать за границу?

— Да, как получу паспорт, думаю — уехать.

— Думаете, что там лучше?

— Нет, не лучше. Но там мои мать, отец, сестры, которых я не видел почти двадцать лет. Поэтому хочу уехать.

В публике негромкий одобрительный смех.

— Вам в СССР не нравится?

— Почему не нравится? Но, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше.

— Кто хочет задать вопросы или высказаться за или против?

Выступил один с похвалой, публика ему поддакивала.

— Считать прошедшим чистку.

Врачей чистили поверхностно: в них очень нуждались. Но для многих чистка была тягчайшим испытанием и унижением. Мы присутствовали при чистке нашей знакомой, внешне спокойно и сдержанно отвечавшей на хамские вопросы, в том числе на такие:

— С мужчинами гуляете? Водку пьете? Почему делаете “маникуру”? Значит, вы не из рабочих? Почему не состоите в Союзе безбожников?

Часть VII. МОСКВА. ОТЪЕЗД

Письмо из консульства

Мы уже решили, что советская власть разрешения на выезд нам не даст, что придется совершать опасный переход в Афганистан, как вдруг из польского консульства пришло письмо, приглашавшее нас в Москву.

Зачем вызывают? Может быть, ради каких-то формальностей? Я попросил объяснить точнее, что им от нас нужно. Ведь чтобы добраться из Пархара до Москвы, писал я, нам нужно не менее двух недель.

Консульство коротко ответило: приезжайте непременно! Мы поняли, что дело серьезное, и собрались в путь. Потом поляки объяснили свою осторожность: люди, получившие разрешение на выезд из СССР, иногда исчезают, а с их паспортом выезжают за границу агенты.

Между Пархаром и Кулябом была теперь область восстания. Переправившись на пароме через Кызылсу, мы застали людей на противоположном берегу в волнении: только что там был конный отряд басмачей. Вдали по горной тропе поднималось несколько всадников с винтовками за плечами. От Куляба до железной дороги было еще 300

километров, но грузовики, на которых можно было добраться до Сталинабада, не ходили. Мы неделю прождали очереди на шестиместный “юнкере”. На кулябском летном поле оставили два больших ящика с книгами. Мы во второй раз бросали библиотеку, первую оставили в Приморско-Ахтарской.

Могучие хребты Памира уходили на восток, с южной стороны под нами проплыла Соляная сопка, вдали, в мареве, были видны какие-то тонкие полосы — Афганистан. От Сталинабада до Москвы было еще несколько тысяч километров.

За два года работы в отдаленных пограничных районах я имел право на курсы усовершенствования врачей в Боткинской больнице в Москве. Как бы обстановка ни сложилась, я мог поработать в хороших клиниках.

Москва

Скорый поезд шел шесть дней и шесть ночей. Когда мы прибыли на Казанский вокзал, вечерело, было облачно, моросил дождь. В Москве, столице Коминтерна, у нас не было ни знакомых, ни родственников [9]. В конце 1933 — начале 1934 года Москва резко делилась на два мира: народ, оборванный, измученный, стоящий в очередях за нищими пайками, — и мир верховной власти, ГПУ и

интернационального сброда — кузницы мировой революции. Представители второго мира жили в Кремле, в центре города, в специальных отелях и лучших зданиях, ездили в автомобилях, ели досыта, пользовались закрытыми распределителями, поправляли драгоценное здоровье на дачах и курортах, не смешиваясь с плебсом.

Расстреливать и сажать в лагеря их стали позже. Народ же брал трамваи с бою, со многими случались припадки “травматического невроза трамвайного происхождения”, как его называли невропатологи. Езда в трамвае отнимала у меня больше двух часов в день и была довольно опасным предприятием. Бравшая приступом вагон толпа могла столкнуть под колеса, в давке могли обокрасть. В вагоне царило право кулака: чтобы выйти на остановке, нужно было пробивать дорогу сквозь живую стену. Если ты обругал оскорбившего тебя хулигана, тебя могли вместе с ним забрать в милицию. Если промолчал — перенесенное оскорбление мучило целый день. О таких пустяках, как вырванные с мясом пуговицы, даже и говорить не стоило.

У Москвы был вид грязноватого, давно не видавшего ремонта города. Пешеходы не отличались друг от друга: серые, исхудалые, озабоченные, спешившие с зажатými в кулаке продуктовыми карточками. Смех, как и повсюду в СССР, был забыт.

В Институт усовершенствования врачей я опоздал и меня сначала не хотели принимать. Потом приняли на так называемое рабочее место в Боткинской больнице, когда-то построенной купцом Солдатенковым.

Жена с утра становилась в очередь за хлебом. На это уходил в среднем час. Если полученного по карточкам хлеба не хватало (сыну, как иждивенцу, хлебных карточек не полагалось), мы были вынуждены покупать его в коммерческих магазинах, где советская власть продавала продукты по завышенным ценам, мало доступным простому служащему или рабочему.

В очереди за мясом стояли три четверти часа. В деревнях мяса уже не было. За керосином были особенно длинные очереди: в СССР готовили в основном на примусах. Крупу в небольшом количестве мы получали дважды в месяц.

За мылом стояли дважды по три часа и ушли с пустыми руками. Наконец получили два куса на три месяца. На детскую карточку мыла вообще не полагалось. В магазине “Фруктовоц” очереди были недолгие — максимум полчаса. Долго приходилось стоять за картофелем. За зиму 1932-1933 года чуть ли не половина картофеля сгнила, и служащие после работы в порядке общественной нагрузки перебирали его до позднего вечера. На следующий год снабжение картофелем стало лучше. На очереди в среднем

уходило до четырех часов в день.

Служащие, как и рабочие, были разделены по категориям. В первой — промышленные рабочие и инженерно-технический персонал. В начале 1934 года по первой категории получали 800 граммов хлеба в день. На месяц выдавали по одному килограмму мяса и сахара, восемь килограммов картофеля, немного лука и капусты.

Во вторую категорию входили остальные рабочие, специалисты, сельские врачи, “всякие бухи и завь”.

По третьей категории получали все оставшиеся, то есть большинство. Эта категория получала 400 граммов хлеба в день, меньше других.

Провинция снабжалась хуже, чем центр. В Москву, чтобы что-то достать, приезжали издалека. Слово “купить” вышло из употребления. Жиры получали заводы специального назначения, военнослужащие, иногда первая категория. Продукты “по линии снабжения” стоили: хлеб — 1 руб. 20 коп. за килограмм; мясо и сахар по 2 руб. В коммерческих магазинах и на колхозном рынке мясо и сахар стоили до 15 руб., масло до 40 руб.

Рабочий получал 150-160 руб. месяц. Мастера до 300. Врач в среднем 250 руб. в месяц, профессор — 400. Профессура снабжалась по особой категории научных работников.

При таких зарплатах и ценах жизненный уровень в СССР равнялся примерно жизненному уровню безработного за границей. Все старались достать “совместительство”, а его нужно было отрабатывать. Я знал семейных врачей, у которых было до четырех совместительств, не считая общественных нагрузок. У меня их в Приморско-Ахтарской было два, в Таджикистане — три.

Как себя чувствует такой человек и надолго ли его хватит? В СССР это никого не интересует. В Москве у нас впервые за прожитые в Советском Союзе годы деньги, слава Богу, были. В Пархаре мы полгода не получали зарплаты и при отъезде нам ее выплатили.

В 1933 году появились предметы широкого потребления (“ширпотреб”) — белье, нитки, шпильки, за которыми стояли длинные очереди. Все расхватывалось в первый же день. Следующая партия поступала недели через две, а то и через месяц. В Мосторге же в отделе готового платья очередей не было. Большинству людей пальто отвратительного качества за 300-400 рублей или дрянной костюм за 200 были не по карману. Я за 110 рублей приобрел ботинки, развалившиеся через три месяца, хотя ходил в калошах.

Как жили крестьяне в Московской области? В сорока километрах от Москвы мы держали в руках хлеб из отрубей, лебеды и чего-то вроде пшена. Говорили, что

редкий колхоз дотянет до лета. Знакомый врач, присутствовавший на заседании РИКа, рассказал, что свиней (против прежнего) остался один процент. При нас в Москву — миллионный город — пришел “красный обоз” с красными флагами и делегациями, доставивший, курам на смех, 500 свиных туш.

О том, что на юге голод, в Москву доходили слухи, но даже люди, знающие, что такое советская власть, не представляли себе его размеров. Информации не было, а средства дезинформации были в руках власти. Голодающих в столичные города не пропускали. Но тем не менее в Москве мы встречали крестьян, иногда целые семьи, иногда подростков с котомкой, просящих кусок хлеба. Помню возле Большого театра крестьянина с женой и тремя детьми (один из них грудной), худых, измученных. Десятки людей спешили мимо них не останавливаясь. Каждый сытый человек в СССР, если у него оставалась хоть часть нравственных устоев, должен был ощущать на себе страшную вину.

Дети, прячась от милиции, продавали папиросы, яблоки или хлеб. Чердаки были заняты беспризорными. Почти все они ходили в беретах, это была как бы их “форма”. По вечерам они занимались кражами и налетами. Если их пытались согнать с чердака, они грозили поджогом и, бывало, поджигали.

Преступность приняла угрожающие размеры. Убивали, чтобы добыть золотые зубы. В полуквартале

от нашей квартиры был убит мужчина, у которого было шесть золотых зубов. Зубы эти перешли через Торгсин в золотой фонд советской власти.

Появился вечный спутник нищеты и голода — сыпной тиф. Больницу имени Семашко и несколько других превратили в инфекционные.

Во всякое время года, под прикрытием темноты, выезжал символ советской власти — “черный ворон”. По всей России арестованных гнали среди бела дня пешком, а здесь возят в автомобиле! Почему такая роскошь? За это им следовало бы благодарить Бернарда Шоу, Эррио и других поклонников советской свободы.

Боткинская больница

Самая большая в Москве больница, Боткинская, считалась привилегированной и как бы филиалом Кремлевской. Из одиннадцати корпусов больницы седьмой так и назывался — Кремлевский. В нем поправлялись на санаторном режиме после операций или болезней крупные советские работники.

Старшим врачом больницы был молодой Ш. Отделениями заведовали врачи со стажем, частью профессора. Одни из них были настоящие, достигшие высокого звания университетского профессора

своими способностями и познаниями. Другие — “красные”. Первые не роняли своего достоинства, не унижались перед властью имущими и жили плохо. Вторые были со всеми шишками на “ты”, лебезили перед высокопоставленными больными, отпускали шуточки на их уровне, добивались доступа к “секретным” источникам снабжения, писали, постоянно ссылаясь на Маркса и Ленина, научные работы, которым была грош цена. И жили сытно.

Больница была настоящей выставкой экземпляров правящего слоя. В одной палате таких экземпляров было два: директор Московского революционного театра и 24-летний профессор Комакадемии, которому в Кремлевской больнице делали операцию геморроя, а затем перевели в Боткинскую отдыхать и поправляться. Профессор этот грубостью и хамством измучил всех нянь и сестер.

Во всех палатах, а в особенности отдельных, лежали директора трестов, заведующие отделами, секретари ячеек, газетные и литературные работники, инспектора, члены коллегий.

В отдельной палате лежала жена советского вельможи. Красный профессор и его помощник рассыпались перед ней в любезностях, оказывали всяческие услуги, часто назначали, как она выражалась, “просвечивания”, электропроцедуры и диеты, выписывали дефицитные лекарства. Когда-то она была просто крестьянской девушкой из-под

Пензы, попала домашней работницей в Москву к ответработникам, и ей повезло: расписалась с их сыном. Она не была чересчур капризной или чрезмерно требовательной, любила поговорить, и от нее я многое узнал о жизни правящего класса, в частности, об издевательствах над ней хозяев, пока она была прислугой.

— Как же они могли над вами издеваться? Ведь они, наверное, были коммунистами?

Она немного смутилась, но тем не менее подтвердила: хотя и коммунисты, но издевались. Теперь она сама была коммунистка и уже успела перенять многие манеры своего нового общества. Как-то знакомые ответработники принесли ей коробку шоколадных конфет из закрытого распределителя. Такие конфеты были только в коммерческих магазинах и в Торгсине, где стоили баснословных денег. Но она к ним отнеслась критически:

— Мне сегодня что-то плохо в желудке. Наверное, от этих конфет. Такая гадость! Надо будет протелефонировать мужу, чтобы привез из Кремля настоящих. Там мы такой дряни не кушаем.

Няни в этот день ходили веселые: “принцеса”, как они ее называли, раздарила им “дрянь”, от которой у нее было “плохо в желудке”.

Лежали у нас и представители всемирного пролетариата. Привезли как-то африканца с диагнозом аппендицита. Аппендицита не оказалось, но нам велели подержать его подольше и основательно исследовать. Он, совершенно здоровый, бродил от нечего делать по больнице. Числился инспектором на главном московском почтамте, зная по-русски не больше двухсот слов, получал политэмигрантский паек и жил до поры до времени в свое удовольствие. Зато другой, добровольно оставшийся в 1931 году в СССР, узнав, что я иностранный подданный и скоро выеду за границу, ругал себя на чем свет стоит:

— Ох и дурак же я был! Зачем я только паспорт свой отдал? Я еще в прошлом году сбежал бы отсюда. Это ад, понимаете, это ад! Это не люди придумали, это сам черт придумал! А наши дураки там воображают, что это рай. Ох, как бы мне домой вернуться? Капут, доктор, совсем капут! Сколько мне еще тут осталось? Так мне и нужно, дураку, так мне и нужно!

Оперировали мы начальника строевой части московской милиции, мадьяра, политэмигранта. От него я узнал подробности усмирения восстания тамбовских крестьян во время коллективизации. Похваляясь, он назвал мне несколько десятков мадьяр — ответработников всесоюзного масштаба. И, что для него было не менее важно, все оттенки политэмигрантского пайка.

Говорил я и с коммунистом, болгаринном, учившимся в институте мирового хозяйства при Коминтерне. У него еще было много веры в коммунизм, но за год жизни в Москве уже появилось и немало сомнений.

Не знаю, почему среди всей этой знати у нас оказался семнадцатилетний парнишка со стройки Метрополитена. Он был из Белоруссии, из семьи крестьян. Дома голод, он бежал и нанялся на стройку. Его родных месяц тому назад завербовали на Украину:

— Там население... — он запнулся, не решаясь сказать “вымерло”, — население уменьшилось наполовину.

В общежитии, где он жил, холодно и грязно, кормят плохо, работа тяжелая, как что — тянут в ГПУ.

— Поправлюсь, поеду на Украину, может, там лучше. Где только нашего брата нет? Ищут где лучше, а лучшего — нигде нет.

Что осталось русского в этом Вавилоне коммунистического интернационала? В течение семнадцати лет люди, не имеющие корней в русском национальном организме, пытались придать Москве международный характер. Нового они ничего создать не сумели, кроме безобразных железобетонных коробок. Главная их сила — в разрушении. Разрушением им удалось несколько изменить вид

Москвы. Но слишком долго Москва строилась, чтобы проходимцы могли совсем изменить ее вид. Слишком велика и богата русская культура, и никому не приходило в голову сравнить ее с каким-нибудь пролеткультом — отрицанием всякой культуры.

Прежде всего это сказалось на театре. Что большевики ни делали, как ни старались его перестроить, русский театр, одно из величайших творений русской культуры XIX века, стоит как стоял. Он не мог не пойти на уступки, не мог не ставить пьесы второстепенных советских авторов с классовой окраской, не мог не менять (под давлением театрального совета) названия, отдельные фразы или не оттенять социальную сторону, но все это не в ущерб общему творчеству. Даже Мейерхольд оставил цирковые и балаганные приемы. Мы это усмотрели в “Свадьбе Кречинского”, где только отсутствие занавеса напоминало, что мы у Мейерхольда.

В Лаврентьевском переулке вдали от шума и суеты — Третьяковская галерея. Каждый раз, выходя оттуда, мы повторяли:

— Не дай, Господи, чтобы ее постигла участь Эрмитажа.

Многие картины из этого музея были проданы заграничным миллионерам или стали взяткой для “полезных людей” на Западе. Впрочем, и из Третьяковской галереи исчезло несколько картин.

Может, они в будуарах Кремля? Помнили мы и то, что Троцкий в случае поражения советской власти грозился “хлопнуть дверью” и среди прочего сжечь Третьяковскую галерею.

Отъезд

В конце января нам сообщили, что жене и сыну разрешен переход в югославское подданство. Мы зашли к заведующему паспортным отделением, и он официально подтвердил решение ВЦИК и принял от нас прошение о выезде за границу. Просмотрев наши бумаги, он будничным голосом сказал:

— Приходите через шесть дней за визой.

Мы с женой тревожно переглянулись. Что могли бы означать эти слова? Что за ними кроется? Я переспросил:

— Как вы сказали, товарищ?

— Через шесть дней приходите за визой и можете выезжать за границу.

Мы приняли квитанции и вышли. На улице мы остановились: невозможно, чтобы советская власть произнесла слова: “Можете выезжать за границу”. Страшно подумать... Шесть дней мы прожили в тревоге и волнении. Сделали кое-какие

приготовления на случай подвоха. Настал шестой день. Служащая выдала паспорт с визой и сказала:

— Десятого февраля вы должны быть на границе

Я поблагодарил и вышел. Если бы она добавила “но только пешком”, я все равно сказал бы “спасибо”.

Уже впоследствии, в Югославии, мы узнали, что советское правительство в надежде, что король Александр решит установить с Советским Союзом дипломатические отношения, дало разрешение на выезд примерно двумстам семьям югославов, в число которых попали и мы. Этим семьям, включая нашу, выпала редкая удача. Дело в том, что надежды советского правительства не осуществились, дипломатические отношения с Югославией были установлены только в 1941 году.

Паспорт превратил нас в людей другого класса: на нас теперь смотрели как на иностранцев, и, соответственно, изменилось к нам отношение.

Мы зашли в финотдел, чтобы вернуть облигации. Перед нами стояло два просителя, оба умоляли заведующего разрешить им продажу облигаций, так как они уже несколько месяцев были без работы. Заведующий разрешения не давал, а когда рабочий продолжал настаивать, закричал:

— Я сказал: облигации продавать не разрешаю, и, если вы немедленно не уйдете, вас выведут с милицией!

Подошли мы с паспортом в руках. Нам сразу пододвинули стулья, но мы, отвыкнув от вежливости за годы советской власти, сели только после вторичного приглашения. Заведующий преобразился и даже избегал слова “товарищ”:

— Вы можете... Конечно, мы вам сделаем... Сию минуточку!.. Вон там окошечко номер четыре, через полчаса все будет готово!

Господи, какая мерзость!

Но на Александровском вокзале я за неимением валюты стоял в очереди за билетом четыре дня. За валюту можно было получить без очереди хоть сто билетов. За советские деньги пять-шесть билетов в день. На валюту разрешили обменять по три рубля на человека.

Поезд двинулся на Запад. В тот вечер была страшная метель.

Радовались ли мы? Вовсе нет. До границы еще рано радоваться.

Поезд шел по Белоруссии. Минск. По дороге понуро плелась лошадь, запряженная в пустую телегу, рядом шел мужчина.

Негорелое. На станции никого, кроме погранохраны, посторонним доступ запрещен. Произвели телесный осмотр с бесцеремонностью чекистов, привыкших обращаться с людьми как с неодушевленными предметами. Обратили внимание на шрам от ранения. Сказал: ранен еще в австрийской армии. С усмешечкой извинились. В буфете играла музыка. Появилась группа молодых людей, говоривших на неизвестном мне языке. Подошла небольшая полная “товарищ под мадам” — женщина в соболях. Ни ее, ни молодых людей не обыскивали. К польской границе шел паровоз с двумя пустыми пассажирскими вагонами. Кроме нас — никого. Потом вошла “товарищ под мадам” в соболях, посидела в нашем купе, сказала несколько фраз и, улыбнувшись в пространство, вышла. Поезд тронулся. С левой стороны, заглядывая под вагон, тяжело топая, бежал пограничник, держа параллельно земле трехлинейку с примкнутым штыком.

Как будто на самом деле выезжаем. Русской земли осталось еще пять километров. Сидим, молчим. А о чем говорить? Небо серое, на полях пятна мокрого снега, моросит дождик, сосновая рощица, потом пустое поле — последние полоски русской земли.

Почти двадцать долгих страшных лет остаются позади. Кровь, страдания, любовь и надежда остаются на этой прекрасной многострадальной земле. Эта страна, мечта моей юности, стала моей второй родиной. Полюбив ее, я в нее поверил и никогда, ни на одно мгновение в ней не сомневался.

Любляна, 1934-1935